



НЕВА 12

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Елена НЕКРАСОВА

Стихи • 3

Станислав ШУЛЯК

Без сестры. *Психопатороман* • 6

Геннадий МОРОЗОВ

Стихи • 124

Елена АЛЕРГАНТ

Записки из дома для престарелых. Поэт, Королева
и Госпожа Мопс. Я — не мисс Марпл. *Рассказы* • 130

Любовь ФЕЛЬДШЕР

Стихи • 160

ПУБЛИЦИСТИКА

Леонид ФИШМАН

Имитация миссии • 162

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Дмитрий КАРАЛИС

Не юбилейная речь. *Из писем московскому другу* • 168

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Год культуры. Григорий Ястребенецкий. Бидоны на платформе. **Искусство чтения.** Елена Айзенштейн. «Вдоль островов высоких и веселых». *О поэзии Ольги Седаковой.*
Дом Зингера. Публикация Елены Зиновьевой • 196–249

Содержание журнала «Нева» за 2014 год • 250

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена*

*Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)
Рукописи не возвращаются и не рецензируются*

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталья ЛАМОНТ
(ответственный секретарь,
коммерческий директор)

Александр МЕЛИХОВ
(зам. главного редактора)

Мargarита РАЙЦИНА
(контент-редактор)

Ольга МАЛЬШКИНА
(шеф-редактор молодежных проектов)

Игорь СУХИХ
(шеф-редактор гуманитарных проектов)

Елена ЗИНОВЬЕВА
(редактор-библиограф)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **М. Райцной, Л. Жуковой**

© Журнал «Нева», 2014

Елена НЕКРАСОВА

* * *

Черновики зимы... Метель
еще сто раз их перепишет.
С хрустальной бахромою крыши —
как будто начался апрель.

И город сказочен, как гжель:
в нем кобальт неба с белым смешан,

а воздух так тяжел и нежен,
что думается: неужель

перебелю, перемелю,
перелюблю, переболею...
С тобой целуюсь в феврале я,
но жажды все не утолю.

ЛИСТОК

Моя судьба — ронять слова, слова
в пространство — ни ответа ни привета —
и лепетать стоусто, как листва
в объятиях какого-нибудь ветра.

И кажется, что сыплется во мглу
весь жар души, вся прелесть увяданья...
Листок прилип к холодному стеклу
бетонного незыблемого зданья.

Смотрите: он парит над пустотой —
письмо в закрытом наглухо конверте —
непрочный, тленный, легкий, золотой,
как мысль об относительности смерти.

МЕТРО

Метро глотает нас, людей,
и мы направо и налево
плывем, как листья по воде,
спустившись в расписное чрево.

Поток огромен, многолик,
но люди в нем — поодиночке,
и каждый здесь замкнулся вмиг
в своей хрустальной оболочке.

Елена Александровна Некрасова родилась в Рязани в 1969 году. По первому образованию — врач-психотерапевт, по второму — психолог. Живет в Рязани, работает частно-практикующим психотерапевтом. В двадцать четыре года вступила в Союз писателей России. Автор сборников стихов «Возвращение в себя» (1993) и «Запретные плоды» (1996), сборника рассказов «Праздники наших дней».

Сидят, покачиваясь в такт,
не в силах полностью проснуться,
стоят вплотную — но и так
боятся к ближним прикоснуться.

Я не запомню их в лицо —
умчатся, пропадут из виду.
А из туннеля мне в висок
повет холодом Аида.

* * *

Я больше ничего не жду,
я думаю о настоящем:
о сонных яблоках в саду
(они все тяжелей и слаще),

и о варенье в холодке,
о золотистом лете в банке,
о ровных строчках в дневнике,
об узелках в его изнанке,

о том, что каждый вечер свеж,
о вас, рассветных снов героини...
Ах, юность в банке не закроешь
и в нищей старости не съешь!

О том, как тороплюсь узнать,
что лета мякоть золотая
таит в себе. Я не мечтаю,
но слишком рано вспоминать.

ВОКЗАЛ

Душа моя — вокзал, залитый
холодным светом и людьми,
друг другу чуждыми, забытый,
его исшарканные плиты
и скудный времени лимит.

Не терпит пустоты природа,
и, обессилив, заскучав,
к буфету шествуют народы
и покупают бутерброды,
и воды, и некрепкий чай.

Всем хватит места здесь. Не знаю,
кто тут на час, кто до утра,
кому в Париж, кто — до Рязани,
кто на скрижали расписанья
посмотрит и вздохнет: пора.

Оно составлено не мною,
не мне его и отменять.
«Остановись!» — порой завою,
но непрерывной чередой
они идут через меня.

Пучок путей. Заря. И галки.
Завод невдалеке дымит.
При расставанье лепет жалкий,
и я дарю им всем фиалки
и забываю в тот же миг.

* * *

Живу почти без внутренней борьбы.
В душе и в мире осень. Холодает.
И ящик телевизора набит
созревшими запретными плодами.

И хмурый ангел начинает счет
повсюду мной разбросанным огрызкам.
Он скоро все грехи мои сочтет,
и я наверх отправлюсь с этим списком.

Пока ж природа — памятник себе
из золота, я статуей средь парка
стою в ней, и дыханье все слабей,
и мне уже ни холодно, ни жарко.

КАРИАТИДА

Быть сильной женщиной — печально,
опасно, скучно, наконец.
Она — и мать, и начальник,
жнец, швец и на дуде игрец.

Она помочь готова сотням,
себе самой — какой резон?
Ведь вместо марша Мендельсона
ей выпал сотового звон.

Вот, напряжения не выдав,
всех раздражая прямокой,
улыбчивой кариатидой
стоит под каменной плитой.

А ты, что смог ее иначе
увидеть, тоже вдаль уйдешь,
ведь если вдруг она заплачет,
то сразу скажет: «Это дождь».

Станислав ШУЛЯК

БЕЗ СЕСТРЫ

Психопатороман*

Родившийся заново

Один дал другому в морду. Точно, в морду. Иначе не назовешь. У них были морды, не лица. Лиц вообще теперь мало. Может, и была причина, но я не знал. Всякий раз иметь причину, чтобы дать в морду, — расточительство какое-то. Не надо расточительства — надо давать в морду, да и делу конец! Да.

Хотел перейти улицу, но был слишком близко от этих — от дающего в морду и получающего. Оттого не решился. Один прополз на коленях по брусчатке, выплюнул кровь, хотел было встать и получил ботинком в бок. В правый.

Я тоже схватился за бок, суетливо, испуганно. И сразу же вспомнил. Нет, не вспомнил: что-то почувствовал. А тут и трамвай, и голосащая баба. Он тоже не дал перейти улицу. Невозмутимый, гремящий колесами, блистающий стеклом, лоснящийся эмалью. Слово такое — *эмаль*. Едва вспомнил.

Думаю всегда медленно. Медленно и неверно.

От слов иногда просто ужас какой-то!

Почему я здесь? Как я сюда втемяшился? Прямо посреди улицы с двумя дерущимися и еще с этим гнусным трамваем, который и вовсе спутал картину.

Грязь, стены домов, отбитая штукатурка. На другой стороне школа. Как раз из нее выходили уроды, йогуртовые уроды. *Школьники* в смысле. Штук пять или девятнадцать. Точно не знаю. Хотя до пяти я считаю хорошо. И даже до пятидесяти могу. Но не так быстро.

За школой дрянной дом в три этажа, хотя и кирпичный, смотреть не хочется. А потом — забор, ворота и двор. Голые, подлые тополя, грузовая машина без колес, на подставках, ржавая, заброшенная, всякий мусор и хлам. Предприятие... кажется, так это у них называется.

Может, я инопланетянин?

Заприметил, что вахтерша за стеклом наливала в кружку кипятка из электрического чайника, и проскользнул через приоткрытые ворота.

Старикашка махал метлой. Заметил меня, остановился, слезил в карман за папиросой.

— И я умею метлой махать, — сказал я.

— Я б тебе двор мести не доверил.

— Я и не прошусь.

— Иди отсюда!

* Журнальный вариант.

Станислав Иванович Шуляк — прозаик, драматург, издатель. Автор восьми романов, в том числе «Кастрация» и «Лука» («Амфора», 2003). Призер фестиваля короткой драмы «One Night Stand» (Москва, 1–2 апреля 2005 г.). Публикации в «Литературной газете», «Ex libris НГ», в газете «Петербург экспресс», журнале «Нева».

— Я так просто.
— Больной какой-нибудь?
— Почему больной?
— Вид как у больного.
— Мало ли, что вид.
— Если ты насчет работы, это не ко мне, а к директору. Но работы у нас все равно нет.

— Не хочу работы.
— Зачем тогда ходишь?
— Ищу.
— Что ты ищешь?
— Так я тебе и сказал!
— Ты просто говно какое-то, знаешь?
— У меня одной почки нет и еще неизвестный нарост на затылке, — для чего-то горделиво сообщил я.

— Какой почки?
— Правой.
— А что за нарост?
— Неизвестный.
— Ну, это до нас не касается.

Вахтерша из своей будки высунулась. Пошла к нам. И вид у нее такой... в общем, ничего хорошего.

— Петрович, к тебе?
— Я его знать не знаю, — возразил тот с досадой.
— Шагай! — это уже мне.

Я шагнул, но старухе было этого мало. Схватила за воротник и подтолкнула. Власть показала. Вахтерскую.

Но и я не растерялся. Глаза вытаращил и крикнул:

— У тебя чайник горит!
— Где? — дернулась она к будке. — Ах ты ж! — прикрикнула тут же. — Я его из розетки вынула!

И двинула меня по загривку.

Я выбежал за ворота.

— Я, может, насчет работы приходил!
— Нет здесь работы для тебя, — ответила та, потирая руками.

Тут мимо два урода проходили. Маленьких. Из школы. Увидели нас и захихикали. Дома тепло, там телевизор бубнит, там батареи центрального отопления, там вешалка в прихожей, и у каждого свое полотенце. Я пропустил уродов и поплелся за ними. А что было делать? Не обратно ж идти!

Дальше был перекресток: улицы сходились. А в доме, внизу — гадючник. В гадючнике были люди, гадючники я люблю. В них люди заходят. Там дают пиво и водку.

Я хотел зайти в гадючник, но не решался. Там нужны деньги, а у меня их нет. Обшарил все карманы: были свернутые подтяжки, на которых, если что, можно повеситься, был сломанный пустой портсигар, был шнурок, но денег не было вовсе.

Нет, на подтяжках не повесишься — это я, пожалуй, преувеличил.

Не понимаю, на что нужны подтяжки, на которых даже невозможно повеситься! Какой дурак, какой подлец выдумал столь бесполезную вещь!

Может, вернуться и спросить работу? Пусть даже мести двор. Но там уже метет двор тот дурак Петрович. Я бы, конечно, мел лучше. И вахтерша наливала бы мне кипяток и пускала греться в свою будку. Она не такая злая, какой хотела казаться. Впрочем, этого я не знаю точно. Может, и злая. Люди вообще злые.

На одном кипятке можно прожить долго. Дня три. Или — десять. А уж если будет не один кипяток... Дольше десяти дней жить и не надо. Жить вообще необязательно. Лучше умереть. Если только не больно.

Потянул на себя дверь гадючника. В нос шибануло табачищей. На полу была лужа. Три столика стояли в гадючнике, и за всеми сидели. Еще у стенки приткнулись пьяные, пили пиво, пялились в стену. За стойкой громоздился буфетчик, смотрел на меня. Я прошел вперед. Куда там дальше идти? К буфетчику? Буфетчику нужны деньги. Вот еще новость! Зачем же они буфетчику? Видно, он просто не знает, что они ему тоже не нужны. Когда-нибудь я еще объясню всем буфетчикам, что деньги им не нужны. Но не теперь. Теперь я еще не готов. Теперь меня буфетки и слушать не станут.

За первым столиком сидел только один. На голове у него было... такая штука, не помню, как называется. Я ждал, что слово само всплывет, но оно не всплывало. Мне помог сидящий.

— Тебе нравится мой подшлемник?

Подшлемник — вот как это называется.

— Нет.

— Заказывают здесь, — постучал корявым ногтем по стойке буфетчик.

Я присел за столик того, что в подшлемнике. Он сражался с вяленой рыбой. Рвал ее на куски.

Буфетчик вышел из-за стойки и лениво направился в мою сторону.

— Что будем заказывать?

Буфетки все одинаковы. Странно, как они не стыдятся быть самими собой.

— У меня встреча, — глухо сказал я.

— С кем?

— Так... с одной женщиной.

— С женщиной? — удивился буфетчик. — У нас здесь с женщинами не встречаются.

— А я встречаюсь.

— Почему?

— Она особенная.

— Слышали? — сказал буфетчик. — Скоро к нам сюда придет особенная женщина.

Вокруг одобрительно загудели. Никто здесь никогда не встречался с особенными женщинами. Акции мои, кажется, поползли в гору. Сосед по столику оторвал изрядный кусок рыбьего бока и положил предо мной.

— На, просолись.

— А заказ делать будем? — спросил на всякий случай буфетчик.

— Когда встречу... конечно.

— А она точно будет?

— Непременно.

Буфетчик успокоенный пошел обратно за стойку.

— А она красивая? — спросил сосед и почесал голову через подшлемник.

— Кто?

— Ну, эта... особенная женщина.

— Несомненно.

— Блондинка или брюнетка?

Я помолчал. Нарочно. Хотел потомить.

— Как бы это сказать...

— Ясно: что-то среднее. Шатенка или рыжеволосая.

— Приблизительно, — снисходительно сказал я.

— Потрясающе!

- Да, — сказал я. И посмотрел на его пиво.
- Можешь глотнуть, — заметил он мой взгляд.
- За соседними столиками бормотали: «Особенная, особенная!..» Я взял бокал соседа, сделал глоток.
- Скажи...
- Что? — спросил я, не отрываясь от бокала.
- А она — твоя женщина?
- Я сделал еще глоток, поставил перед соседом его бокал.
- Не совсем, — твердо сказал я.
- Олег Олегович! — укоризненно сказал буфетчик. — Зачем пить из чужих бокалов? Есть же чистая посуда.
- Он проворно подошел и поставил подле меня чистый стакан.
- Не совсем, — засвистали за соседним столиком.
- Один из пьяниц подошел ко мне и насыпал прямо на столешницу сухарей из пачки.
- Сухарики! — умильно сказал тот.
- Я на него даже не взглянул.
- А вот у меня ничего нет особенного, — антисанитарно сказал он.
- Сядь на место! — прикрикнул Олег Олегович.
- Тот плюхнулся за свой столик.
- Сосед мой снова почесал голову и отлил мне пива в стакан.
- Значит, она не твоя женщина?
- Не совсем, — снова сказал я.
- Тут он задумался.
- То есть... она не совсем твоя женщина и не совсем не твоя?
- Примерно так.
- Все нас, конечно же, слышали.
- Еще рыбы? — сказал сосед.
- У меня осталась.
- Ну, ничего, пусть еще будет, — придвинул он ко мне остатки своей рыбы.
- Особенная женщина — хорошо, даже если она не совсем твоя, не правда ли?
- Я ел рыбу и потому промолчал.
- Конечно, хорошо, — сам себе ответил он.
- А она точно красивая? — спросил тот, что насыпал мне сухарей.
- Дурак! — сказал сидевший напротив того. — Как особенная может быть некрасивой!
- Олег Олегович будто бы колебался.
- У тебя, может, нет денег? — спросил он.
- Я застыл на минуту. Даже бросил есть рыбу.
- И что?
- Я мог бы тебе дать.
- Сколько? — осторожно спросил я.
- А сколько ты хочешь?
- Дай мне двести.
- Он украдкой достал деньги и протянул их мне.
- Ладно, — сказал я. — Пойду.
- Может, поговоришь еще немного со мной? — попросил Олег Олегович.
- Зачем?
- Ну, так просто. Мне было бы приятно.
- Нет, — сказал я, вставая.
- «Он встает! Он уходит!» — заволновались за столиками.

— А где же женщина? — спросил меня буфетчик.

— Надо встретить. Мы вместе вернемся.

— Ладно-ладно, — закивал тот.

День был сер и сутул. Олег Олегович вышел за мной из гадючника.

— Друг, как тебя зовут? — сказал он.

— На что тебе? — строго сказал я.

— Можно, я пойду с тобой?

— Вот еще!

— Мне бы хоть издали взглянуть, очень хочется.

Я не стал больше с ним говорить и толкнул его в грудь. Он ткнулся спиной о стену и взглянул на меня умоляюще.

— А кто она тебе?

— Кто?

— Ну, она... эта женщина.

— Черт! — сказал я.

— Только скажи!

— Сестра! — буркнул я.

— Сестра... — прошептал тот.

Вот так я, кажется, и родился заново.

Впрочем, может, еще и не родился.

Дом сей домом сестры наречется

Дом был недалеко. Олег Олегович тащился за мной, я прикрикнул, и он отстал. Я нарочно прошел дальше, потом вернулся — соглядатая моего не было. Я нашел магазин. Верно, ведь я иду к сестре, я только теперь это понял. Раньше я лишь догадывался. Сестра; у всякого должна быть сестра, вот и у меня она есть. Разве я не могу идти к сестре? Многие ходят к сестрам.

Магазин оказался мал, всего один залец и низкий потолок, но конфеты в нем были.

— Что вам? — сказала мне продавщица.

— Конфет, — грубо сказал я.

— Каких вам?

— Этих вот!

— Эти хорошие!

— Я плохих не возьму! — крикнул я.

— Сколько?

— Две. Нет, одну. Одной хватит. Она же в бумажке?

— С бумажкой срать ходят, а конфеты в фантиках.

— Я так и думал, — с достоинством сказал я.

— Думал — так нечего спрашивать!

Это уже другое дело! Дом мне теперь казался родным, бесконечно знакомым, домом сестры; конфету же я спрятал. Времена такие — не стоит на улицах особенно-то конфетами трясти.

Зря я про сестру Олегу Олеговичу разболтал. И буфетчику. И прочим пьяницам. Пьяницы сестер не понимают. У них только о попойках все соображения. У них в головах только свинства и всякие казусы.

Я стал взбираться на четвертый этаж. Шел я долго. Полчаса. Или — неделю. Останавливался, думал о сестре. Теперь жизнь моя переменится. Сестре можно рассказать обо всем, сестра поймет меня всякого, сестра меня примет. Жалкие люди — не имеющие сестер. А у меня сестра есть. Ничего нет, кроме сестры. Но лучше иметь

сестру и ничего больше, чем — все сокровища мира, но без сестры. Сестра — чудо, она способна украсить всякое существование. Уверен, вы мне втайне завидуете! У вас-то, может, и нет никаких сестер! Дураки! Как вы вообще без них существуете!

На четвертом этаже позвонил. Я смотрел на дверь с волнением.

Не открывали. Я позвонил еще раз.

За дверью точно стоял кто-то.

— Кого там еще принесло?

— Я...

— И что, что «я»?

— Ну, так...

— Что так?

— Сестру я ищу, тетенька, — сказал я дрожащим голосом. Полным тонких суспензий. И прочих амбивалентностей.

Дверь приоткрылась. Два глаза смотрели на меня настороженно.

— Чего?

— Сестру, — подтвердил я.

— Нет никаких сестер.

Я потянулся к двери, чтобы попридержать.

— Щас полицаев вызову! — пообещала тетка.

— Сестру, — шепнул я в отчаянии.

— Какую еще сестру?

— Мою.

— Так ты брат ей, что ли?

— Брат.

— Ладно уж, заходи, — сжалилась тетка.

Она подхватила меня за рукав, потянула за собой.

— На кухню иди! Сиди здесь! Понял?

Я сел, где было велено. Тетка ушла. Кухня была велика — много столов, несколько газовых плит, таких кухонь еще много в старых домах. Я сидел, думая о сестре.

Пришел узбек. У него в кастрюле варилось мясо. Свинина. Узбеки любят свинину. Другого ничего не едят. Узбек посмотрел, как варится его свинина. Пришла узбечка, жена узбека, помешала воду в кастрюле. Узбек вывалил туда же замоченный горох из плошки. Я внимательно смотрел на узбеков.

— Харю отверни! — сказал мне узбек.

Я отвернул. Не стал спорить. Узбеков не переспоришь.

Прибежали дети узбеков, на этих я взглянул мельком, но с отвращением. Они сразу стали что-то лопотать по-узбекски, громко и беспорядочно. Узбек отвесил одному из них затрещину, тот ошетинился, выкрикнул что-то злобное, узбекское, а другой заревел. Гадко так заревел, по-узбекски. Узбек вытолкнул с кухни своих узбечат, узбечка пошла за узбечатами, потом за ними вышел и узбек. У меня за пять минут даже голова разболелась от всего узбекского.

Мясо пахло оглушительно, помрачающе. Мяса там много, если взять кусок, никто не заметит.

Черт, какие иногда в голове мысли!

Но лучше, когда их совсем нет.

Я подцепил вилкой кусок мяса, размером с полкулака. Подул на него, чтоб быстрее остыло. И тут услышал шаги. Я заметался.

У меня в руках мясо и вилка. Бросить мясо обратно в кастрюлю я уже не успевал. Я дернул мясо с вилки полою пальто, бросил вилку на стол. Побежал к своему стулу. Обжигаясь и дуя на руку, перехватил кусок мяса и быстро сунул за пазуху. И в ту же секунду в кухню вошли.

Вошли двое парней, по виду — студенты. Они говорили на ходу. Чертово племя!
— Это не должен быть ни рассказ, ни повесть, ни даже роман, но — кино на бумаге. Представляешь? — говорил один.

— Сценарий, что ли?

— Нет, не сценарий. Но что-то такое, что читаешь — и видишь все от первого и до последнего кадра. Движущиеся картинки...

Студенты поставили чайник. Мясо жгло мою грудь.

На полу красовались жирные капли, я не успел утереть их ногой. Студенты-то капли не замечали, увлеченные разговором, но их могли заметить узбеки, когда придут. Капли непременно выдадут меня.

— Все равно, главное — сюжет! Фабула, — вставил второй. — История. Надо четко себе представлять, что ты рассказываешь!

— Ерунда! Совершенно неважно! Завязка, развязка, кульминация, интрига — ничего не надо!

— А что надо?

— Надо, чтоб была река! В одном месте вошел в нее и поплыл себе, поплыл!

— Куда поплыл?

— Туда, куда она тебя несет! А потом просто вышел из нее. В другом месте. И там уж все другое: берега, рельеф, ширина реки, глубина, породы рыб, птицы над головой, люди, деревья, климат, небо, стратосфера, батискафы — весь мир другой. Из одного мира надо перейти в следующий. Главное, чтоб было чудо неведомого перехода. Без стыков, без швов, без заусенцев. Плавно, незаметно. Как на реке.

— На реке бывают пороги. И топляки.

— Это ничего.

Пришли узбек с узбечкой. Стали вдвоем резать картошку, потом перец. Студенты ушли. Я вздохнул с облегчением. Ничего вообще нет хорошего в студентах! Эти их разговоры! Скоты!

Узбеки топтались по каплям на полу, ничего не замечая.

Пальто на груди у меня пропиталось мясным соком. Я прикрывал это место рукой. Будто бы у меня болело сердце. Если меня застукают с утянутой свиной, скажу, что у меня болит сердце, подумал я. К тому ж у меня нет почки и еще нарост неизвестного происхождения. В районе затылка. В общем, какие-никакие козыри у меня были на руках!

Пришли студенты за чайником. По-прежнему говоря на ходу. Взяли чайник и чашки и убралась к себе восвояси.

По мне, так узбеки лучше студентов.

Еще пришла тетка. Та, что впустила меня в квартиру. Увидела меня — удивилась.

— Ты что здесь сидишь?

— Сестру жду... — тихо ответил я.

— Сестру-у? Нашел где ждать! Вот дурачок-то! Сестру ждет!

Узбек с узбечкой засмеялись. Я тоже улыбнулся вымученно.

— А где мне ждать?

— Ну-ка пошли!

Я понуро поплелся за теткой.

Она вела меня в самый конец квартиры. Коридор сделался узок, как дыхательное горло. Дальше тупик — коридор заканчивался.

Тетка остановилась.

— Так кого ты там ищешь?

— Сестру.

— А звать как?

— Сестру?

— Ну, не меня же!

К этому вопросу я не был готов. Оттого призадумался и стал вспоминать. Разные имена, их обрывки или просто даже случайные звуки назойливо подворачивались мне, но я их отвергал, чувствуя, что они лишь желают меня обмануть, заморочить. В имени сестры не было ни этих звуков, ни этих обрывков, их там просто не могло быть. Обрывки были гадкими, а имя сестры не такое.

Имя пришло вдруг само собой, оно сразу же утвердилось, оформилось, восторжествовало.

— Вера, — сказал я.

Тетка толкнула дверь и крикнула в проем:

— Слышь, ма! Верка в соседней комнате, что ли, жила?

— Какая еще Верка? — сказала старуха.

— Вера, — потерянно поправил я.

— Какая Верка? Ну, или Вера? — переспросила меня тетка.

— Обычная, сестра моя, — запнулся я.

— Обычная, сестра его, говорит, — громко сказала тетка.

— Фамилия как?

— Как фамилия Верки? — спросила меня тетка.

С фамилией было проще, чем с именем. Фамилия всплыла сама собой.

— Сочкина, — трепетно сказал я. Я любовался этой фамилией, я пробовал ее на вкус, фамилия искрилась, переливалась, волновала, будоражила.

— Сочкина Верка, — громко молвила тетка.

— Сочкина, — повторила старуха. — А кто ее спрашивает?

— Ты кем ей приходишься?

— Брат.

— Брат, говорит!

— Какой еще брат? — непреклонно спросила старуха.

— Ты — какой брат? Троюродный?

— Обычный! — торопливо сказал я. — Просто брат! Родной брат!

— Родной брат, — сказала тетка.

— Скажи, пусть уматывает! — крикнула старуха. — Нечего тут шлындать!

— Слышал? Тебе лучше уйти! — сказала мне тетка.

Тут уж я заупрямился, закапризничал. Я был так близко от сестры, и вдруг лишиться всего из-за какой-то глупой старухи!

— Не пойду! — заголосил я. — Где ее комната? Эта? — я толкнулся в соседнюю дверь. — Вера! Я здесь! Я брат!

— Тихо, тихо! — перепугалась тетка.

Старуха продолжала шуметь.

— Ишь ты! Думает, если брат, так и таскаться можно! Пол топтать! А убирать за ним кто будет?!

— И ты, ма, молчи! — прикрикнула моя провожатая. — Разоралась ни с того ни с сего!

Тут вдруг и ключ у нее нашелся.

— Вера! Я здесь! — твердил я.

— Посмотреть хочешь? — спросила тетка, отпирая.

— Я к сестре, я шел, я и конфету принес!

— Конфету оставь! — строго сказала та. И даже заслонила собой проем. — Здесь положи! На полочке, у телефона. Нечего в комнату переться с конфетой!

Полочка была на стене. Телефона не было. Может, разве что когда-нибудь раньше. Потом-то сперли, ясное дело! У нас все прут! И еще тырят.

Я положил конфету на полочку, и тетка пропустила меня в комнату.

Да, это комната сестры, я сразу понял. Комната была пустоватой: кровать стояла, железная, старая, шкаф тоже стоял, и еще этажерка. Стол был ближе к окну, стула я не разглядел. Кое-что из вещей я увидел: гребенку, купальную шапочку, журнальцы — пять или шесть, серый халатик, вязальные спицы. Все это могло принадлежать только ей.

— Где Вера? — упавшим голосом спросил я.

— Какая еще Вера?

— Сестра.

— Твоя, что ль?

— Моя.

— Так у тебя и сестра есть?

— Вера! — крикнул я. И сел на кровать.

— Не сторожиха я Вере твоей.

— Вера, — тихо сказал я.

— Ладно, — сказала тетка. — Ты ступай, милый. Некогда мне тут с тобой ляды точить.

— Я сидеть буду, — сказал я. И уцепился снизу за кровать.

— Может, мне Рашида позвать?

— Не надо Рашида.

Я погрузнел. Рашид был узбеком, тем самым. У меня было его мясо.

— А может, ты здесь пожить хочешь? — вдруг сказала тетка.

— Да, поживу.

— А деньги есть?

— Было двести, но потом я купил конфету — теперь меньше.

— Это очень мало.

— Больше нет.

Тетка задумалась.

— Ну, тогда можешь пожить, пока не выйдут эти деньги. Потом тебе придется уйти.

— Да. А Вера появится?

— Что за Вера еще?

— Сестра.

— Я ж тебе сказала, что ей не сторожиха. Ты деньги-то давай!

Я отдал деньги. Тетка пересчитала их задумчиво.

— По коридору не ходи, — сказала она. — Сиди тихо! Спать захочешь — терпи! Ночью сама тебя отведу, а пока чтоб никто тебя не видел! Рашид, запомни, зверь настоящий! Он у себя в Чимкенте кого-то убил, теперь сюда приехал. Здесь убьет — обратно уедет. Там убивать будет. Потом опять приедет. Усвоил?

— Мне есть тоже надо.

— Потерпишь! Зачем я вообще с тобой связалась?

Тетка вышла. Я посидел немного, потом улегся на кровати с ногами. Достал из-за пазухи мясо. Оно давно остыло. Оно было с салом.

Я оторвал зубами кусок сала, пожевал, пососал, оторвал кусок мяса.

Вера! Где же ты? Почему ты не встретила меня в своем доме, во всеоружии своих гребенки, халатика, купальной шапочки? Почему ошетибилась ты предо мною своими соседями, подлыми и никчемными, своим холодным четвертым этажом, своим невниманием, своей железной кроватью? Я стал ворочаться в тоске и в неприкаянности, даже свинина не радовала меня, хотя я все равно откусил немного мяса и пожевал холодно и равнодушно, без блеска плоти, без рвения духа, без тайного трепета мускулов. Мирозерцания, конвергенции и сублимации столпились

у порога, Олег Олегович положил мне руку на плечо и спросил что-то несуразное, но я не ответил, я потрогал нарост на голове, и тот откликнулся, будто бы был живым, издал звук, непохожий на человеческий, щемящий, шампанский, саднящий звук, безжалостный и промозглый, и тут я проснулся.

По наросту не бейте!

Тетка, та самая, что впустила меня в квартиру и поселила здесь, нависала надо мной и светила в лицо керосиновой лампой. За спиной у нее кто-то стоял. Может, Вера вернулась? — успел подумать я. Но это не была Вера, это были студенты. В руке моей был кусок мяса, я так и заснул, зажавши его в ладони. Я поспешно затолкал мясо обратно за пазуху.

— Вам пора уходить, — сказала мне тетка. — Деньги все вышли. Двести — это такая мелочь, что не стоит и говорить. А там не было даже двухсот.

— Больше нет.

— И я тоже не могу здесь никого держать себе в убыток.

— Может, Вера приходила, пока я спал?

— Здесь никого не было.

— И не звонила тоже?

— Телефона давно нет, — сказала тетка.

Но тут же словно в опровержение ее слов в коридоре зазвонил телефон.

— Вера!

— Это Рашиду, — покачала головой женщина. — Здесь больше никому не звонят.

— Вера!

— Что он все о Вере? — обернулась тетка к студентам. — Он явно прикрывается Верой, а сам собирается жить, не платя.

— Непорядок! — сказал один из них. Тот, что рассуждал про кино на бумаге.

— Действительно, — подтвердил другой.

— Мама сразу сказала, что он проходимец, а я не поверила, — сказала тетка.

Ко мне придвигались, на меня наступали. Я вскочил, отбежал в сторону.

— Я — слабая, одинокая женщина, живу без мужского внимания, так каждый теперь норовит облапошить меня!

— Я не норовлю ничего такого, я сестру жду!

— Сестру! — грустно сказала та. — Принес конфету и думает, что может этим кого-то обвести вокруг пальца.

— Где она? — крикнул я и выбежал из комнаты.

За мной ринулись студенты, да и тетка тоже вышла и стала светить своей лампой. Коридор был темен, и если бы не лампа, так там не было бы видно ни зги. Я шарил по полочке.

— Она была, — сказал второй студент. — Мы ходили, смотрели. А потом пришли — а ее уже нет!

— Да, все так, как он говорит! — важно сказал первый студент.

— Хорошая такая конфета!

— Большая.

— Даже огромная.

— А куда она потом делась...

— Черт ее знает!

— Просто чудо какое-то!

— Я сестре принес! — глухо сказал я.

— Ну, сестре... — развел руками первый студент.

— Не все сестры конфеты любят!

- От конфет зубы портятся.
- Эмаль сходит.
- И не восстанавливается.
- Мы студенты, мы знаем.

Неподалеку Рашид бубнил что-то в телефонную трубку. На Рашидовом своем языке.

- Вера! — позвал я.
- Рашидушка! — сказала тетка.

Узбек запнулся на полуслове. Положил трубку и тут же появился, с жуткими черными провалами вместо глаз в неверном керосиновом свете.

- Денег не плотит и съезжать не съезжает, — сказала тетка.
- Здесь конфета моя была, — упрямо сказал я.
- Да, может, и не было никакой конфеты, — возразил один из студентов.
- Поди теперь проверь: была, не было! — подхватил и другой.
- Конфеты просто так на полках не валяются!

Узбек подошел молча. Взял меня за воротник. Как-то так ласково взял. Я даже подумал, что он хочет погладить меня. Быть может, он поверил мне, а не студентам. Но он взял меня еще за пальто в области поясицы и поднял. Поднял так, что я едва мог дотянуться до пола ногами. И понес.

Нет, пожалуй, я ошибся: гладить меня он не собирался.

- А мясо мое где? — тихо спросил он.
- Я не брал мяса!
- В кармане, — подсказал первый студент. Он бежал впереди нас с Рашидом.

Тетка светила фонарем сзади.

- Может, уже съел, — сказал и второй.
- Ничего! — сказал узбек. — Всякое бывает!
- Оно уварилось! — снова крикнул я. — Мясо уваривается.
- Да, уварилось. Было шесть кусков — стало пять. А нас четверо.
- Шесть на четыре не делится, — пробормотал я, задыхаясь.
- Пять тем более, — ответил узбек.
- Это вообще не его дело! — возмутилась тетка.
- Мы сели покушать, а там мяса не хватает.
- А мы не брали, — сказал первый студент.
- И никто не брал, — добавил второй.

Я подумал, что узбек совершенно напрасно подозревает меня в том, что я съел его мясо. Оно, конечно, я действительно его съел, но все равно не стоило бы про меня думать всякие гадости да глупости. Человеку нужно быть выше какого-то там съеденного мяса.

Мы уж были в прихожей. Студент с готовностью распахнул дверь перед нами, узбек перехватил меня получше и вытолкнул на площадку. Я стал отряхиваться и поправлять на себе пальто. Я решил объяснить им все про сестру, они поймут, они не могут не понять, ведь это все-таки люди, и человеческий язык им не чужд, сказал себе я, а я иногда умею объяснять убедительно. Вот и теперь я буду убедителен. Но тут узбек с силой толкнул меня, я оступился, хотел было ухватиться за перила, но не нашел их, и покатился по лестнице кубарем. Дверь в квартиру захлопнулась.

Я прокатился целый лестничный марш и ударился головой о стену. Вернее, на ростом. Тот смягчил удар. Он у меня похож на мягкую кость, он не болит, он не беспокоит, просто его не должно быть. Берет слетел с головы, я тут же отыскал его и натянул на голову. Я не могу без берета. Сестра, сестра! Лучше думать о сестре, а не о наростах. Я сидел на полу, прижавшись спиной к стене. Если бы я был понастойчи-

вей, я наверняка мог бы что-то разузнать о Вере. Несомненно, тетка что-то знает о ней. Возможно, знают и студенты, и узбек. Он, конечно, темный узбекский человек, но это не значит, что — совсем уж неосведомленный.

Так я поселился на лестнице.

Прежде всего я доел мясо. Спать лег на площадке, лег, прижавшись к стене и положив голову на ступень. Думал я о сестре. Ни о чем другом думать не мог.

Чем я питался? О, это совсем просто! Одна дура со второго этажа кормила бродячую кошечку, выставляла на площадке миску с булочкой и с молочком. Я ел кошечкину еду. Первый раз съел — смотрю: через час миска снова полная. Я снова съел. И сказал тихонечко: мур, мур! Смотрю: в миске снова молочко с булочкой появилось. Правда, и настоящая кошка приходила. Но я наказал эту сволочь. Долго гонялся за ней по этажам, приманивал, потом изловил, шваркнул об стену (для порядку), спустился вниз, открыл дверь и вышвырнул эту вопящую тварь на середину проезжей части.

Но все-таки она меня всего перецарапала.

Потом еще кошки приходили. Их впускали жильцы. Дуру со второго этажа знали все кошки округи. Но здесь уж расправа была коротка: за шкирятник — и вон из парадного! Еды все равно не хватит на всех — на меня и на кошек. Значит, кем-то придется поступиться!

И была ночь. С обычными ее подразделениями — с ужасом, темнотой, курсивом, соболезнованиями, двенадцатым кеглем, паллиативами, эндшпилями, тоской и беспамятством. С последним — так более всего.

Днем вверх-вниз ходили жильцы, я провожал их глазами. Я надеялся увидеть сестру.

Узбек проходил.

— Здравствуйте, — говорил узбек. Я сидел на полу на площадке.

— Здравствуй, узбек, — отвечал я тому мрачно. — Что сестра моя? Не появилась ли? Не звонила?

— Ничего не знаю, — заторопился узбек.

— Ты — узбек, ты должен знать! — крикнул я.

— Не знаю, — забормотал тот.

Он совершенно не страшен — этот узбек. При свете дня узбеки не страшны.

Появился Олег Олегович. Я был с ним груб.

— Что — сестра? — спросил он.

— Кому какое дело!

— Ты же сказал: встретишься и вернешься!

— Сказал.

— Ну и... не встретился и не вернулся!

— Не вернулся.

— А теперь здесь сидишь.

— Сижу.

— Давно сидишь.

— Не так, чтобы очень.

— И где она?

— Кто?

— Сестра.

— Нет.

— А может, ее вообще нет?

— Кого?

— Сестры.

Тут я дал ему в морду. Точно в морду. Иначе не назовешь.

— Сестра есть, есть! — кричал я и бил его по скуле. — Она... особенная!

Олег Олегович много больше меня, он мог спустить меня с лестницы, расквасить мне нос, разбить губу, он мог затоптать меня ногами. Но он опустил руки, пока я его колотил, скривил свое немолодое лицо и заплакал. Когда я остановился, весь сгорбился и молча пошагал вниз. Внизу тихо-тихо притворил за собой дверь.

Ну и хорошо! Зато теперь можно спокойно думать о сестре. А при нем нельзя думать спокойно.

Через день пришли полицаи. С дубинками и с пистолетами в кобурах. Я лежал себе на площадке, ни к кому не приставал, никого не гневил, никому не препятствовал. Кошку выкинул из парадного незадолго до того. Но что — кошка? Кошка — тварь бесполезная и языка нашего не разумеет. Не из-за кошки же полицаи пришли! Из-за кошек полицаи не ходят!

— Сидишь? — спросил один, ткнувши меня дубинкой в плечо.

— Сестру жду.

— На тебя жильцы жалуются, — добавил второй.

— Они врут, им заняться другим нечем.

— Что за сестра?

— Моя сестра.

— Я здесь всех знаю — здесь ничьи сестры не живут! — вставил второй.

— Моя особенная — она живет.

— А что у тебя там, под беретом? — треснул меня дубинкой по наросту тот.

— Мой нарост, — коротко ойкнул я.

— Опухоль, что ли?

— Нарост! — горделиво сообщил я. — Неизвестного происхождения.

— А ну покажи!

Я отвернул берет.

— Ну вот, он неизвестного происхождения, а ты по нему дубинкой! — укорил полицай своего товарища.

— А может, туда вишневая косточка попала, и теперь дерево растет?

— Так то ж у оленя было, — сказал первый.

— Да, он явно не олень.

— Будь он олень, так и вопроса бы не возникло!

— Ты ведь не олень?

— Нет.

— Да ну, какой он — олень?! — бросил первый.

— А у меня еще почки нет! — похвалился я.

— Покажи!

Я расстегнул пальто, выпростал одежду, показал свой темный, свежий рубец. Полицаи осмотрели его. Один даже хотел вложить персты. Но все-таки не вложил.

— Кто ж тебя так? — спросил первый.

— Не знаю. Когда пришел в себя, это уже было.

— Твое счастье. А то мы уж собирались тебя хорошенько отделать.

— По наросту не бейте! — попросил я.

— Болит? — сочувственно спросил первый.

— Нет, но поскольку он неизвестного происхождения, то лучше не надо.

Тут я даже сам подивился своей рассудительности.

— Да, по неизвестному происхождению лучше не бить, — согласился другой.

Разговор наш, кажется, стал складываться в мою пользу.

— Ну, так что, я буду сестру ждать? — спросил я.

— Вали-вали, на улице ждать станешь!

— На улице холодно, я пропустить могу.
— Шагай, покуда по *неизвестному происхождению* снова не схлопотал!
Полиции вытолкали меня из парадного. И пошли себе восвояси.

Я потоптался. На другой стороне дороги стоял Олег Олегович, смотрел на меня взглядом, полным благоприобретенного оппортунизма и застарелого, простонародного мракобесия.

— Прости, — сказал он. — Я позавидовал тебе, потому и сказал, что сестры нет.

— Сестра есть.

— Конечно, есть!

— И она особенная!

— Да. И красивая тоже! — сказал он.

— И красивая!

— Таких сестер больше ни у кого нет — только у тебя.

— Да, — сказал я. И поглядел на него.

Черт его знает, как я на него поглядел. Каким-то, не иначе, Хаубенштоком-Рама-ти. А как еще мне было на него глядеть?!

Возле дома сестры я постоял некоторое время, не решаясь зайти снова.

— Что? — сказал Олег Олегович.

— Ничего, — сказал я и зашел в парадное.

Спутник мой увязался за мной. Мы посидели на ступенях между вторым и третьим этажами. Потом Олег Олегович ушел. Вернулся через полчаса, принес пива.

— На остатки денег, — сказал он.

Мы выпили пиво. Чтоб сделать ему что-то приятное, я отдал ему кошечкины молочко и булочку с блюдечка. Олег Олегович поел. Я сказал: мур, мур! Мы спрятались. Вскоре появилось новое молочко. Тогда и я поел. В животе у меня заурчало от молока и пива, и у Олега Олеговича тоже заурчало, сначала у него заурчало, потом у меня, так мы сидели и урчали животами.

Мы не говорили, говорить было не о чем. Разве что о сестре. О моей сестре, разумеется. Ну, так мы о сестре урчали животами. Я — трепетно, да и Олег Олегович трепетно, насколько мог. Хотя совсем уж трепетно у него не получалось: он же не знал мою сестру. А на одних домыслах далеко не уедешь.

И тут появилась тетка.

Она перла кошелку. Со всякой продуктовой дрянью.

— Я сестру жду, — глухо сказал я.

— Нет никаких сестер! — недовольно ответила тетка, останавливаясь.

— Может, она вчера приходила?

— Не приходила.

— Может, она пришла так, что никто не слышал?

— Я не глухая. Я все слышу. Когда кто пришел, когда кто ушел, когда кто сортир занял — меня не проведешь.

— Может, она хоть звонила?

— Очень кто-то тут ее звонков дожидается!

— А это вот Олег Олегович, — для чего-то сказал я.

Тетка стрельнула в него глазами и сказала:

— А я — тетя Тамара.

Тут Олег Олегович словно преобразился. Он подскочил со ступеньки, поправил свой не вполне чистый подшлемник, развинченной походочкой приблизился к тетке, изогнулся и вдруг пропел масляным голосом:

— Тетенька Тама-арушка, ах какая у вас тяжелая кошелочка! Позволю себе предложить в качестве мужеской услуги дотащить оную до вашего этажа!

Тут в животе у него громко проурчало.

Тетка засмушалась, покраснела, но Олег Олегович склонился еще ниже и поцеловал потную ее руку с кошелкой.

— Ох, Олег Олегович, какой вы, честное слово!

Но отдала кошелку с охотой.

Олег Олегович сделался словно гуттаперчевым. Он шел впереди, похихикивал, потрясывал подшлемником, отпускал комплименты тетке.

Я сделал шаг вслед за ними, но остановился. Что мне идти следом, если там нет сестры? Смотреть на эти жалкие ухлестыванья Олега Олеговича и убогое теткино кокетство мне не интересно.

Дверь этажом выше открылась, и тетка вошла. После закрылась, было тихо, и я ожидал, что Олег Олегович вернется.

Но Олег Олегович не вернулся.

В животе моем проурчало.

Жить с пустым мозгом

Я не сразу себе признался: я ревновал Олега Олеговича. Не к тетке Тамаре, разумеется! Я ревновал его к сестре, он сейчас был ближе к ней, чем я. К тому месту, по которому ступала ее нога. Дело здесь в самом духе сестры, в ее мистическом присутствии. Это даже хорошо, что сестры нет теперь в этой гадкой квартире (квартира бы только оскорбляла ее, только бы задевала ее — сестры — тонкие, деликатные чувства, ее развитый вкус, живой ум, такт, фантастические струны и прочие клавикорды), и все-таки сестра там незримо присутствовала. Я не умею этого объяснить. Язык мой беден, чувства мои просты, мозг — хладен и пуст. Люблю жить с пустым мозгом.

— Предатель! — клокотал я.

Высокие мысли о сестре он променял на гнусные утешения с этой подлой теткой. Хотя были ли у него высокие мысли? Ведь он не знал моей сестры. Неудивительно, что он переметнулся с такой легкостью.

Но клокотанье мое вскоре прошло. Опустив плечи, я побрел по лестнице вниз. Я решил навсегда отсюда уйти. По улице я шел, не глядя перед собой.

Если б этот город теперь вообще подох, я бы, пожалуй, сильно не расстроился. Чего расстраиваться из-за каких-то дурацких городов!

Шел я медленно. Иногда и вовсе не шел. А существовал себе, стоя и молча.

И тут вдруг очнулся. Где? Перед гадючником, разумеется, где ж еще?!

Недавно мне там поверили, меня там полюбили, мной там восхитились. Гадючник сей не без добрых людей, сказал себе я.

Вошел почти без колебаний. Осмотрелся по сторонам, как завсегдатай. На месте Олега Олеговича сидел какой-то другой дурак. Со взглядом, полным муторных сатисфакций.

Я присел к нему за столик почти машинально.

Дурак смотрел на меня неприязненно.

— Ну, и где она? — громко спросил буфетчик.

— Кто? — втянул я голову в плечи.

— Твоя особенная женщина.

Тон его мне не понравился. Не люблю такой тон у буфетчиков.

— Это я так только сказал, что она особенная, нет, она, конечно, особенная — я никого не обманул, но она не просто особенная женщина, она моя сестра, и только потом уже — особенная женщина, — разом выпалил я.

Один кривой пьяница гоготнул в стороне.

Буфетчик вышел из-за своей стойки.

— Что он такое говорит? — спросил дурак, с которым я рядом сидел.

— А деньги у тебя есть? — спросил буфетчик, грозно нависнув надо мной.

— Деньги мне даст сестра, но это не важно. Хотя бы она даже мне их не давала. И я нарочно откажусь от денег, когда она мне будет их давать, потому что деньги не имеют значения, важна сестра, а не деньги... — тут буфетчик, взяв меня за шкуру, приподнял со стула. Все-таки с его стороны было невежливо не дать мне закончить фразы.

— Что касается сестры, так со мной даже Олег Олегович согласился, что важна только сестра, он был со мной все это время, он — хороший человек, наверное, но у него ужасающе много недостатков, так много, что он даже делается плохим человеком, его извиняет только отношение к моей сестре...

Буфетчик подвел меня к выходу. Я все витийствовал, я сам понимал, что витийствую, но не мог остановиться.

Один из пьяниц услужливо распахнул перед нами дверь.

Буфетчик пнул меня сзади, и я вывалился на улицу. Ударившись коленями. Ободрав ладони об асфальт.

Я не торопился вставать. Мне было противно стоять на ногах. Я очень не хотел походить на вас, на двуногих, прямоходящих. Вы мне теперь были отвратительны. Если бы было возможно, я навсегда ушел из вашего невыносимого сообщества, освободился от вас, стяхнул бы с плеч своих, с души своей, со смысла своего — ваши волкодавьи лапы. Ваши гнусные пятипалые конечности. Я полз на карачках, выкинутый одним из сынов человеческих из милого моему сердцу гадючника, где будь я принят, привечен и обласкан, так на время примирился бы с вами, согласился бы с вами, возрадовался бы о вас. Нельзя гадючники употреблять для изгнания, для отторжения людей, для унижения их и без того мизерных, окаянных, отчаянных душ!

И тут я в чьи-то ноги уперся наростом.

— Друг, — сказал Олег Олегович (ибо это были ноги его).

Досадуя, сопя и не глядя на эту помеху, я стал подниматься. Сторонясь Олега Олеговича, я медленно потащился по улице. Олег Олегович поплелся за мной.

— Неужто ты в это заведение ходил? — спросил он меня. — И они не приняли? Были невежливы? Изгнали тебя? — додумался он.

— Тебе что за дело?

— Подлые, подлые люди! — вскричал Олег Олегович. — Я пойду изничтожу их всех!

Он сделал движение, чтобы идти прямо теперь и изничтожать этих подлых людей, но передумал и снова поплелся за мной.

— Знаю, ты считаешь меня предателем, — забормотал он. — Но я не предатель. Мой поступок был продиктован заботой о поисках твоей сестры.

— Без сопливых обойдемся! — бросил я.

Однако же наострил уши.

— Ты вправе, конечно, подозревать в моем поступке одни лишь утехи слабой плоти. Да, плоть слаба, но хорош бы я был, если бы руководствовался только этим. Я был ловок, я кое-что выяснил о твоей сестре!

— Что выяснил?

— Не оспаривая самого факта существования сестры, многие из опрошенных мной тем не менее не способны обозначить даты и причины ее исчезновения.

Олег Олегович выражался витиевато. Слушая его, я поневоле и сам думать начинал витиевато.

— Разве она обязана перед кем-то отчитываться?

— Я вообще не понимаю, что могло связывать такую женщину с этой подлой квартирой. Но прозвучало еще имя, — сказал Олег Олегович.

- Что за имя?
- Вернее — фамилия, имени не было! Жмакин, художник...
- Жмакин? — протянул я с издевкой.

Фамилия мне сразу не понравилась. Пусть даже он был и художником. Или именно потому, что он был художником. Терпеть не могу художников. Пустой, дрянной, несуразный народ!

— Художник Жмакин. Можешь себе представить, по утверждению некоторых подлых жильцов... у твоей сестры... и этого Жмакина... было что-то такое...

- Чтоб у моей сестры и какого-то там Жмакина! — заорал я, останавливаясь.
- Невозможно, — кивнул головой Олег Олегович.
- Невозможно!

- Но это — единственная наша зацепка. Она поможет найти твою сестру.
- Как?

— Жмакин два раза заходил. Их видели вместе на улице. А потом Жмакин пропал, но и сестра твоя тоже не появлялась. Может, твоя сестра тяготилась этим подлым жилищем и... соседями, а Жмакин помог подыскать ей новое? — смущенно сказал Олег Олегович.

- Где искать Жмакина?

— О, — загадочно ответил Олег Олегович, — поскольку я снимаюсь в кино...

- Ты?
- Я.
- В кино?

Я решил, что он бредит.

- Ты подожди, я и тебя еще сделаю артистом!
- Даже и не думай об этом!
- Нам же нужны деньги? — спросил Олег Олегович.
- Нужны, — сказал я. — Но мы даже не знаем имени Жмакина.
- Художников немного. Жмакин же из них явно один.

Зачем я сказал, что деньги нужны нам? Деньги нужны мне. Понятия не имею (и даже знать не хочу), нужны ли они Олегу Олеговичу!

Черт его знает, я часто слова путаю. Принимаю одно за другое. А это другое — сразу за третье или даже четвертое. Слова непослушны. Слова несуразны и невозможны. Слова нестерпимы и немислимы. Многие слова и словами-то не назовешь.

Бездомные и безродные

У Олега Олеговича нет дома. Был когда-то, но теперь нет. Ему не нужен дом, человеку вообще не нужен дом. Человек, можно сказать, и не стоит дома.

Многих спасают помойки! Помойки — самое лучшее, что пока еще есть у человека. Прежде Олег Олегович тоже питался с помоек. Но теперь он — лорд, белая кость. Олег Олегович снимается в кино. Поначалу я этому не поверил. Но он мне объяснил. Сейчас снимается много всякого кино, снимается и про таких, как он или как я. *Про* таких, как он, но не *для* таких, как он. Это кино отчасти считается даже элитарным. Вот он именно в таком кино и подвизался. Его приглашают. Телефона у него нет, но когда нужно, к нему присылают подростка. Который знает все места Олега Олеговича. Есть такой подросток.

Этому я, правда, тоже не поверил.

Как ни странно, Олег Олегович пользуется некоторым успехом у женщин. Не только у тетки Тамары, у него и другие женщины есть. Так что Олегу Олеговичу

можно было бы и позавидовать. Но я ему не завидовал. У меня перед ним капитальное преимущество: у меня есть сестра, у него ее нет.

У Олега Олеговича нет дома, но есть несколько обиталищ. Есть угол в подвале. Еще есть газовая котельная. Он там не работает, но его знают. Он приходит и отпускает того, кто находится на смене, домой. Выполняет его работу, за что и ночует в тепле до утра.

Он привел меня в свою котельную.

Пока истопник собирался, я, понурившись, топтался у входа.

— Не спалите здесь ничего, — сказал тот Олегу Олеговичу. Хотя смотрел на меня.

Товарищ мой купил по дороге бутылку вина, мы выпили. Еще была килька в томате и черный хлеб, мы поели. Неподалеку гудела печь, было жарко и маотно.

— Твоя сестра... — застенчиво сказал Олег Олегович. — Расскажи мне о ней.

В другое время я, может, и не стал бы рассказывать о сестре. Но тут я опьянел и разомлел. Что такого, если я расскажу ему? Он — хороший человек, хотя и очень простой. Его интерес к сестре не мог ее никак принизить или запятнать. Хуже было другое. У меня не всплывало в уме никакого связного эпизода, рассказав который я бы представил точный образ сестры.

— Сестра... — начал я и задумался. Олег Олегович благоговейно молчал. — Я старше... Намного. Но она... она сидела рядом и была для меня как мама.

— Как мама, — прошептал тот.

— Давно-давно. Я был мальчик. Я только пошел в школу, в первый класс. В самый первый день. Мы жили в институте, там работал отец, писал диссертацию. Докторскую. Нам дали комнатку, временно, тогда такое бывало. В школу отвела меня мама, было три урока. И на третьем уроке я уписался. Надо было всего лишь поднять руку и сказать: «Людмила Борисовна, можно выйти?» Но я не поднял и не сказал, я хотел и терпел, а потом не вытерпел и написал в штаны. Все это увидели. Меня не ругали — такое с некоторыми случалось.

— И со мной было...

— Меня отдали в школу шести лет, я умел читать и считать до пятидесяти, а в детский сад я не ходил, потому был стеснительным мальчиком, не знал, как нужно говорить со взрослыми, я и сейчас не знаю. Прозвенел звонок, все спустились со второго этажа в раздевалку. Всех ожидали мамы и бабушки, всех целовали, помогали одеться, а меня не встречал никто, мама работала и не пришла. Всех увели, я остался один. Я мог бы уйти сам, там всего-то нужно было перейти дорогу, но я не умел шнуровать ботинки, и главное — всех встретили, а меня нет. Я стал плакать. Гардеробщица стала меня утешать, хотела даже вести домой, но я вырвался и побежал сам, с расшнурованными ботинками...

Я замолчал. Олег Олегович слушал, затаив дыхание.

— А сестра? — наконец спросил он.

— Что сестра?

— Ты хотел рассказать про нее.

— Хотел.

— Где же сестра?

— Сестры нет, — будто опомнился я. — Ее тогда еще вообще не было.

Олег Олегович сходил к печке, что-то там подкрутил или проверил. Потом вернулся.

— Я понимаю, почему ты об этом вспомнил.

Я и сам не знал, почему я вспомнил.

— И почему?

— Ты очень точно... описал состояние... как бы до своего рождения, состояние

дожизния... состояние *безсестрия...* Потом появилась она, и ты будто ожил, у тебя появился новый смысл, так?

— Может быть.

Олег Олегович разлил остатки вина.

— За сестру! — сказал он.

— За сестру!

Я чувствовал себя человеком — у меня была сестра. Ее осталось всего лишь найти. Со мной теперь был Олег Олегович. Он соглашался мне помогать.

Беда только в том, что у него какие-то закоснелые интонации. Не пойму, для чего на свете жить человеку с закоснелыми интонациями. Интонации должны быть прогрессивные, передовые и победительные, только такие интонации украшают говорящего, прочие же интонации говорящего принижают и изгаживают.

Ночью мне снились лодка и озеро, категорический императив, турнирная таблица, детородный уд, беспокойная вода. В лодке сидела женщина, спиной ко мне. Ей было зябко, лодку несло ветром от берега. Весла лежали в лодке, женщина не делала попытки установить их и грести. Не пыталась спасти себя. То ли не умела грести, то ли что-то иное ее удерживало. Сестра, догадался я.

Я будто парил над лодкой. Лодку относил ветром, но ветром в ту же сторону относило и меня. К тому же сзади надвигалась какая-то тень — то ли Витебского проспекта, то ли трамвая, то ли читального зала, то ли курса валют — разные бывают тени. Эта же тень была звучащей.

— Сестра! — надсаженно крикнул я.

Она стала оборачиваться, я увидел ее лицо и сразу проснулся, крича от ужаса. Лица не было, был голый череп: скалящиеся огромные зубы, вместо глаз пустые глазницы.

Надо мной нависал Олег Олегович.

На улице было темно, печь гудела, отсветы пламени скакали по стенам. Я сидел весь в холодном поту.

— Что? — спросил я.

— Ты кричал.

— Мне снилось страшное.

— Мне на съемки надо, — сказал Олег Олегович, взглянув на меня какою-то кривородною личностью.

— Какие съемки?

— Я в кино снимаюсь, я говорил.

— Откуда ты знаешь, что съемки сегодня, если вчера еще о них ничего не знал?

— Подросток приходил.

— Какой еще подросток?

— Тот, которого за мной присылают.

— Когда он приходил? — спросил я. Мне непременно хотелось теперь уличить в чем-нибудь Олега Олеговича. В чем-то постыдном и неопровержимом.

— Ни свет ни заря! Еще шести не было!

— Никакие подростки так рано не ходят! — крикнул я.

— Этот ходит!

— Он что, особенный?

— Особенный!

— Не бывает особенных подростков, — раздраженно сказал я.

— Твоя же сестра особенная — почему не быть особенному подростку?

— Моя сестра — не подросток.

— Верно, — согласился Олег Олегович.

Я загнал его в тупик, ему нечем было больше крыть. Еще бы он сказал, что моя сестра — подросток! До подобного бесстыдства он, пожалуй, еще не докатился!

— Значит, не хочешь сказать правды? — сказал я с некоторой даже угрозой.

— Какой правды?

— Куда ты собрался?

— На съемки. Я даже сменщика попросил прийти пораньше, чтоб он отпустил нас.

— Как ты мог попросить сменщика? У тебя нет телефона.

— Я послал подростка.

Я махнул рукой на Олега Олеговича. Я устал от его вранья.

Тут пришел сменщик. Я не хотел спрашивать, но не удержался.

— Откуда ты узнал, что надо прийти раньше? — спросил я.

— Подросток сказал, — пожал тот плечами.

Черт, и эта скотина в заговоре! Ненавижу всех сменщиков!

Мы с Олегом Олеговичем вышли в холодную предрассветную мглу.

— Иди, — сказал я.

— А ты что станешь делать?

— Искать сестру.

— Как ты станешь ее искать?

— Стану думать о ней.

Олег Олегович быстро скрылся в темноте. Мимо проехала какая-то покоробленная сволочь на своем циническом автомобиле. Я постоял немного и пошел. Черт его знает куда. Куда вообще можно ходить в вашем пакостном мире?!

Ноги сами пр инесли меня к гадючнику. Гадючник был закрыт по причине раннего времени, к тому ж и деньги... я забыл, как они выглядят.

Олег Олегович — мой товарищ, я хожу с ним, говорю, рассказываю о сестре, слушаю всякий его вздор, пью его вино, но сегодня я испытывал к нему настоящее отвращение. Он показался мне ужасающе лживым, быть может, и его отношение к моей сестре вовсе не бескорыстно. На самом деле я ведь не знаю толком, как он относится к моей сестре.

Впрочем, отвращение человека к человеку — совсем не страшно. Отвращение человека к человеку — даже хорошо. В сущности, все должно быть проникнуто обоюдным и неотторжимым отвращением. Отвращение должно разливаться по миру ручьями и реками, хлестать ливнями, медленно и тяжело волноваться морями, дуть ветрами, громоздиться горами, особняками, симпозиумами и монументами, оно должно быть везде и всегда, кроме как между мной и сестрой. Между нами должен быть свет. Свет и покой. Мир и благонравие. Трепет и калийная селитра. Мне уже мерещились и этот свет, и этот мир, и этот покой, и эта селитра, и это благонравие. Мне мерещилось многое.

Не прошел я и сотни шагов, как вдруг увидел столовку. За нею поодаль гудел завод. Может, зайти в столовку? Но через минуту меня оттуда выкинут. Кассирша или посудомойка, положим, могли бы меня и пожалеть. Они бы увидели, что я голоден, сказал себе я.

Черный ход я нашел без труда. Там толклись двое оборванцев — колченогий и кривой. Я остановился поодаль, но разговор их слышал урывками.

Когда тетя Муся работает, — хорошо, говорили они, — когда тетя Фатима, — плохо. Вчера вот тетя Муся работала, так колченогому старые макароны достались и две недоеденных котлеты. А кривому достался черный хлеб, немного подпорченный, и соус подкисающий, но зато много. А когда смена тети Фатимы, так вообще приходится уходить несолоно хлебавши, поскольку ее сестра в деревне поросят держит. Услышав про сестру, я сделал шаг в сторону этой парочки. У меня тоже была сестра.

— Иди отсюда! — прикрикнул кривой.

Я отступил.

Тут из черного хода вышла старая перечница — тетя Фатима. Она услышала последнюю фразу кривого.

— Это что еще за «иди отсюда!» такое?! А? — строго спросила она. — Раскомандовался тут пенек! Наглая плесень!

Кривой тут же стушевался, колченогий тоже. Но это им уже не помогло.

— А ну, марш отсюда! Чтоб я вас больше здесь не видела! — гаркнула баба.

Власть ее над этими двоими была велика. Они, бросив на меня злобный взгляд, поплелись прочь со двора.

— Новенький? — хмуро спросила меня тетка. — Я не видела тебя раньше.

— Я не с ними, я не такой. Я просто кушать хочу! — забормотал я.

— Здесь все кушать хотят. За другим и не ходят.

— Я сестру ищу! — для чего-то сказал я.

— Сестру?

— Сестру.

— Ну, это не так просто. Сестры на дороге не валяются.

— Я найду, — прошептал я.

— Капусту-то станешь? — сказала тетка Фатима. — Я верхние листья сняла — так остались.

— Я капусту люблю.

— Погоди-ка чуток, — строго сказала она. — За мной не ходи!

Старуха скрылась в недрах столовки и через минуту вынесла мне целую охапку капустных листов. Из которых половина была совсем уже черная и даже немного осклизлая.

— Капусту все любят! — сказала старуха.

— Да.

— Ну, давай, милый, ищи свою сестру.

— Спасибо, тетя.

Кривой и колченогий ждали меня на улице. Я догадывался, что так и будет, потому несколько листьев рассовал по карманам еще во дворе. Остальные же крепко прижимал руками к груди.

— Сволочь! — крикнул кривой и схватил меня за рукав.

Колченогий ударил меня по руке, и часть листьев посыпалась на тротуар. Я взревел от обиды и стукнул колченогого кулаком по зубам. Он рухнул на свою костистую задницу. Кривому я двинул по носу. Тот визжал, но не отпускал меня. Он выхватывал из моей охапки листья, и те падали наземь. Я двинул ему по носу снова. У кривого хлынула кровь, я побежал. Колченогий вскочил и бросился за мной вдогонку. Но тут же отступился и растянулся на асфальте во весь рост.

— Коленька! — заныл он. — Помоги споймать эту гадину!

Я не останавливался. Не одни, так другие могли бы отнять у меня мои капустные листы!

Меня и вправду кто-то преследовал. Он торопливо шагал следом. Негромко уговаривая меня:

— Милый, постой! Мне за тобой никак не угнаться!

Я стал перебегать проезжую часть, скрипнула тормозами какая-то подлая колымага, я увернулся. По небу плыли облака, густые и белые, как майонез. На этом-то пункте (на майонезе) я и сломался. Добежал до противоположной стороны улицы, тут вдруг резкая боль в правом боку пронзила меня, в глазах потемнело, будто невиданная тараканья мгла сгрудилась в недрах моего бедного черепа, и по стене дома я сполз на асфальт.

Инстинктивно я защищал капусту

Инстинктивно я все еще защищал капусту, несколько ее самых лучших листов. Меня же тянули вверх, меня ставили на ноги. Я посмотрел на жилистые руки, поднимавшие меня. Обычный старик, каких много. Весь седой, но слишком уж много волос: густая белая борода и сверху беспорядочные белые лохмы.

— Милый, зачем же так бегать?!

— Профессор, — глухо сказал я.

— Тише! — тревожно бросил он. — Пойдем-ка!

Он повлек меня за собой.

Машинально я отдал ему один капустный лист. Профессор стал грызть. Я тоже на ходу погрыз лист, песок хрустел на зубах.

— Борода накладная. Волосы съемные. Такое творится! — всплеснул он руками. — Я опасаюсь за свою жизнь.

— А мне бы сестру найти, — сказал я.

— У тебя сестра есть?

— Еще бы!

— А у меня брат. Но это последний человек, которого я хотел бы видеть.

— Брат и сестра — не одно и то же.

— Аналогично и он относится ко мне. Объявись я, так он сдаст меня моим врагам. И тогда каюк!

— А, — снова сказал я.

— Ты исчез так неожиданно.

— Не помню.

— Здесь есть местечко, где мы можем спокойно поговорить, — сказал профессор.

— Вы мою почку взяли?

— Какую почку? — остановился профессор.

— Правую.

— У тебя не стало почки?

— Только шрам. Теперь заживает.

— Нет, милый. Я не брал твоей почки. Мне не нужна была твоя почка. Я ведь даже привязался к тебе, если честно, пока ты лежал у меня на обследовании.

Профессор завел меня в большой открытый двор, где под сенью подлых тополей была детская площадка, а за ней — будка трансформатора и бетонный забор. Там-то мы и укрылись.

Профессор некоторое время грыз молча капусту.

— Я тоже капусту люблю, — сказал я. — Надо только немного Олегу Олеговичу оставить, хоть он и сволочь и врет постоянно, но он — хороший человек и еще все про Жмакина обещал разузнать.

— Кто такой Жмакин?

— Художник. Он что-то про сестру знает. А то, что у него что-то там с сестрой было, — враки самые настоящие.

— Ты не говорил, что у тебя сестра есть.

— Раньше я мог и не знать. Теперь знаю.

— Обследование было в самом разгаре, и вот я прихожу, а тебя нет. Ох, как я тогда ругал персонал. Они не имели права тебя отпускать. Черт! — вскричал еще он. — Надоели эти проклятые волосы!

Он сорвал с себя бороду, парик, отцепил кустистые брови, затолкал всю свою растительность в карман.

— Никогда не думал, что на старости лет придется еще и прятаться.

— Вы сестру мою знали? — глухо спросил я.

- Тебя навещала какая-то женщина.
- Сестра?
- Не знаю. Я видел ее пару раз. Издали. Мельком.
- Красивая?
- Да.
- Точно сестра. А какая она была?
- Что ты имеешь в виду?
- Ну, она должна быть такая... особенная...
- Прости, милый, не разглядел. Глаза уже, знаешь, не очень...
- Жаль, — расстроился я.
- Поначалу я ставил тебе диагноз: обсессивно-компульсивное расстройство. Но потом сам от него отказался по ряду причин.
- Еще капусты?
- Тебе надо оставить Олегу Олеговичу.
- Надо. Хоть он и сволочь.
- Все ключевые позиции на кафедре и в институте заняли иудеи. А я караим. И кто вообще придумал, чтобы вожди наших народов оказались в ссоре? И вот — письма с угрозами, разбитые стекла, ночные звонки в дверь. Мне несдобровать!
- А Олег Олегович, хоть и сволочь, — сказал я, — но, когда я рассказал ему о сестре, сразу полюбил ее.
- Да-да. Я тоже полюбил сразу.
- Как-то он это сказал так... без внутренней убежденности. Без железа и молибдена. Без мрамора и коммуникаций.
- Полюбили?
- Поначалу мы с моими бывшими коллегами полагали, что это у тебя некая костная опухоль. Одно несомненно: твое новообразование произрастает из самого мозга. А отсюда — возможны всякие парадоксальные проявления, сверхспособности, необыкновенная чувствительность. Покажи мне, пожалуйста, свою почку, — сказал вдруг он.
- Я расстегнул пальто и выпростал все одежды. Профессор задумчиво коснулся рубца перстами. Персты были не слишком чистыми. Я сразу заметил.
- Прости, — сказал профессор. — Несколько дней ночью не дома, не всегда удается помыться своевременно.
- Ничего.
- Прошло дней девять-десять. Рана не кровоточила?
- Два раза. Когда меня били по почкам.
- По почкам? — изумленно воскликнул профессор. — О, мир! О, люди! О, подлые двуногие! Они видят чудо, и этому чуду по почкам!
- Я стал рассматривать забор.
- В последнее время стали появляться еще люди с такими же наростами. Их все больше и больше. Уже зарегистрировано шестнадцать случаев, преимущественно — лица мужского пола. И есть один ученый, который собирает, систематизирует информацию. Он серьезно готов заниматься этой темой. Если б я мог встретиться с ним, поговорить... Но это смертельно опасно для меня. Я вообще не могу встречаться ни с какими представителями медицинского сообщества. Идет кто-то! — тревожно зашептал вдруг профессор.
- Полицаи, — сказал я.
- Поначалу я хотел было спрятаться за подлым деревом тополем, произрастающим в двух шагах от меня и профессора, но за подлыми деревьями прятаться вообще затруднительно.
- Через мгновение из-за угла будки выглянули два полицаи с дубинками в руках.

— Что, синяки, думали, зашли за будку — так никто вас не видит? — звонко спросил один. И двинул меня дубинкой рядом с наростом. Другой же ткнул профессора в ключицу. Били нас несильно, с некоторым даже дружелюбием.

- Не бейте по наросту! — выкрикнул профессор визгливо.
- Насекомое разговаривает! — удивился второй полицей.
- Это профессор, — глухо сказал я.
- Прыфессыр! — хохотнул первый.
- Мой товарищ шутит, — сказал профессор. — Я парикмахер.
- Цирюльник? — спросил первый.
- Просто парикмахер.

У профессора из кармана торчал белый клок — часть парика. Второй полицей потянул парик из кармана профессора.

- Волосы?
- Отходы производства.
- Так, тли, — скомандовал первый полицей, — катитесь отсюда!

Мы поспешно пошагали из нашего убежища.

— Я найду тебя! — шепнул мне профессор.

На улице мы, не сговариваясь, пошли в разные стороны.

Куда меня, собственно, понесло? Что за дорога?

Дорога как дорога! Дороги этой я не знал.

Все дороги знать невозможно.

Постоял немного перед домом сестры — ноги сами принесли меня туда.

Дом был неприветлив, мрачен, безжалостен. Дай ему волю — так непременно поворотился бы ко мне спиной. Дом источал *безсестрие*, он пах чужеродностью, он ощетинился неприступностью, сомнамбулизмом и фельетоном.

Тоскуя, я пошел прочь от него. Я положил себе более никогда сюда не возвращаться.

Передо мной была канава. Или река. Зеленая сифилитичная вода лениво поблескивала. Течение несло мусор. Я пошел вдоль канавы.

Вскорости вышел на огромную площадь. С одной стороны там — дворец, с другой — памятник, а дальше вовсе уж безобразие: купол золотой, купола поменьше, башенки, ворота, колонны, портик, ступени широкие — собор. Народ здесь бродил важный и собою довольный. Сразу захотелось этому народу сделать что-то обидное, что-то непозволительное, чтобы сбить с него его важность, его скотскую заносчивость, но обидное и непозволительное не придумывалось. Иногда обидное трудно придумывается.

Собора я сторонился, обошел его бочком, не глядя в его сторону. Пусть он знает, что не все им восторгаются. Кому-то на него и плевать. Что — соборы? Большие, но бесполезные!

За собором был сквер, в сквере — дом желтый, огромный. На доме был шпиль, большой, золотой, блестящий, наглый, остроконечный.

Еще там был такой, черный... на лошади! Лошадь на дыбы поднялась, желая седока сбросить. Но он держался крепко, такого не сбросишь! А под копытом лошади змеюка черная — корчилась. Лошадь тяжелая — змеюке не позавидуешь!

Я вышел к реке. Черт знает, что за река такая! Реке до меня не было дела, по берегам ее тоже громоздились дворцы. На реке этой сестра наверняка бывала не раз, я в этом не сомневался. Может, мне нужно приходить сюда каждый день? И тогда я раньше или позже встречу сестру?

Меня смущал ее дом. А вдруг прямо теперь она открывает дверь на первом этаже, вдруг поднимается по лестнице?! Эта мысль привела меня в ужас. Я бросился бежать.

Куда бежать, я не знал толком. Мимо собора я больше не побежал бы ни за какие сокровища мира, да мне и не дал бы никто этих сокровищ. Тогда я побежал в другую сторону, кажется, вправо. Или не вправо. В сторонах я не разбираюсь.

Там тоже поначалу были дворцы. От дворцов я шарахался. И еще — почка, проклятая моя почка! Боль в боку снова пронзила меня. Я остановился, отдышался, потом побрел едва-едва.

Дворцов не стало, напротив: дома сделались дрянны. Через час, блуждая и петляя, я вышел к гадючнику. Я не задержался подле него, я шел дальше, к дому сестры.

Начинало смеркаться. Я повернул за угол и тут увидел дом. На противоположной стороне дороги стояли двое мужчин. Я стал переходить улицу и тут вдруг услышал:

— Вот наконец и ты, друг!

Я повернул голову. Увидел Олега Олеговича и еще стоящего у того за спиной лысоватого, ободранного старикашку, одетого весьма нелицеприятно.

Старикашка, заметив, что я смотрю на него, приосанился.

— Это Федор Григорьевич, он — хороший человек, — сказал мой товарищ. — Ты, быть может, станешь сердиться, но я рассказал ему, что ты ищешь сестру. И Федор Григорьевич отнесся к твоим поискам и к твоей сестре с уважением и захотел взглянуть на тебя.

— Черт! — сказал я с досадой.

— Только одним глазком, — попросил Олег Олегович.

— Черт!

— Я почти нашел Жмакина, — сказал Олег Олегович.

Я застыл на месте.

— Федор Григорьевич, — представился старикашка. — Наслышан. Горжусь. Уважаю.

— А, — сказал я.

Федор Григорьевич сделал еще шаг.

— Сестра... это... такое... — пробормотал он. Схватил мою руку и порывисто пожал ее. Глаза его увлажнились, он хотел утереть их, но устыдился, махнул рукой и пошел прочь.

— Федор Григорьевич! — крикнул Олег Олегович. — Ну, чего ты!

Тот не оборачивался.

— Посмотрел на тебя — вот и растрогался!

— Что Жмакин? — глухо спросил я.

— О, я начал свое расследование с Лизаветы Вилевны, помощницы режиссера, я называю ее Козой, — начал Олег Олегович. — Но она ничего не знала про Жмакина. Я расспрашивал актеров. Тоже впустую. Коза велела мне поговорить с режиссером, фамилия его — Плачевный. Я рассказал ему про тебя, про сестру и про Жмакина. Жмакина он не знал, зато заинтересовался тобой, велел даже привести тебя на съемки.

— Зачем?

— Если ты подойдешь, тебя снимут в кино. Ты можешь стать знаменитым.

— Значит, про Жмакина я сегодня больше ничего не услышу? — ядовито поинтересовался я.

— Совсем забыл! — сказал Олег Олегович.

И высморкался с ожесточением.

Ожесточенная сопля его пала в точности на поребрик. Сопли падают, куда хотят (все сопли, за вычетом сопли Олега Олеговича, разумеется). Им даже законы физики — не указ. Иные из соплей побуждают к очень неожиданным выводам. Хотя, казалось бы, что такое человек и что такое его сопля! И тем не менее. Да.

Бернгардовка и ее подлость

Впервые я увидел подвал Олега Олеговича. Пять шагов в одну сторону, пять — в другую. Под потолком оконце. Не чистое, разумеется. С потолка периодически что-то текло.

Олег Олегович натаскал деревянных поддонов, из них он сделал лежаки и небольшой стол — так что жить здесь можно было с некоторым даже комфортом.

Не успели мы с Олегом Олеговичем разложить плавленые сырки, ливерную колбасу, хлеб и разлить красное вино в железные кружки, как заявились гости — небритый, лохматый мужичок с потасканной, раздавшейся дамой в драном пальто. Мужичок держал даму под руку, дама же держала огромный баллон с пивом.

Олег Олегович был не в восторге от прихода парочки.

Мужичок же, косвенно поглядывая на меня, склонился над Олегом Олеговичем и зашептал ему что-то в ухо.

— Павел Фролович, — укоризненно сказал Олег Олегович. — Я же просил: сегодня ни-ни!

Дама выставила баллон с пивом так, чтоб тот был лучше виден.

Олег Олегович был непреклонен.

— Нет, — сказал он.

— Олег Олегович! — канючливо протянула дама.

— Что вам здесь — зоосад, что ли? — прикрикнул тот.

— Мы же со всем уважением, — кисейно возразила дама.

— И с уважением тоже не надо!

— Ну, Олег Олегович...

— Нина Евтихиевна! — строго сказал хозяин подвала. — Прошу вас саму усвоить и объяснить вашему кавалеру: ваша просьба совершенно неприемлема и несвоевременна!

— А может, вы пива хотите? — обратился Павел Фролович ко мне.

Не иначе, эта парочка видела во мне какого-то заступника.

— Мы собирались пить вино, но, так и быть, глотнем вашего пива, а потом вы сразу должны будете уйти! — строго молвил Олег Олегович.

Парочка засуетилась. Павел Фролович налил пиво мне и Олегу Олеговичу. Сами они пить не стали, но благоговейно смотрели, как мы приложились к их пиву.

— За пиво спасибо, а теперь ступайте! — строго сказал мой товарищ, утирая губы рукавом.

— Нам бы только спросить, — приложила руки к груди Нина Евтихиевна.

— Только один вопрос... — поддержал ее Павел Фролович.

— Один можно! Но чтобы точно только один! — недоверчиво сказал Олег Олегович.

— Один! — заверила того дама.

— Друг! — с некоторым даже придыханием обратился ко мне Павел Фролович. — А верно ли, что у нее «светел взор забываемый»?¹

— У кого?

— У вашей сестры.

— Светел? Пожалуй... нет, он действительно светел. Я бы и сам, наверное, не подобрал такого точного слова.

— Взор? — спросил Олег Олегович.

— Взор! — твердо сказал я. — Не взгляд.

¹ С ними золотой орел небесный, / Чей так светел взор забываемый (строки известной песни, слова Анри Волохонского).

— Незабываем? — всплеснула руками Нина Евтихиевна.

— Забыть его невозможно.

— Потрясающе! — воскликнул Павел Фролович. — Взор и забываемый!

— А можно мне исполнить арию, посвященную этому событию и забываемости светлого взора? — сказала женщина.

— Никаких арий! — будто бы очнулся Олег Олегович. — Сказано вам идти — так идите! Совсем стыд потеряли! Вы бы еще переночевать попросились!

— Совсем коротенькую!

— Олег Олегович! — укоризненно начал Павел Фролович.

Но тот стал угрожающе подниматься с места, кавалер с дамой испуганно подхватили баллон с пивом и поспешно ретировались.

Мы помолчали. Олег Олегович с досадой стал разливать вино в те же кружки.

— Наверное, ты хочешь спросить меня, что это было?

— Нет.

— А с Федором Григорьевичем я поговорю, серьезно поговорю! Нет, я не просто поговорю! Я ему в морду! Я ему, как человеку, доверил страшный секрет... по правде сказать, просто проболтался, и ты вправе сердиться на меня. И даже мне самому в морду... Какая подлость! Я ему по секрету, а он тут же — этому Павлу Фроловичу и Нине Евтихиевне! Нет, они, конечно, хорошие люди, и мы даже выпивали... Но все равно нельзя же так!

— Жмакин... — сказал я.

Олег Олегович хлопнул себя ладонью по подшлемнику. От чего оттуда полетели пыль и всяческие полуприметные флюиды.

— Режиссер не знал о Жмакине... Но он позвонил художнику картины, по фамилии Жоробков, и тот обзвонил нескольких своих товарищей-художников, и через полчаса я уже знал адрес Жмакина, представляешь? Завтра едем к Жмакину!

— Куда?

— Он живет в доме... в Бернгардовке.

Бернгардовка! Название мне показалось столь же гадостным, как и фамилия Жмакин. И что с того, что он художник? Звание художника его вовсе не украшало, звание художника никого не украшает! Хуже звания «художник» только обозначение «человек» — таково мое убеждение. Хуже же человека ничего не существует. Разве что — бог.

— Где это?

— Надо ехать на электричке. Встанем завтра пораньше — и в путь!

Мы выпили еще раз.

— Надо было сказать Павлу Фроловичу, чтобы пиво оставил. Вина может и не хватить.

— Давай спать ляжем, — сказал я. — Скорее утро придет.

Ночью мне снились забываемый взор и свет, исходивший от него. Потом взор был сам по себе, свет же сам по себе. Взор я всячески старался не забыть, но тот ускользал. Ускользя, он мешался со светом, свет был удивителен и звенящ, свет был повсюду. И сестра была тоже там, сердцем, душой, щиколоткой, штандартами, саундтреками, стеклянными капельницами, лунными затмениями, расписаниями поездов — сестра была везде, с тем я и проснулся. Олег Олегович храпел неподалеку, я бросился расталкивать его, он кряхтел и стонал, не мог понять, кто он и кто я. Наконец проснулся окончательно и сделался даже образцом деловитости.

— Это я — старый осел — проспал все на свете! — крикнул он в сердцах.

На улице светало. Было зябко и муторно, день был гадок.

Полчаса мы плелись до метро. Потом Олег Олегович учил меня перепрыгивать через турникеты, когда дежурная отвернется. Мы прятались за колонной. Наконец

он меня подтолкнул, мы побежали, турникеты обиженно завывали, завизжали, дежурная, разумеется, заметила наш маневр, но, должно быть, решила с нами не связываться. Метро не обеднеет, поди, если два прохвоста проедут бесплатно.

Подошел поезд. Олег Олегович втолкнул меня в вагон.

Ехали мы долго, потом вышли, потом тащились по переходу, снова ехали. Наконец поднялись наверх.

В трамвае к нам пристала тетка-кондукторша.

— А у вас что? — спросила она с какой-то плавенной бесцеремонностью.

— А у нас, тетенька, денюжек нет, — ласково ответил Олег Олегович.

— Нет денег — идите пешком!

— Мы бы пошли, да ноженьки болят, и нам ехать надо, — сказал Олег Олегович умильно.

— Ехать надо — платите, а то водителю скажу — он транвай остановит.

— Зачем транспорт останавливать, когда в нем люди едут и на работу торопятся?

— Вы, что ль, на работу торопитесь? А люди — те, кто платит, а не кто зайцем едет! Зайцы — это зайцы, а люди — это люди!

— Мы не на работу торопимся, хотя я, можно сказать, артист, а он сестру ищет.

— Ты-то артист? — хмыкнула тетка. — Ладно, пойду других обилечу, и чтоб, когда вернусь, вас уже не было!

Она пошла по вагону. Я хотел было сойти на остановке, но Олег Олегович меня не пустил.

Я смотрел на кондукторшу с тоской и с косой саженью, идти пешком не хотелось. Товарищ же мой будто бы преисполнился энтузиазмом. Или — нигилизмом, я точно не знаю.

— Вы еще здесь, инфузории? — спросила тетка. — Все: пошла водителю говорить, чтоб транвай остановил.

— Да, я артист, я в кино снимаюсь, — горделиво заявил Олег Олегович. — Хотя и не народный артист, и даже не заслуженный, а вот у него нарост на голове неизвестного происхождения, одной почки нет, и еще он сестру ищет — особенную женщину. А я ему помогаю.

— Если вы — дураки, — возразила кондукторша, — значит, у вас должны быть проездные специальные, для дураков.

— Это наше упущение. Проездных для дураков у нас нет.

— Вот, — уселась та на свое кондукторское место. — А должны быть.

— В следующий раз будут непременно.

— Посмотрим.

Стало быть, из вагона нас пока не выкидывали.

— Так он правда сестру ищет? — спросила кондукторша.

— Для того и путь держим, — встряхнул подшлемником Олег Олегович, от чего из оного сызнава посыпались некоторые флюиды. — Для того бороздим просторы, топчем почву и нагибаем версты.

— А где сестра-то?

— По неподтвержденным данным, — отрапортовал Олег Олегович, — обитала в доме некоего Жмакина, художника, в населенном пункте по имени Бернгардовка.

— В Бернгардовке? А у меня тоже сестра была... пила-пила, до белой горячки, детей бросила, потом пропала, месяц искали и нашли мертвую в Лихославле, под поезд попавшую. Черт ее знает, как вообще туда угодила! У нас там нет никаких родственников.

— Моя сестра не такая, — недовольно возразил я.

— Сестры разные бывают, — уклончиво ответила кондукторша.

— Да.

За окном была всякая дрянь: лесопарк, высоковольтная линия, кладбище, деревянные дома. Потом началась эстакада, тут трамвай повернул, и стеклянный универмаг высунулся неподалеку.

— Обрато мы тоже на твоей громыхалке поедем, тетенька! — бодро пообещал Олег Олегович.

— Очень вы мне нужны! — ответила та, и мы вышли на трамвайном кольце.

Тут мы потоптались немного, потом решительно пошагали к железной дороге.

— Чтобы говорить со Жмакиным, надо купить пива, а иначе разговор может и не получиться, — сказал Олег Олегович. — Жмакин наверняка любит пиво. Все художники любят пиво.

— Да.

Электричка подошла почти беззвучно, вкрадчиво, подло, на малой скорости. Мы ввалились в тамбур вместе со всем поднабравшимся народцем, и почти сразу электричка тронулась.

Далеко ли нам ехать или не очень — я не знал. Не знал и Олег Олегович.

Он спросил у кого-то, оказалось — три остановки.

Три — не семь и не пятнадцать. Три можно и потерпеть.

За окном были толстые столбы и автострады. Там мчалось множество автомобилей, от них исходил гул. Потом были домишки. Куцые, петушьи, старушечьи, убогие.

Первая остановка нагнала на меня тоску.

Олег Олегович прижимал к груди бутылку с пивом в мешке. На Олега Олеговича я не глядел.

Вторая остановка меня разозлила. Вернее, я разозлился на себя. Неужто я такой растяпа и увалень, что не только не могу отыскать сестру, но даже и толком подумать о ней! Думать о сестре надо тихо, точно, глубоко, сосредоточенно, скрупулезно и эквивалентно, у меня же не выходило ничего подобного.

Едва электричка снова тронулась, в вагон вошли контролеры. Две старые гримзы, бесформенные и бесполезные. Олег Олегович кукарекнул. Я удивился и посмотрел на него. Другие тоже удивились и посмотрели на Олега Олеговича. И гримзы тоже на него посмотрели.

Он снова кукарекнул. Я двинул его в бок локтем. Прежде я не слышал, чтобы он кукарекал. Может, он петух, а не Олег Олегович?

Гримзы приближались. За окном было кладбище. Я снова затосковал. Значит, нас снова будут выкидывать, подумал я.

— Ваш билет, — сказала гримза Олегу Олеговичу.

Тот отвечал ей кочетом. Молоденьким, дерзким, несмышленным, голосистым.

— Гражданин, хватит придуриваться! Билет покажите! — строго сказала гримза.

Олег Олегович прижал пиво плотнее к груди и кукарекнул на весь вагон.

— А у вас что? — спросила гримза уже у меня.

Я заколебался. То ли мне кукарекнуть вслед за Олегом Олеговичем, то ли сразу во всем признаться и, может быть, на всякий случай сказать про сестру. Новый крик кочета опередил меня.

Гримза махнула рукой и пошла дальше по вагону.

Олег Олегович потащил меня к выходу. В тамбуре он кукарекнул еще, но уже приглушенно, без куража, без веры в предназначение. Тут поезд остановился, мы вывалились на платформу.

— Куда? — спросил я.

— Бернгардовка, — ответил мой провожатый.

- А.
- Тебе понравилось, как я кукарекал? Правда, я отличный артист?
- Нет. Мне было стыдно за тебя.
- Зато мы сэкономили деньги.
- Это не цель.
- Что — цель? — спросил Олег Олегович.
- Отыскать сестру.
- Да. Верно.

Бернгардовка мне не понравилась. Она была вся в подлых соснах, и дома стояли повиднее, чем прежде. Неужто Жмакин живет в одном из этих домов?

Существует ли он вообще — дом Жмакина? Нужен ли этому миру дом Жмакина (не говоря уж о самом Жмакине)? Не способен ли мир вовсе обойтись без дома Жмакина? Да, это вопрос! Я бы лично без дома Жмакина обошелся.

Но то — я, а то — мир! Никакого сравнения!

— Далеко еще? — спросил я.

— Уже близко.

Тут я несколько взволновался. Что если сестра окажется здесь? Мы подойдем к дому, а она стоит на крыльце...

Жмакин, Жмакин! Он сидел во мне будто занозой.

— Пришли, — сказал вдруг Олег Олегович.

Сердце у меня забилось быстро-быстро. Я стал рассматривать дом. Тот был пуст и застыл, хотя дворовая собака бесновалась на цепи. Мы ей определенно не нравились.

— Хозяин! — крикнул Олег Олегович и стукнул кулаком по калитке.

Олег Олегович — очень умный человек: я бы, пожалуй, не нашел вот так сразу, что крикнуть.

Мы подождали, собака бесилась все более.

— Пошли, — отворил калитку Олег Олегович.

— А собака? — опасливо сказал я.

— Собаки бояться — Жмакина не найти!

— Я и не хочу его находить. Я хочу найти сестру.

— Есть кто живой? — снова крикнул Олег Олегович.

Тут вдруг с заднего двора навстречу нам пошел какой-то дядька. По дороге прикрикнул на собаку, впрочем, без особенного успеха: собака гавкала и бросалась на него тоже.

— А это что еще за гуманоиды? — сказал дядька, бросив взгляд на нас, не слишком довольный.

— Дозволишь зайти, мил человек? — вкрадчиво молвил Олег Олегович.

— Уже зашли!

— Мы Жмакина ищем.

— На что он вам?

— Дело у нас к Жмакину.

— Да тихо ты! — крикнул дядька в сердцах на собаку и лишь потом оборотился на нас. — Нет у Жмакина никаких дел с вами.

— Как знать, может, и есть.

— Говорю, нет — значит, нет!

— Так ты, стало быть, Жмакин?

— Еще чего не хватало! — буркнул дядька вполне неприветливо и решительно шагнул в выстуженный дом, более на нас не обращая внимания.

Тут бы я, конечно, растерялся, будь я один. Но не таков Олег Олегович. Он преспокойно пошел за дядькой следом, и я поплелся за ними обоими.

Еще во дворе мне показалось, что на земле какой-то пестрый ковер. Белый, черный, коричневый, оранжевый, серый, голубой — много-много цветов сплелось в этом ковре. Ковер был и на ступеньках у входа, обрывки его были и на перилах, и на крылечных стойках, и на наличниках.

«Ковер», впрочем, оказался не ковром, но — красками: разукрашена была земля, крыльцо, дверь, прихожая, потолок. Кто-то, видно, мазал красками и траву, и почву, и доски крыльца, все, что попадало под руку. Там можно было разглядеть фигуры животных, человек, уродцев, колченогие деревья, оголенные скалы, телебашни, особняки, столбы, железнодорожные стрелки и прочие фосфориты, но в целом это был лабиринт.

Дядька обернулся на нас, немного шокированный, что мы поперлись за ним. Олег Олегович же достал бутылку с пивом и сказал:

— А у нас вот что есть!

— Ладно, — достал дядька стаканы.

Те были такими же, *лабиринтными*, они тоже были изукрашены, изнутри и снаружи. В доме изукрашенным было все: пол, потолок, окна, кровать, стены, полка с книгами, сами книги.

— Твое, что ль, творчество? — спросил Олег Олегович, тоже пораженный такой вездесущей и пронзливой живописью.

— Жмакина!

— Так ты, что ж, не Жмакни?

— Нет Жмакина, помер Жмакин! — сказал дядька.

— Как помер? — ахнул Олег Олегович.

— Так помер! Повесился.

Олег Олегович понурил голову. Помолчал. Стал разливать пиво по стаканам. Стаканы смотрелись празднично, пиво пить из них было жалко.

— Давайте, что ли! За упокой души!

Мы выпили за упокой.

— Не будет никакого упокоя-то! — сказал дядька. — Коль сам в петлю влез.

— Х... его знает, — возразил Олег Олегович. — Чего мы будем за Бога решать?!

— Решать за Него действительно нечего, а предположение высказать — так очень даже почему бы и нет! — витиевато возразил и дядька.

— А я, грешным делом, решил, что ты Жмакин, только выпендриваешься.

— Чудные вы гуманоиды! — усмехнулся дядька. — Не Жмакин я — Кизиков.

— Тоже неплохо! — одобрил Олег Олегович. — И небось тоже художник?

— А ты почему знаешь?

— Облик у тебя такой... углубленный... художественный...

Товарищ мой, при всей своей простоте, изрядно расположен ко всяким этикетам и политесам. Ко всяким блудливым комплиментам, ко всяким паточным похвалам, ко всяким зефирным казуистикам. Умеет вставить что-то этакое с безмерной непринужденностью.

— Ну уж и углубленный, — смутился Кизиков. — Налей-ка лучше еще пивца!

Олег Олегович налил.

— Жаль, что ты не Жмакин! — протянул он.

— Чего жалеть? — отговорился дядька. — Был бы Жмакин — сейчас бы в земле мокнул!

— Эт верно. Просто нам очень Жмакин нужен.

Мы снова выпили из накрашенных стаканов.

— На что? — отдуваясь, спросил Кизиков.

— Сестру ищем.

— Какую сестру?

- Его сестру, — мотнул головой Олег Олегович в мою сторону.
- Мою, — подтвердил я.
- А Жмакин при чем? — спросил Кизиков.
- Может, и ни при чем, — рассудительно молвил Олег Олегович. — Только вот есть информация, что Жмакин и его сестра... — тут он несколько опасливо покосился на меня, — я ничего не хочу сказать плохого... но все ж каким-то, так сказать, образом, может быть, где-то даже и пересекались...
- Про это мне ничего не ведомо, — подумав, ответил Кизиков.
- У меня внутри что-то оборвалось, похолодело. В сущности, пора было уходить. Жмакина нет, Кизиков ничего не знает, никаких следов, никаких надежд, никаких ниточек! Будь я один, я бы повернулся и пошел, даже не стал бы допивать пиво. Или — нет, пиво все-таки допил бы. Но я был не один, а с Олегом Олеговичем. И пива оставалось еще много.
- Так ты ничего не знаешь про сестру? — осторожно переспросил Олег Олегович.
- Не знаю.
- Ничего-ничего? — переспросил и я.
- А что у тебя там — рог растет, что ли? — покосился на меня Кизиков. — Или — шишак такой?
- Это — нарост! — с достоинством сообщил я.
- Неизвестного происхождения, — добавил Олег Олегович.
- Я смотрю, вам, гуманоидам, жизнь тоже непросто дается, — качнул головой Кизиков.
- А у него еще почки нет, — сказал Олег Олегович.
- Какой почки?
- Правой.
- А ссать это не мешает?
- Сперва кровь шла, теперь почти нет.
- А давно Жмакин... руки на себя наложил? — спросил Олег Олегович.
- Неделю назад. Вчерась схоронили.
- А ты, мил человек, ему родственником аль каким-нибудь приятелем полагаешься? — спросил еще Олег Олегович.
- Ни то, ни другое! — бросил Кизиков в некоторой досаде. — Если мы со Жмакиным сто лет назад мастерскую на двоих делили, так все теперь отчего-то заключают, что я его самый близкий друг и даже душеприказчик! И должен дела жмакинские в порядок приводить. Очень мне это надо!
- Мы выпили еще пива. Разговор стал складываться. Дядька сделался уж не так холоден, холоден стал я. Что мне с того разговора?! О сестре дядька ничего не знал, про Жмакина же мне было не интересно. Но Олег Олегович увлекся разговором с дядькой, Он любит поговорить. В нем есть что-то этакое, *петушиноголовое, омархайямное*.
- А чего Жмакину не жилось-то? — спросил мой товарищ. — Чего он, так сказать, буйну голову в петлю всунувши?
- Мне почем знать? — отвечал Кизиков. — Пил, говорят, сильно в последний месяц. Тосковал, что ли? Вон бутылок сколько! — бутылок и впрямь было много, и все как одна размалеванные. — И еще главную картину свою писал...
- Главную?
- Вот эту вот, — обвел руками вокруг дядька. — Собака на цепи сильно бесилась, чуяла, значит. Опять же и голод — не тетка! Соседи-то сунулись — дверь настежь, в доме никого — токма запах, а сам хозяин уж который день в подловке висит. Ну, меня наши послали: ехай, мол, Кизиков, можь, чего ценное обнаружится: письма, картины, документы! Художник, поди, не слесарь! А мы потом это опубли-

куем или мемориальную экспозицию откроем. На Пушкинской, десять... «Жмакин жив!» называться будет. Вот я и приехал. А тут картина эта его... *главная!* И чего ее — от стен отскрести? По-хорошему надо, конечно, здесь дом-музей Жмакина открывать, но — рылом не вышел.

— Даж записки не оставил?

— Записка-то была! Но толку от нее? Видно, человек не в себе писал! — ответил Кизиков.

— А где она? — спросил Олег Олегович.

Честное слово, дурак какой-то! На что ему понадобилась записка Жмакина?! Мне бы даже, если под нос стали совать записку Жмакина, я бы и тогда ее читать не стал.

— Да вот, — сказал Кизиков, доставая из кармана сложенную в четверо бумажку, заляпанную краской. — Ее сначала полицаи хотели себе прибрать для расследования обстоятельств, да я сказал, что общественность требует... что, мол, ей место в музее Жмакина, под стеклом — они себе копию сделали, а мне записку отдали.

Тут Кизиков нацепил очки на нос и стал читать с выражением.

«Змеюка подлая загубила жизнь мою молодую бесценную до капельки так что нас теперь веревка рассудит а ты Додька Макухин не радуйся иль радуйся коли радуешься но только недолго ибо скоро сам все поймешь и сам все увидишь Картину мою главную не дописал ни красок ни времени да и не стоите вы собаки главной картины Плюю на вас всех на ваши могилы на ваши столы полные яств на ваши ридикюли полные украшений на ваши души в облезлой позолоте и прочих дрянных перламутрах Жмакин художник каких еще поискать надо да вы и не ищите...» — прочитал дядька.

Мы помолчали. Кизиков аккуратно сложил записку и упрятал ее в карман.

— А что, — подал наконец голос мой товарищ, — Жмакин молодой, что ли, был?

— Куды там! — развел руками дядька. — Лет на пять меня старше!

Да, дядьку молодым бы я никак не назвал.

— Кокетничал, значит, Жмакин?

— Ладно, гуманоиды, — подытожил Кизиков, — давайте ваше пиво допьем, и ехайте себе подобру-поздорову, у меня еще дел много.

— А что за Макухин такой? — спросил Олег Олегович, разливая остатки пива.

— Это вы у Жмакина спросите, — отвечивал художник с некоторой неприязнью.

На обратной дороге я шел впереди, меня подгоняла злость, Олег Олегович плелся позади. Он просил меня подождать его, но я не стал ждать. Я не хотел больше видеть Олега Олеговича.

Хотя, если вдуматься, чем он был виноват предо мной? Ничем, наверное. Но я не желал вдумываться. Могу я кого-то не хотеть видеть?

По-видимому, мне следует спросить у кого-нибудь, где город, и пойти пешком. А с Олегом Олеговичем расстаться самым бесповоротным образом. Если придется идти несколько дней — что ж... значит, буду ночевать в лесу или в поле. Пальто у меня не слишком теплое, но как-нибудь перебьюсь. Кто сказал, что мне непременно должно быть хорошо?!

Я уже так шел однажды пешком. Четыре дня или семь. По автостраде, да по болоту, по полю, да мимо терминалов. Машин летело много, но ни одна не останавливалась. Меня тогда чуть не убили, мне врезали по почкам, и весь воздух вышел из моей груди. Причину не помню. Врезали — и врезали!

Откуда я шел? Этого я тоже не помню.

Тярлево... Ну, и что, возможно посчитать это за человеческое название? Да нет же, должно быть, оно мне просто пригрезилось.

Олег Олегович явно хотел ко мне подлизаться.

— Прости, друг, за то, что я потащил тебя сюда! Я должен был сообразить, что тебе будет больно слушать все эти разговоры про Жмакина.

— Да, — сухо сказал я.

— Потратили столько времени впустую, и главное — непонятно, как искать твою сестру.

— Непонятно.

Денег на билеты у Олега Олеговича не было, были только на пиво. Он пошел в ларек, но тут появилась электричка. Я закричал ему, замахал руками. Но он все же купил пиво и побежал на платформу, прижимая к груди свой заветный груз.

Электричка уж стояла с раскрытыми дверями, а Олег Олегович еще взбегал по ступенькам. Если б он опоздал, я бы уехал без него. Но тот заскочил в ближайшую дверь, потом прошел по вагону и присоединился ко мне.

Наконец эта чертова электричка поехала. Мы уселись на скамью.

Я устал и начал придремывать, но Олег Олегович прицепился со своим пивом. Пива я теперь хотел меньше, чем прежде, но не оставлять же его Олегу Олеговичу.

Два мужичонки скудосердых, стоеросовых, вроде нас с Олегом Олеговичем, разместились у меня за спиной.

— Иной бабе ейный довесок важнее мужука, она и замуж-то потом выходит не стока для личного удовольствию, скока, чтоб довесок получше пристроить, — говорил один.

— Да! — соглашался другой. — Я вот и Гальке своей сказал: «Я, Галька, на тебе женился, а не на постреленке твоём, парнишка он ничего, но все ж я не отец ему, а так только — серединка на половинку.

— Я против пасынка ничего не держу! Сообразительный, считает в уме до трехсот, а еще говорит не сливочное масло, а сволочное! Намажь, мол, мать, мне на булку сволочного масла! А еще говорит не макароны по-флотски, а макароны по-скотски! И не распятие, а — растяпие.

— Да-а! А я вот со своим в субботу в цирк ходил. Галька билеты взяла, а пойти не смогла, дежурила, пришлось мне...

— Сто лет в цирке не был!

— И не ходи! Это дитяам хорошо, взрослому человеку там делать нечего. Клоун пьяный, дрессировщица — профура крашенная, а еще там удава на сцену выпустили, так тот обдолбанный, не иначе. Или напоили чем, или обкололи. Нормальный удав, если захочет, собаку догонит на пересеченной местности, а этот лежит, как бревно. Его на трапецию повесят — он ноль внимания, его с трапеции снимут — он снова: будто его и не касается. Какая уж там собака на пересеченной местности? Этот не то, что собаку, он и черепаху не догонит. Удавы в цирках: только жрут, да спят, жрут да спят! Разве это удавы?

— Они там в цирке тиграм вино дают для артистизма. Правда, сухое. А бегемотам — пиво. А что дают удавам — не знаю.

— Удав — серьезная змея. Но только когда он на воле. А не в цирке.

Так вот под удава, который может догнать собаку, я, кажется, и забылся...

Потом меня толкнули, и я проснулся.

В вагоне была повсюду ночь. И еще было тихо.

— Где мы? — сказал я. — Почему стоим?

— Нет тока, — сказал Олег Олегович. — Мы ехали-ехали, а потом остановились. Все вышли, а мне было жалко тебя будить.

— Далеко еще?

— Остановки полторы. Мы уже в городе, но у электричек перегоны большие.

Я посмотрел в окно. Там не было видно ни зги.

- Что теперь?
- Надо идти. Не сидеть же здесь до утра.
- А если дадут ток?
- А если его не дадут?

Олег Олегович умеет быть логичным. Мы выпрыгнули на насыпь, перебрались через канаву и стали взбираться на невысокий пригорок. Листья шуршали у нас под ногами, ветер шумел в кронах деревьев. Через минуту мы стояли перед оградой. Мы полезли через нее.

- Нетрудно было догадаться, куда мы лезем. На кладбище, разумеется.
- Черт побери! — буркнул Олег Олегович. И перекрестился.

Мы прошли массив могил, то и дело озираясь по сторонам, далее была дорожка, там сделалось легче. Слышался собачий лай. Быть может, собаки бегали по кладбищу. Мы прибавили шаг.

- Это ты меня сюда притащил, — попрекнул я Олега Олеговича.
- Мне кажется, мы идем правильно.

Минут через десять, когда я был уж готов поколотить моего товарища, мы все-таки выбрались с кладбища.

Района этого я не знал. Дома вокруг были и высокие, были и пониже. Ехали редкие драндулеты по дороге. Светясь изнутри, плелся троллейбус. Олег Олегович, кажется, хотел поспеть на него, но остановка была далеко.

Наконец мы доползли до остановки, троллейбус давно укатил. На остановке не было никого. Впрочем, один человек все-таки был — невысокого роста, щуплый, в курточке с капюшоном на голове. Поначалу он стоял, отвернувшись, а потом вдруг шагнул в нашу сторону. Подошел и сбросил капюшон с головы — мальчишка, подросток.

— Олег Олегович, — сказал он. — Те велели передать, что завтра съемка и чтоб вы никуда не уходили, они приедут за вами.

Товарищ мой, кажется, ничему не удивился.

— Ладно, — сказал он.

— Ну вот, все! — сказал подросток, собираясь уходить. — Я передал.

— Мне нечего тебе дать сегодня, деньги закончились.

— Ничего, *те* мне заплатили, — ответил подросток. — Но если в следующий раз вы мне что-то дадите, я буду вам благодарен.

— В следующий раз дам непременно.

Тут подросток шагнул на проезжую часть.

— Подожди! — сказал я.

Тот сразу остановился. Он будто бы ожидал, что я его остановлю.

— Откуда ты знал, что Олег Олегович будет здесь? — сурово спросил я.

Подросток пожал плечами.

— Я не знаю, откуда я знаю. Я просто знаю — и все!

— Долго ты здесь ждал нас?

— Нет, я приехал, а через пять минут подошли вы.

— Кто тебя отпускает одного? В такое время ты едешь через весь город...

— Я сам ухожу. И еще *те* сказали, чтоб и вы никуда не уходили — они хотят на вас посмотреть.

— Разве они что-то про меня знают?

— Знают.

— А ты меня видел прежде?

— В котельной. Вы спали.

Тут он вприпрыжку понесся через проезжую часть и вскоре скрылся во дворе, за домами.

Неслышно подошел светящийся изнутри троллейбус.

Чертовы актерки

Спал и смерти не боялся — редкая ночь! И даже сестра почти отпустила меня. Последнего я не хотел, последнего я трепетал, но ничего не мог с этим поделать. Мы не властны над теми, кто нас поработает, привязывает. И уж тем более над теми, кто выпускает нас на свободу. Вообще — свобода не для меня, она и не для человека, человек не понимает свободы, он ею тяготится. Приведите ко мне подряд пятьсот человек, и я всякому укажу на его несвободу. Несвобода — главное в человеке, несвобода — лучшее в человеке, несвобода — святейшее, сокровеннейшее в нем. Несвобода — бог человека.

Проснулся я от света. И от хождения людей. Подвал будто преобразился.

В подвале, кроме нас, было еще человек шесть или десять, среди них одна женщина, тощая, лет сорока. Еще кого-то ожидали, это сразу чувствовалось, самого главного. Это к Евгению Лукичу, говорил кто-то, это решает Евгений Лукич, соглашался другой, вот его-то все и ожидали. Но и тощая здесь решала вопросы, она была главной после Евгения Лукича. Ее звали Лизаветой Вилевной. Это я услышал от Олега Олеговича.

Свет был от фонарей на стойках. На полу были размотаны черные кабели.

Тощая заметила, что я проснулся.

— Здравствуйте! — звучно сказала она.

Я посмотрел мимо нее.

Она протянула мне руку.

— Лизавета.

Руку-то я ей пожал — мне не жалко. Даже встал с поддона. Она со мной оказалась одного роста. Кишка такая! Тогда я сел снова.

— Надеюсь услышать ваше имя, — усмешливо сказала тощая.

Я снова посмотрел мимо нее.

Тут всунулся Олег Олегович.

— Он не помнит своего имени, а я называю его «другом», — куртуазно сказал мой товарищ.

— И что вы предлагаете написать в титрах? Друг? Дружок? Милый друг? Шер ами?

— Можно выдумать какой-то псевдоним.

— Вот и выдумайте! — сказала она и тут же переключилась на остальных.

Среди них был человек с камерой.

— Угол и постель крупным планом! Постель подбить! Чтоб была еще беспорядочней! Все эти ватники! Остальное, когда Евгений Лукич придет!

Человек стал снимать.

— Скоро мой подвал станет знаменитым! — приосанился Олег Олегович. — Вы мне должны за эксплуатацию интерьера.

Тощая снова обратилась ко мне.

— Скажите: «Мне все равно!»

Я промолчал. Я хотел, чтобы от меня отвязались поскорее.

— Только три слова: «Мне все равно!» — повторила тощая.

— Скажи! — шепнул Олег Олегович.

— Скажи! — велел мне еще какой-то киношник.

— Все равно.

— Нет, не «все равно», а «мне все равно!» — поправила меня Лизавета Вилевна.

— Он может! Он хорошо говорит! — вертелся ужом Олег Олегович.

Этого лизоблюда теперь здесь только не хватало!

— Зачем?

— Мы просто слушаем.

— Мне идти надо! — сказал я, вставая.

— Что ты! — подскочил ко мне Олег Олегович. — Куда тебе может быть надо идти?!

— Ты знаешь! — хмуро сказал я.

— Искать сестру?

— Да, как ни странно.

— Поиски могут подождать до вечера, не правда ли? — заволновался мой товарищ.

— Это твои поиски могут подождать до вечера, — сказал я.

— Есть много способов поиска сестры, — сказал Олег Олегович. — Снимаясь в кино, ты тоже можешь ее искать. Ты снимешься, станешь знаменитым, сестра увидит тебя и сама захочет тебя разыскать.

— Олег Олегович прав. Есть разные пути к Богу. И есть разные способы поиска сестры... и нужно только самому близкому вашему человеку, вашей сестре, также дать шанс помочь вам ее отыскать! — вмешалась вдруг тощая.

— Мне все равно! — сказал я.

— Что? — запнулась тощая. — Уже почти хорошо. Повторите еще раз эти самые три слова, а вечером, после съемок мы все вместе попробуем поискать вашу сестру!

— Ты понял? — сказал Олег Олегович. — Все будут искать твою сестру.

— Не надо, чтоб все искали. Я сам должен ее искать. Остальные пусть ищут своих сестер!

Тут было явление. Пришел Евгений Лукич, режиссер. Он сразу заполнил собой все помещение, все как-то подобрались, все устремились в его сторону.

— Это и есть тот, другой? — бросил режиссер. — Как он?

— Своенравен, анархичен, а так — ничего! — быстро ответила Лизавета Вилевна.

— Нам только его своенравия не хватало!

— Зато какой типаж! Ни малейшего сравнения с двоими вчерашними.

— А вчера были совсем другие песни!

— Утро вечера мудреней.

— Снимите берет! — коротко приказал мне режиссер.

— Я без него не хожу! — крикнул я.

Олег Олегович, напряженно улыбаясь, притиснулся ко мне и вдруг коротко саданул меня кулаком в бок. Ему явно не нравилось мое поведение.

Приблизилась и тощая.

— Я только поправлю, — сказала она.

Лизавета Вилевна поправила мой берет. Сдвинула его в сторону, а потом посадила прямо.

— Так это и есть знаменитый нарост? — сказал Плачевный.

— Происхождение его неизвестно, — умильно сказал Олег Олегович.

Человек с камерой стал снимать меня.

— Поехали! — бросил Плачевный.

Все засобирались. Погасили фонари. Подвал Олега Олеговича тут же съезжился и будто бы уполз в сторону. Люди стали сматывать кабели. Режиссер пошел к выходу. Я сел на поддон.

— А вы куда сели? — удивилась тощая. — Вы едете с нами!

— Зачем?

— Как это зачем? На съемки.

— Мне не надо съемок! — крикнул я. — Мне другое надо!

— Да-да, найти сестру, мы это уже обсуждали.
— Да, найти!
— Он пойдет, пойдет! — умоляюще говорил Олег Олегович.
Я взглянул мимо Олега Олеговича, как мимо пустого места. А еще товарищ называется. Тьфу! Не надо таких товарищей! Можете себе их забрать.
— Дорогой мой... — начала женщина.
— Я не дорогой!
— Ну, не дорогой! — с крахмальной усмешкой сказала та.
— Я никакой, меня вообще нет!
— Хорошо-хорошо, — терпеливо сказала еще. — Я уговорила Евгения Лукича взять вас вместо двух обалдуев, что мы отсматривали вчера. Хотя в принципе и они подходили. В какое положение вы ставите меня своим отказом! Съёмочный день короткий, и где мне теперь искать вам замену?
— Где сегодня съемки, Лизавета Вилевна? — кротко спросил Олег Олегович.
— В Сестрорецке.
Я насторожился. Я вдруг услышал что-то безмерно знакомое, что-то очень близкое.
— Где? — глухо спросил я.
— В Сестрорецке. Так художник решил. Подходящее место.
— В Сестро-рецке? — запнувшись, повторил я.
— Красивый курортный город, там течет река Сестра, — сказала Лизавета Вилевна.
— Куда она течет?
— В Финский залив, — сказала Лизавета Вилевна.
— Мы увидим Сестру?
— Конечно. Будем проезжать мимо.
— А там точно она течет?
— Сами убедитесь! — усмехнулась женщина.
Тут они с Олегом Олеговичем поволокли меня к выходу. Я, впрочем, не упирался, я сам шел. Я хотел увидеть Сестру. Пускай она даже и река.
На улице стояли три микроавтобуса. Все уже расселись, ждали только нас.
И еще напротив дома, на другой стороне улице, стоял старикашка, державший большую-пребольшую картонку у себя на груди. На картонке было начертано: «Он ищет сестру». Старикашка был Федором Григорьевичем.
Видать, он всю ночь простоял так. Проклятуший Федор Григорьевич! Проклятуший и Олег Олегович, разболтавший все проклятушему Федору Григорьевичу!
Мы забрались в автобус. Олег Олегович сидел поодаль. Хорошо! Он прилипчив, как скарлатина. Чуть ближе сидела тощая. А еще сидели актеры с актерками.
Окно запотевало. Я протирал его кулаком, но оно запотевало снова. Лучше было глядеть в окно, чем на актеров с актерками.
Я хотел увидеть Сестру. По-моему, мы ехали долго — пора бы уж ей появиться.
И тут чудо! Мы остановились на мосту. Впереди были машины, ехать мы не могли. Я заволновался.
— Это Сестра? — спросил я.
— Нет, дорогой! — сказала Лизавета Вилевна. — Это Черная речка. Мы даже не выехали из города!
Вот незадача! А где же Сестра?
Я стал смотреть в пол. Город рассматривать я не хотел, актеров с актерками — тем более. Что еще оставалось? Смотреть в пол.
Олег Олегович точил лясы с актерками. Взглянул бы на себя, так вел бы себя поскромнее. Люди редко знают свой действительный вид, и оттого среди них за-

водятся такие вот олеги олеговичи. Но актерок, кажется, не смущал ни подшлемник Олега Олеговича, ни его неопрятный вид, ни его запах после вчерашних возлияний, который ощущал даже я.

Чертовы актерки!

Может, мне рассказать им о том, что я ищу сестру? Вот только что это даст? Да и поймут ли они? Что вообще понимают актерки? Быть может, они не понимают ничего! Загадочный народ — все эти лукавые дряни!

Мы наконец выехали из города. Будь что будет, решил я. Мне вдруг на миг показалось, что мне нужно прильнуть, прикинуть к этой реке — Сестре. Пускай теперь хладно и пасмурно. Омочить в ней лицо и ноги, и, быть может, спокойствие тогда снизойдет на душу мою. Но хороша ли будет душа моя со снизошедшим спокойствием. Не знаю, не уверен! Может, и отвратительной. Все души отвратительны.

Тут автобус наш свернул с шоссе и остановился возле большого стеклянного дома с террасой.

— Кофе-брейк, кофе-брейк! — загалдели актеры с актерками, выметаясь из автобуса.

— Пошли! — подтолкнул меня к выходу Олег Олегович.

На террасе не было никого, мы пошли внутрь дома. Там смешались разные запахи: дивные и тошнотворные. Пахло супом и кофе, пахло рыбой и пирожками, там было светло и чисто, между столиками бегали тетки в передниках.

Наша ватага шумно расселась за несколькими столиками.

— Вы правда никогда не снимаете берета? — спросила меня одна из актерок.

Я хотел запустить в нее чем-нибудь. Вилкой или салфеткой.

— Никогда! — важно ответил за меня Олег Олегович.

Сам он тоже сидел в подшлемнике. Со мной за компанию. Хотя, если вдуматься, все равно он — говнюк! Что мне его компания!

Тетка в переднике и с блокнотом обходила нас.

— Кофе черный или с молоком? — спрашивала она.

— Черный и восемь кусочков сахара, — ответил Олег Олегович. — Сахар мне нужен для моего мозга.

Ну что, разве он не говнюк? После этих слов. Что вообще у него за мозг такой!

— А вам? — спросила она меня.

— Меня от кофе тошнит, — сказал я.

— Может, молока или сока?

— Воды!

— За это тебе не надо платить! — склонившись ко мне, тихо сказал Олег Олегович. Впрочем, все равно, конечно, все слышали.

— Минеральной? — терпеливо спросила тетка.

— Из-под крана, я ее пью.

— И еще принесите ему рогалик! — велела Лизавета Вилевна.

Передник мелькнул, тетка исчезла.

Я не хотел этого мира, я не хотел этой жизни, этих разговоров с актерками, этих бесед о высоком, этих тщеславий. Я не хотел Олега Олеговича, сидящего рядом, я не хотел присутствия тощей, то насмехавшейся надо мной, то будто бы выручавшей. Может, мне встать и уйти? Но я даже не знаю, где я. Я не знаю, куда меня завезли.

Всем принесли кофе, мне принесли воду и рогалик. Рогалик достался мне одному. Стало быть, перепал он мне лично от тощей. Не жду ничего хорошего от этих внезапных рогаликов.

Половину рогалика я съел, остальное засунул в карман.

— Тебе повезло: первая роль — и сразу со словами, — рассуждал Олег Олегович,

громко прихлебывая. — А я вот в двух картинах снялся, прежде чем мне эпизод доверили со словами. Всего с двумя. И слова-то! Тьфу! «С... менты!»

— Олег Олегович — молодец! — вернула Лизавета Вилевна. — В четвертой картине снимается. Скоро пора будет ему заслуженного артиста давать!

— Ух ты — Коза какая проказливая! — мармеладно отвечивал мой товарищ.

И изобразил двумя своими прямыми пальцами некоторую видимость действительной природной козы, как мне почудилось.

Тут все стали подниматься, потянулись к выходу. Я тоже поплелся за всеми. Возле дверей мы сошлись втроем: я, режиссер, тощая. На улице тяжелые тучи елозили по низкому небу, поддувал ветер.

— Не жалеете, что едете с нами? — вдруг весело спросил режиссер.

— Я хочу увидеть Сестру, — сухо сказал я.

— Вашу сестру?

— Там такая река протекает!

— Увидим! — взглянул на часы режиссер. — Отснимемся быстро — можем захватить на полчаса! Устроим небольшой пикник на берегу. Я знаю неплохое местечко. Лизавета Вилевна, запиши, дорогая, желающих и организуй после съемок.

— Запишу, организую!

Мы расселись по автобусам. До съемок мне дела не было. Зато я сегодня увижу Сестру. Правда, пока только реку. Но река приближает меня к моей сестре, думал я. К тому ж и половина рогалика. Она тоже была причиной моей бодрости.

— Вот она, ваша Сестра! — вдруг сказала Лизавета Вилевна.

— Что? — встрепенулся я.

Автобус как раз выехал на мост. Я прильнул к окну, потом подскочил на месте, чтобы лучше видеть, и ударился наростом о перекладину, ойкнул и плюхнулся обратно на сиденье.

Река была неширока, но живописна, с каменистыми берегами и с довольно изрядным течением. Она, конечно, не имела ничего общего с моей сестрой, но все равно хотелось на нее (на реку) смотреть! Будь моя воля, так я бы остался здесь прямо теперь.

Место, где мы высадились, тоже оказалось вполне себе выразительным и гипотетическим, хотя, в общем, ничего особенного. Дома, улица, рядом сквер, скамейки, мохнатые сосны, прочие же деревья голые, и еще — тысячи ворон в небе, носившихся огромным кричащим облаком.

Началась суэта. Выгружали всякое оборудование, подъехала грузовая машина, на которой стоял бак, полный мусора, этот бак сняли с машины и поставили прямо у меня перед носом. Полицай оцепили место съемок. Я сел на скамейке возле мусорного бака.

Вся киношная толпа держалась поодаль. Актеры с актерками ходили из стороны в сторону, потом возвращались и снова начинали так же ходить. Где-то там же был и Олег Олегович. Тощую же я не замечал.

Зажглись прожекторы, актеры с актерками стали ходить собранней, Плачевный что-то покрикивал в мегафон, но слов я не разобрал. Я хотел на берег реки.

Должно быть, меня передумали снимать, решил я. Ну, и правильно! Я бы на их месте *такого* не стал снимать никогда в жизни! Разве мало у них молодых, красивых, ухоженных, обаятельных, артистичных, таких, что если надо заплакать — заплачут, если надо рассмеяться — будут хохотать во все горло, таких, что если надо быть философичным, так ум будет светиться в их глазах, во лбу, в лице, умом будут светиться их длинные пальцы, тонкие запястья, все их чертовы артистические конечности. Разве есть у меня хоть сотая доля их талантов? Нет у меня ни сотой, ни тысячной доли их талантов!

Олег Олегович, конечно, предатель, коллаборационист, киношники загипнотизировали его, они ему нравятся, он получает здесь удовольствие.

Актеры с актерками ходили, потом перестали расхаживать. Я съел половину рогалика. От нечего делать стал рассматривать мусорный бак, даже немного покопался в мусоре. Один из полицаев, стоящих в оцеплении, посмотрел на меня. На всякий случай я перестал копаться в мусоре, уселся снова на скамью.

Река ведь не может перестать течь, пока я здесь сижу?

Ко мне подошел полицаи из оцепления. Молодой.

— Ждешь? — спросил он.

— Нет.

— Ты тоже из этих? Я видел, ты с ними приехал!

— Приехал.

— Тебя будут снимать?

— Мне все равно.

— А я вот хотел бы в кино сняться, я три раза видел, как снимают, в оцеплении стоял, но сам не снимался ни разу. Даже не предлагали.

— А, — сказал я.

— Ты уже в гриме? Выглядишь как настоящий.

— Я такой и есть.

— А, — сказал полицаи.

— Да.

Полицаи ушел к своим выгородкам и разноцветным лентам.

Тут толпа киношников ринулась в мою сторону. Быстрым шагом шли Плачевный, оператор, тощая, еще какие-то люди, впереди всех вприпрыжку бежал Олег Олегович.

— Чувак, — воскликнул он еще издали, — и до тебя дошла очередь!

Меня окружили.

— Поди, заждался уже, дорогой мой? — звучно сказал Плачевный.

— Мне все равно!

— Правильно. Эти самые слова мы и будем сейчас произносить. Запылите ему берет! — бросил он своему окружению.

Мне стали сыпать на берет муку или тальк, потом растерли порошок рукой. Какая-то тетка стала рисовать кисточкой прямо у меня на лице. На скулах и под глазами.

— Все-все, достаточно! — сказал режиссер. — Вот это твоя партнерша, познакомься! — сказал он.

Вдруг подвернулась какая-то женщина, актерка, лет тридцати, наверное. Или двадцати двух. Я мельком взглянул в ее сторону.

— Привет! — сказала она.

— Ага! — понуро сказал я.

Поначалу я назвал ее про себя Селедкой. Но потом, увидев, что она молода и даже миловидна и что вообще не так страшны актерки, как их малюют, я тут же ласкательно (и лилейно) переименовал ее в Селедочку.

— Представь! — стремительно заговорил режиссер. — Эта женщина идет по улице. У нее только что произошло... я не буду тебе рассказывать, что произошло, для этого нужно рассказать весь фильм. Произошло, в общем, ужасное, крушение, и вот она идет и натывается на тебя. Пару слов о тебе! Вот стоит небольшая помойка. А ты джентльмен в нескольких стесненных обстоятельствах. И потому можешь позволить себе чуть-чуть покопаться в помойке, не правда ли? Не бойся, мусор чистый, отходы, конечно, но специально собранные, они не гнили неделю, в них не копались крысы. Копайся спокойно. И тут подходит она. Натывается! И тут самое

интересное! Она смотрит на тебя, ты — на нее: всего мгновение! Она оценивает тебя, ты — ее! У вас разные обстоятельства, разные статусы. Она мешает тебе делать свое дело. Ты, может быть, оскорбляешь ее достоинство, ее веру в человека! Она произносит тираду, три фразы. Что за тирада, неважно, мы ее уже отсняли, не сегодня и в другом месте. В кино так бывает: снимают в разное время, в разных местах, а кажется, что это здесь и в то же самое мгновение. Короче, она говорит, а ты ей отвечаешь: «Мне все равно!», и она уходит. Гневно, стремительно, отчаянно! Уходит так, как должна уйти. Но это не важно, мы это уже тоже отсняли...

— И все? — спросил я.

— Великолепно! — вскричал режиссер. — Вопрос Фомы Неверного! Знаешь, сколько ты будешь на экране? Целых одиннадцать секунд! И все это время ни на мгновение не будет ни малейшего штукачества, тебе не придется ничего делать лицом. Если я увижу штукачество, мы немедленно расстанемся, и сцену нам придется переснимать с другим артистом. Только естественность! И вместе с тем это будет сугубый, загадочный кадр. Я знаю, у зрителя в этот момент будет ком в горле, ощущение тайны. Почему она заговорила с этим оборванцем? Что ей до него? Зритель будет думать, что тот — не случайный человек в ее жизни. Что тот — *кто-то* в ее жизни? Может, друг, с которым она рассталась давным-давно, бывший муж, любовник. Может, родственник! Брат, дядя...

— Брат? — переспросил я.

— Пусть будет брат! — согласился Плачевный. — Мы вместе с тобой можем придумать сейчас любую версию, и она останется между нами. Больше мы никому о ней не расскажем. Это будет одной из тайн фильма.

— Значит, она — сестра? — спросил я.

— Кто?

— Если я — брат, значит, она мне сестра?

— Разумеется! Если ты ей брат, значит, она тебе сестра!

— Нет, она не сестра, сестра не такая, она просто Селедочка, пусть молодая и даже хорошенькая, но все же только Селедочка, сестра... не согласен, не согласен! — забормотал я.

— Хорошо-хорошо! Мы будем думать, что ты просто ее старинный знакомый, бывший преподаватель университета, у вас с ней был скоротечный роман в годы ее студенчества, но потом ты ушел из университета, стал пить, опустился, потерял квартиру, тебя преследовали неудачи, и вот ты вынужден копать в помойке. От сумы и от тюрьмы, как говорится... Тебе нравится такая версия?

— Да! Но только не сестра!

— Не сестра, напрасно я вообще заговорил о ней!

— Да.

— Отлично, мой дорогой! Можем приступать! — сказал Плачевный.

Тут он подвел меня к остальным. Лизавета Вилевна смотрела на меня как-то особенно, как-то по-женски. Как-то *по-тощему*.

— Значит, Селедочка? — с усмешкой шепнул мне Плачевный. — Надо запомнить!

— Главное, не сестра!

— Дивная, чудная помочка! — сказал режиссер. — Сам бы с удовольствием покопался! Открою секрет: в мусоре закопано несколько раритетов. Например, транзисторный приемник советского производства. Чрезвычайно винтажная штучка! Отыщешь — он твой! Толкнуть такой раритет коллекционеру — так можно дня два жить, ни в чем себе не отказывая. Прожить королем среди других джентльменов, находящихся в стесненных обстоятельствах. Ты знаешь это, ты увлекся своей ра-

ботой, а тут эта... женщина. Она заговаривает с тобой, она даже стыдит тебя! И ты говоришь: «Мне все равно!»

— Мне все равно.

— Начали! — сказал режиссер.

— Тишина на площадке! — сказал кто-то в мегафон.

Я сунул руки по локоть в мусорный бак. Поначалу мне попались картофельные очистки в пластиковом пакете. Рядом была стопка журналов, тоже в пакете. Были засохшие кисти, пакет со строительным мусором. Интересно, если я найду что-то ценное, помимо приемника, это тоже отдадут мне? Мне-то ничего не надо. Но я могу подарить это Олегу Олеговичу, он хорошо распорядится находкой. Олег Олегович — практичный человек, мне не чета! Зато у меня есть сестра, у него — нет, хоть какое-то преимущество! Подошла Селедочка, остановилась, взглянула на меня укоризненно. Я смерил ее взглядом и сказал:

— Мне все равно!

Селедочка посмотрела на меня и пошла прочь.

— Еще! — скомандовал Плачевный.

Я снова вернулся к картофельным очисткам. Теперь мне попало еще колесо от детского велосипеда. Но это же не может быть раритетом? Селедочку я отшил злее прежнего:

— Мне все равно!

Как Селедочка вернулась на исходную позицию, я не видел. Я занимался мусором. Мне попало полпачки ячневой крупы, вероятно, просроченной.

— Мне все равно! — сказал я прицепившейся ко мне Селедочке.

Она, кажется, чуть не расплакалась. Так ей были обидны мои слова.

Потом мне стало жаль Селедочку. Она ведь не виновата в том, что она Селедочка. И я сказал «Мне все равно!» мягче прежнего. Будто извиняясь. Я больше никого не замечал, ни Плачевного, ни тошюю, ни Олега Олеговича, ни прочих киношников, не замечал и камеры. Помойка? А что — помойка! Помойку я уже почти любил. Но транзисторный приемник так и не находился.

— Мне все равно!

Я произносил эту фразу и сверкая глазами, и устало, и равнодушно, и дерзко, и беззастенчиво. Произносил и вовсе без выражения. Слова эти сделались будто деревянными, они почти выламывались из меня. Я думал швырнуть чем-нибудь в Селедочку, когда она снова подойдет ко мне. Лучше всего подходило колесо от велосипеда. Но можно, конечно, и картофельными очистками.

— Мне все равно! — сказал я, обдумывая свой план.

На всякий случай я положил колесо поверх очистков. Селедочка, ничего не подозревая, снова подошла ко мне. Тут я распрямылся, и в руках моих было колесо. Я перехватил его поудобнее и сказал:

— Мне все равно!

В следующий раз непременно запущу в нее колесом, сказал себе я.

То-то они удивятся! Особенно, конечно, Селедочка удивится! Удивится и обидится. Может, даже заплачет. Особенно если я попаду ей в голову. Мне, конечно, не велели кидаться колесом, но могу ведь я что-то сделать самостоятельно, не правда ли?

Если я попаду в Селедочку колесом, меня, разумеется, прогонят, может, даже накостыляют, это я понимал, но мне было все равно. Всякому человеку время от времени должны костылять, его иногда должны прогонять, даже из самого мира и из самой жизни, это ему полезно. Так он острее будет чувствовать в себе свое человеческое.

Итак, я теперь держал колесо наготове...

— Снято! — сказал Плачевный.

Я почувствовал себя разбитым и усталым. Наверное, им придется переснимать все это. Завтра или еще в другой день. Мне, конечно, не скажут, что все это никуда не годится. Но мне это все равно!

— Молодец! — бросил режиссер и коротко потрепал меня по холке.

Все стали собираться.

— Эх, мне бы покопаться в этой помоечке! — вождельно сказал Олег Олегович.

Тошя услышала и лишь усмехнулась.

— Сейчас едем на берег Сестры! — сказала она.

— Правда? — глухо спросил я.

— Правда.

Легко ли быть сумасшедшим

Ехать на пикник пожелали не все. Два микроавтобуса увезли людей в город. Один доставил нас на берег реки. Та шумно бежала у меня перед ногами. Повсюду были камни, берег был каменистым, и дно тоже.

Всем раздали пледы, и я ходил, завернувшись в плед.

Женщины (и тошя в их числе) застелили несколько больших плоских камней клеенками и разложили на них еду и напитки.

Пока накрывали, я похаживал поодаль. Олег Олегович же напротив: путался под ногами у женщин и таскал куски со «столов». Женщины покрикивали на Олега Олеговича, тот отшучивался — с него все было как с гуся вода.

Я разулся. Снял и носки. Носки были в дырах. Зашел в воду по щиколотку. Вода была холодна. Я походил по воде. Поскользнулся на одном камне, но не упал. Я любил эту реку. Река, конечно, не была сестрой, она только так называлась.

Я отошел еще дальше от всех и снял берет. Впервые за много дней. Или даже впервые в жизни — я не знаю. Я смочил водой свой нарост. Вода потекла по лицу, затекла мне за шиворот, я отчего-то заплакал. И даже сам испугался своих слез. Тут же натянул берет обратно на голову. Мог кто-нибудь увидеть, что я снял берет, подумал я.

Тут мне замахали руками, все было готово, и я, взяв в руки ботинки с засунутыми в них носками, поплелся к месту пикника.

— Нравится здесь? — спросила Лизавета Вилевна.

— Нравится, — несмело отвечал я.

Женщина взглянула на мои босые ноги. И вдруг мигом сбросила свои сапожки.

— Так? — спросила она.

— Так.

Тошя шагнула в воду. Все собравшиеся смотрели на нее удивленно.

Река здесь не глубока, женщина будто вознамерилась перейти ее вброд. Она шла и шла. Она зашла по щиколотку, и вот уж — по колению, замочив джинсы.

— Лиза! — крикнула Селедочка.

— Вы с ума сошли! — крикнул еще кто-то.

Режиссер кривил губы в усмешке. Олег Олегович крякнул от удовольствия. Тошя же явно пыталась изображать русалку. Она брызгалась, полуприсев и бия ладонью по воде. Она, кажется, хотела затащить в воду еще кого-нибудь. Но смельчаков больше не находилось.

Плачевный поднял стаканчик с вином. Лизавета Вилевна наконец ступила на берег. Ей подали плед. Как Венере с какой-то там картины.

— Ну, Коза! — восторженно сказал Олег Олегович. — Прямо так сказать, удивила!

— Дайте мне вина! — воскликнула тошя.

Стаканчик ей поднес Олег Олегович.

— Друзья мои! — сказал Плачевный. — Давайте выпьем за еще один прошедший съемочный день, за день, который приближает нас к моменту окончания фильма. Давайте выпьем за это место на берегу реки Сестры, за место, которое собрало нас всех. И давайте выпьем за нас всех, таких непохожих, но которые объединились для того, чтобы сделать общее дело!

— Это три разных тоста! — вставил какой-то актеришка, похожий на мешотчатого прыгуна.

Как будто мне приходилось видеть мешотчатых прыгунов!

— Я не закончил, — бросил Плачевный. — Я хочу выпить за тех, кто зачастую помогают мне понять смутно копошащееся во мне, помогают мне отчетливей понять мои собственные замыслы! За вас!

— Ура! — крикнул кто-то, и мы выпили.

С минуту мы молча работали жвалами. Клеенки были полны всяческой снеди, хотелось попробовать все сразу. Я вообще покушать люблю.

— Лукич! — с набитым ртом непринужденно обратился Олег Олегович к режиссеру.

— Да-а, — отозвался тот.

— Я насчет транзисторного приемника. Я там все три раза проверил и не нашел.

— Я пошутил, — ответил Плачевный.

— Ох вы — киношники этакие! — погрозил своим кривым пальцем Олег Олегович.

Вокруг все захохотали. И Олег Олегович тоже захохотал. Я же только растянул рот в улыбку, я весь разулыбался, но постарался поскорее согнать с лица это тщетное украшение.

Я хотел бы теперь обнять коня или памятник, но ни того, ни другого мне не подалось.

Вино разливал мешотчатый прыгун, он был молод, он наполнял стаканчики ловко.

— Евгений Лукич, дорогой! — взяла слово тощая. — Возможно, не все здесь знают: ты — невероятный талантище! Мало сказать про тебя, что у тебя своя эстетика! У всех, в конце концов, своя эстетика. Но ты соединяешь в себе множество разных эстетик! По мере необходимости ты черпаешь из них из всех. Это как если бы здесь текла не одна река, но сразу десяток, и брать воду из них из всех разом! Удивительно, как ты работаешь с артистами! Независимо от того, профессионалы они или нет. В твоих руках профессионалом делается каждый! За твой талант! И за то счастье общения, которое ты регулярно даришь нам!

— Счастье общения мне дарите вы, — отвечивал Плачевный, едва только все выпили. — И совершенно неважно, есть у кого-то диплом артиста или нет. Все вы знаете, какой артист Олег Олегович, насколько он органичен, правдив на площадке! — тут Олег Олегович прижал руки к груди и раскланялся. Раздались жидкие аплодисменты. — Ну, а наш новый друг, — молвил Плачевный, указав на меня, — он стоял сегодня перед камерой в первый раз в жизни, и вы сами видели, как у него все получалось...

Тут все уставились на меня. Не люблю, когда на меня все уставляются. Тощая дернула меня за рукав, похоже, чтобы я сказал какое-то ответное слово.

Я отвел глаза от всех и, держа полный стаканчик, сбивчиво стал говорить:

— Я не для того приехал, чтоб сниматься, я сестру ищу, я приехал, чтоб ее здесь искать, ее можно везде искать, а тут еще река с этим названием, и я не мог удержаться! Я, конечно, ужасно все делал там, возле бака, поэтому вы снимите завтра все заново, а я уйду, и это ничего, что меня не будет в кино, мне это и не надо, мне бы только сестру найти, но не реку! Река же — вот она здесь протекает...

— Из таких, как вы, — сказал режиссер, — выходят юродивые, блаженные, одержимые, религиозные фанатики! Такие люди редкость. Такое самозабвение — редкость! Вряд ли вы способны быть основателем новой веры, но уж проводником ее — несомненно!

— Да, — сказал я. — Ее действительно так зовут.

— Кого?

— Сестру.

— Как зовут?

— Вера.

— А вы правда такой? — спросила вдруг Селедочка. — Когда мы еще снимались, я все хотела спросить вас об этом.

— Правда, — важно ответил за меня Олег Олегович.

— Я хочу с вами сфотографироваться! Можно? — застенчиво попросила та.

— И я хочу! И я! — загалдели вдруг со всех сторон.

Тут все наперебой стали обнимать меня, прижиматься, щелкал фотоаппарат, вспышка поначалу ослепляла меня, но потом я привык. И тощая снялась со мной на пару, и мешотчатый прыгун, и даже Плачевный.

— Красавцем вас, конечно, не назовешь! — сказала мне Лизавета Вилевна посреди всего гвалта. — Скорее даже — напротив! Но у вас в лице всегда... такая тоска! Запредельная, космическая, холодная, экзистенциальная, что, честное слово, хочется плакать!

На мгновение все затихло, только лишь на мгновение.

— Б...! — ортодоксально сказал я, глядя в прибрежный аллювий.

Тут что-то забулькало. Будто кто-то хотел засмеяться, но усилием воли сдержался. Так оно, наверное, и было. Хотя чего, спрашивается, было сдерживаться! Надо мной и надо смеяться, надо мной нужно хохотать, я бы и сам стал над собой хохотать, если б умел это делать, но хохотать я не умею, я и смеюсь-то с трудом.

Потом собравшиеся загудели, кто-то даже зааплодировал.

— Вы, дорогой мой, правда думаете, что снимались ужасно? — сказал вдруг Плачевный.

— Думаю.

— Вы снимались так... В общем, это даже больше, чем я ожидал. У меня будет к вам одно предложение, Лизавета Вилевна потом расскажет подробнее.

— А сестра?

— Что — сестра?

— Мне не надо предложений, мне сестру найти надо!

— Одно другому не мешает, — сказал Евгений Лукич.

— Помешает, — непреклонно сказал я.

— Будем стараться, чтоб не мешало, — сказал тот.

— Я уже старался. Но все равно мешает.

В микроавтобусе нам с Олегом Олеговичем дали денег. За съемки. Я не верил, что деньги теперь мои, и долго держал их в руках, не зная, что с ними делать.

Лизавета Вилевна сидела рядом со мной. Бедро ее прижималось к моему бедру. Я хотел убрать ногу, но убирать ее было уже некуда — я и так сжался до предела. Женщину же, кажется, наши соприкасающиеся ноги не смущали.

Что ж, если ее мои ноги не смущают, тогда и я как-нибудь потерплю.

— Пора уже мне как будущему заслуженному артисту прибавку к жалованью определить! — сказал Олег Олегович.

— А вы собирались ехать за город — художника разыскивать... как его? — припомнила тощая.

— Жмакин, — коротко вставил я.

— Ездили к нему?

— Ездили, — хмуро отвечал Олег Олегович. — Нет Жмакина! Повесился Жмакин!

— Как повесился? — ахнула Лизавета Вилевна. — Отчего?

— Кто ж его знает — отчего? Записку оставил глумливую: «Твое, мол, счастье Додька Мохнаткин, а меня не поминайте лихом!»

— Макухин! — поправил его я.

Оно, конечно, Макухин ничуть не лучше Мохнаткина, но все равно я сторонник точности. Олегу Олеговичу же на точность плевать!

— Макухин, — согласился все-таки он.

— А может, Макухин что-нибудь знает? — спросила тощая.

Такое предположение мне сразу не понравилось. Еще не хватало, чтобы какой-то дурацкий Макухин знал что-то о моей сестре. С меня и одного Жмакина вполне хватило! Подлый же Олег Олегович рассуждал как ни в чем не бывало.

— Макухин-то, может, и знает, — сказал он. — Да кто ж знает самого Макухина? Жмакин хоть художником был, Макухин вообще никто!

— Макухин, Макухин... — повторяли прочие пассажиры.

Черт! С одной стороны, хорошо, что они проявляют такое участие к моим поискам, с другой же — я теперь будто жарился на сковороде чужого внимания. А я не люблю жариться на сковороде. Я не бифштекс. Это бифштексы жариться любят.

— Ансамбль такой есть, — сказал мешотчатый прыгун. — Только как он называется?

— Я тоже слышала, — согласилась Селедочка.

— «Братья Макухины», — вспомнила тощая.

— Оскар, Илья и Давид, — добавил кто-то.

— Вот и Додька! — сказал Лизавета Вилевна.

— Додька! — жарко встрял Олег Олегович. — Представляешь? Додька!

— Додька! — сказал я. — И что?

— Как это что? Додька Макухин!

— Нет, надо обязательно сходить на их концерт и поговорить с Додькой! — сказала тощая. И пихнула меня бедром.

— Эх, если бы знать, где их ближайший концерт! — вздохнул Олег Олегович.

— Нет ничего проще, — возразила моя соседка. — Надо посмотреть в Интернете. Сегодня же дома обязательно посмотрю.

— Дома? — тихо сказал я.

Все было где-то далеко, все было несбыточно, нереально — какой-то Додька, какой-то дом, какой-то Интернет, какая-то тощая и какой-то, разумеется, я! Все теперь рассуждали про свои дома! Вероятно, устали и хотят по домам, а ехать еще долго. А у меня и вовсе нет дома, есть отчасти подвал Олега Олеговича, но это не дом. К тому же скоро я лишусь и этого пристанища, и самого Олега Олеговича, такое пристанище мне предоставляющего. Он — сволочь, самая натуральная сволочь! Да я и сам-то не лучше. Рядом с Олегом Олеговичем я становлюсь сволочью. Становлюсь сходно, синхронно. Есть такие сволочи, с которыми рядом и сам становишься синхронно сволочью. Не знаю, все ли рядом с Олегом Олеговичем становятся синхронными сволочами, но я-то уж становлюсь точно.

Меж тем вокруг сверкали огни большого города, много огней.

Плачевного высадили первым. Он жил неподалеку от въезда в город.

Олег Олегович задремал, мы кружили по вечерним проспектам.

Потом остановились. Тут стала выходить тощая.

Поднявшись, она пошатнулась и, чтоб не упасть, ухватилась за мое плечо.

— Проводи меня! — шепнула она. — Я так боюсь здесь ходить!

Я огляделся по сторонам с растерянностью.

— Проводи-проводи! — ободряюще усмехнулся мешотчатый прыгун.

Я встал и, ничего не поделаешь, поплелся вслед за тощей.

— Подождать, Лизавета Вилевна? — спросил водитель микроавтобуса.

— Поезжайте! — махнула она рукой.

То есть как это так — поезжайте? Этого района я не знал вовсе. Не знал даже его названия. Хотя — ладно: провожу тощую, раз она хочет, а потом пойду себе — заночую где-нибудь в парадном или возле помойки. Возле помоек теплее, чем просто на улице.

Мне было не по себе. Тощая взяла меня под руку. Мы с ней шагали на пару по бетонным плиткам. Плитками теми была дорога наша вымощена. Дорога к дому тощей.

Долго, долго мне еще таскаться по улицам града сего, по мостовым его и по почвам, по брусчаткам, по поребрикам, по колдобинам да гумусам, одинокому, как яйцеклетка, неприкаянному, как ветер, холодному, как ионосфера? Может, лучше разбить голову свою (с несчастным ее наростом) и позвоночник об асфальт, выбросившись с какой-нибудь верхотуры? Верхотур я, конечно, боюсь, но ведь и жизни своей, проклятого существования своего я боюсь еще больше, и когда-нибудь сей последний страх преодолеет мой страх пред всеми на свете подлыми верхотурами! И уж тогда я не пожалею себя! Человеку не следует жалеть себя, не следует себя холить, не следует с самим собой благоденствовать, не следует над собою благоговеть! Есть ли что тошнотворнее человека? Есть ли что безобразнее, есть ли что катастрофичнее?! Есть ли что гаже и неописуемей оного?

Я окончательно запутался. Когда тощая отпустит меня, я отсюда не выберусь.

Что ж, придется искать сестру здесь!

Хотя я и не верил, что сестра могла здесь бывать. Слишком уж это место близко, оно не достойно сестры. Есть места, недостойные сестер.

С другой стороны, если я стану искать ее здесь, ведь она же может почувствовать сам дух моих поисков, и, как знать, возможно, она появится здесь. Из-за меня. Из-за моего трепета. Из-за моих безмолвия и упования. Сестра невероятно пронизательна, чувствительность ее, ее интуиция и всеведение не знают границ.

Тощая подвела меня к парадному одного высотного дома.

— Пошли-пошли! — подтолкнула она меня. — Чего ты стал столбом!

— Здесь вы тоже боитесь? — тихо спросил я.

Она усмехнулась.

— Это самое опасное место!

Быть может, она морочила меня. Меня легко заморочить.

Мы поднялись на лифте.

— Я теперь пойду? — еще тише сказал я.

— Раз ты не пьешь кофе, я налью тебе чинзано. Хочешь?

Чинзано я хотел. Впрочем, я не знаю, что такое чинзано. Но раз тощая спрашивает, так, значит, я должен хотеть чинзано.

Тощая отворила железную дверь и впустила меня в квартиру.

Потом проскользнула сама и стала стягивать сапожки. Я смотрел в стену.

— Пальто снимешь? — поинтересовалась женщина.

— После.

Разве нельзя пить чинзано в пальто?

Но у нее, кажется, было другое мнение. У людей — разные мнения.

Она склонилась ниже и стала расшнуровывать мои ботинки. Дальше были носки в дырах. Потому я отстранился:

— Я сам.

— Сам-сам, — сказала Лизавета Вилевна и пошла в комнату.

В прихожей стояла миска на маленькой табуреточке. Я стал рассматривать миску.

— У меня была собака, мой единственный друг, недавно подохла, — не оборачиваясь, бросила женщина. — Я так грустила, когда она окочурилась. У тебя не было собаки?

— Не знаю.

— Значит, не было.

«Разве собака стала бы меня терпеть, такого?» — подумал я.

— Ты долго будешь там топтаться, в прихожей? — крикнула женщина.

Я стянул носки и спрятал в карман. Пальто положил на пол возле табуреточки. Пошел в комнату. Если бы собака была жива, она могла устроиться на моем пальто. Или если дух ее бродит где-то рядом, то вполне может устроиться на этом ложе. Собаки любят лежать на мягком.

Я подумал про Олега Олеговича. Тот, должно быть, удивится, когда проснется и увидит, что меня нет. Ну и хорошо! Олег Олегович совсем распоясался, вот теперь пусть помучается и подумает над своим поведением.

Тошя сидела на диване с закрытыми глазами.

— Одну минуту, — попросила она. — Я так сегодня устала!

— Ничего. Вы сидите, пожалуйста.

Она открыла глаза и взглянула на меня с удивлением. Посмотрела на мои босые ступни, на мой свитер.

— Я бы хотела, чтобы ты принял ванну. Ты ведь тоже этого хочешь? — сказала она. И стремительно встала с дивана.

— Надо раздеваться?

— Можешь и в одежде. Только на ковер натечет много.

— Я не стану снимать берет.

— Хорошо-хорошо! — сказала она и потянула меня в ванную.

Тошя крутанула два крана. С шумом побежала вода.

— Одежду повесишь здесь! — велела женщина. И тут словно спохватилась: — Ну-ка погоди! — бросила еще и выскользнула из ванной.

Я смотрел на воду. Струя была толстой, стремительной и будто бы недовольной. Вода бурлила и пузырилась. Когда ванна наполнится водой, надо будет раздеться и залезть, сообразил я. Так вот принимают ванну.

Тошя велела мне чего-то подождать, поэтому я ждал. На двери не было ни крючка, ни щеколды.

Тут вернулась Лизавета Вилевна. Она держала в руках два бокала.

— Давай, — сказала она, протягивая мне один. — За знакомство! Ты ведь рад нашему знакомству?

— Рад, — смущенно соврал я.

Тошя чокнулась со мной, и мы выпили. Чинзано, оказывается, — вино такое.

— Все-все, ухожу! — бросила женщина. — Проверь: не холодная?

Воду я проверил, едва тошя удалилась. Вода и вправду была холодной. Но, может, так и надо, почем мне знать! Я разделся и забрался в ванну. Разделся догола, остался в одном берете. Ложиться в воду я не мог и лишь полуприсел — так было холодно только ногам и заду. Вода продолжала бежать, потом стала утекать через дырку. Наверху была дырка для воды.

Стоять вполуприсядку было тяжело, неудобно, и я стал подумывать о том, чтобы вылезти, постоять так, а тощей потом сказать, что уже принял ванну.

А Олег Олегович сейчас не принимает ванну, ему ванну принимать негде. Хотя,

говоря откровенно, в этом нет ничего хорошего: холодно, да и ноги болят! Кто вообще придумал принимать ванны?

И тут она вошла. Тошя, в смысле.

Я увидел ее в зеркале. На ней была полупрозрачная комбинация. И такие же трусики. Наверное, ей было жарко, оттого и разделась. Мне-то вот совершенно не жарко.

Первой заговорила тошя:

— Полотенце свисло, — хрипло сказала она.

Какое еще полотенце? Я не сразу сообразил. Потом взглянул над собой. Сверху были натянуты лески, на них висели полотенца, и у одного из них один край был ниже другого так, что полотенце могло шлепнуться в воду — вот, значит, и есть: «свисло».

Лизавета Вилевна шагнула вперед и поправила полотенце.

— Что не ложишься? — шепнула она. И потрогала воду. — Мама дорогая! — тут же вскричала тошя. — Да у тебя сейчас ледышки будут плавать, и белые медведи прибегут!

Белых медведей мне здесь не надо, подумал я.

Женщина бросилась крутить кран с красным колпачком. Горячие брызги стали обжигать меня, и ногам стало горячо. Задю же по-прежнему оставалось холодно. Но вскоре вода согрелась и там, и я стал сползать вниз, лег наконец в ванну так, что вода стала закрывать меня по горло. Тошя видела меня всего, я же не смотрел в ее сторону.

Вообще-то она могла бы и уйти. После того, как настроила воду. Теперь было совсем другое дело, теперь в ванне было хорошо. Я даже на минуту прикрыл глаза. Тошя не уходила. Поэтому пришлось открыть глаза.

Ноги под водой полностью не умещались, и потому ступни (с ногтями кривыми и не совсем чистыми) я высунул из воды с противоположного конца ванны.

Женщина что-то переключила, и вода побежала из душа. Воду она направила прямо мне на голову. Я испугался за берет и схватился за него двумя руками. Тошя поливала мой головной убор. Потом взяла кусок мыла и стала мылить его сверху. Я не сопротивлялся: берет она с меня не стягивала — пусть себе мылит, если это ей нравится!

Тошя стала смывать мыло. Вода стекала грязноватая.

— Привстань-ка! — скомандовала тошя.

Привставать не хотелось, я только успел разомлеть. Но и послушаться я не посмел.

Женщина нацепила колючую рукавицу, одной рукой мылила меня, другой же драла мою кожу. Она водила повсюду: по шее, по плечам, по спине, по груди, по животу, между ягодиц, по ногам. И еще между ног. Но это уже другой рукой — той, что без рукавицы.

Я стоял на корточках, не шевелясь. Тошя все водила у меня между ног. Там были странные ощущения. И отросток мой между ног, прежде свислый (вроде полотенца), вдруг стал разрастаться. Я туда не смотрел, я никуда не смотрел. Но все равно видел, что с отростком. Тот теперь был будто сам по себе.

Женщина обмыла меня всего из душа, велела выйти из ванны.

Куда мне было деваться — я вышел.

Тошя осторожно промокнула берет полотенцем, почти не касаясь нароста. В других же местах растирала меня довольно энергично.

Я стоял перед нею, глядя мимо нее, хотя груди ее с темными сосками все равно не мог не разглядеть. Груды были вроде воланов для бадминтона, упругие и небольшие. И еще то, что у нее между ног, я тоже успел разглядеть через трусики. Везде кожа белая, а там — гораздо темнее. И еще — выпуклость.

— Ну, вот теперь другое дело! — сказала Лизавета Вилевна, любуясь делом рук своих.

— Да.

Она подобрала всю мою одежду и бросила в воду, в которой я только что мылся. Черт, как же я пойду в мокрой? Впрочем, что ж такого? Надо — так и пойду! Лишь бы тощя меня отпустила. Еще женщина ухнула в воду несколько горстей белого порошка.

— Пошли-пошли, — шепнула она.

И повела меня за собой. Она тянула меня за отросток. Должно быть, это с ее стороны была шутка. Видно, она полагает, что это смешно. Я не упирался, шел, будто бычок на привязи.

На кухне стояли бокалы. Опять полные. Мы выпили, и тощя поцеловала меня. Губы ее были в чинзано.

— Ведь ты хочешь? — еще шепнула она.

Я не знал, что я должен хотеть, поэтому на всякий случай сказал: да.

Тогда она снова потащила меня за собой. Вместо дивана вдруг оказалась постель на полкомнаты. На мгновение я залюбовался этой постелью. Она была из какого-то другого существования, из того, где люди любят себя, свои ощущения, свои восторги, свои разговоры, свои родственные связи, свои метаболизмы, свои коллоквиумы, свои параллелепипеды, свои культурные беседы и дни ангела, свои завороты кишок и помутнения роговиц. Человеку нужен сверхъестественный дух, а у человека такого духа нет, и у меня такого духа нет тоже. Сверхъестественный дух к человеку не прирастает. Человек не стоит, человек ниже сверхъестественного. Да.

Мне, конечно, не следовало стоять и пялиться на постель. Почему? Очень просто: я утратил бдительность. Тощя толкнула меня, и я плюхнулся на живот. Пока я переворачивался, тощя стащила с себя все: комбинацию и трусики.

Не глядя на нее, я начал привставать.

— Куда-куда? — шепнула она и снова толкнула меня на постель.

Потом подошла близко-близко, обхватила меня за голову и притянула к себе. Лицом я уткнулся чуть ниже ее сисек. Дышать было неудобно. Я не знал, куда девать руки. Куда девают руки в таких случаях?

Тут тощя стала меня укладывать и сама распласталась надо мной. Поцеловала меня в ключицу, потом в грудь, потом еще ниже. Дышать снова было неудобно, но я терпел, ничего не говорил тощей. Возможно, она обидится, если узнает, что мне из-за нее дышать тяжело.

Черт, я теперь понял! Ей нужен мой отросток! Она сначала касалась его пальцами, а потом даже губами. Я весь сжался и застыл. Тут тощя напозла на меня совсем и засунула мой отросток куда-то в себя. Прямо-таки — затолкала!

В это мгновение я громко охнул, и она тоже охнула, стало быть, мы охнули одновременно. И еще она вскрикнула. Я испугался, что сделал ей больно. Хотя при чем здесь я? Больно она сделала себе сама. Но поди потом докажи, что я тут ни при чем! Я лично не знаю, какие здесь можно привести доводы! Маленькие ее сиськи болтались у меня перед лицом, иногда шлепая меня по носу. Тощя задышала, застонала и быстро-быстро задвигалась надо мной. Я лишь придерживал ее за талию, но она сама спустила мои руки пониже. И тут задвигалась с такой скоростью, что я, весь напрягшийся, весь покрытый испариной, вдруг содрогнулся, вздохнул глубоко и закричал то ли от боли, то ли от счастья. И тощя закричала тоже. Черт ее знает, отчего она закричала.

Вот только можно ли здесь кричать? Если соседи услышат, они могут вызвать полицаев. Как мне тогда объяснить, почему я здесь, почему я голый (то есть в одном берете) в постели у тощей? К тому же и сам кричу, и заставляю кричать тощю!

Хотя разве это я ее заставляю? Это она сама кричит! Ну и я тоже кричу. Но я просто немного не сдержался, я больше никогда не стану кричать!

Тощая лежала, уткнувшись мне в плечо. Она больше не кричала, и я несколько успокоился. Я лежал тихо-тихо. Если лежать тихо, так полицаев, может быть, и не вызовут.

Я теперь понял. Лизавета Вилевна — шлюха. Я лежу в постели со шлюхой. Никогда прежде не лежал в постели со шлюхами. Впрочем, я не помню. Может, я и в постели никогда не лежал.

Вопрос только в том, что мне теперь делать? Может, сказать ей, что она — шлюха. Она, конечно, обидится, но зато я скажу, что думаю. Врать нельзя, и если что-то думаешь, так надо это и говорить. Мысль всегда следует высказывать. Иначе она будет тосковать в голове. Она пропадет, будет гнить, разлагаться, как это бывает с помоями. Или с отходами. Мысль — те же отходы. У человека много отходов. У всех много отходов. Но у человека больше, чем у остальных. Потому-то он и человек, что у него отходов много.

— Есть хочю, — сказала вдруг тощая. — Ты тоже хочешь?

— Немножко, — несмело сказал я.

— У меня осталась шарлотка. Неделю назад испекла, все некогда доесть. Я ее в холодильнике держу — что ей будет в холодильнике за неделю, верно? Разве что подсохнет чуть-чуть!

Тощая вскочила с постели. Мгновение стояла босая, нагая, со спины она мне показалась даже красивой. Я не знал, что мне следует делать, и потому тоже поплелся вслед за ней на кухню.

Лизавета Вилевна порезала шарлотку ломтиками, налила себе и мне еще чинзано и сока. Вишневого. А сама с куском шарлотки в руке направилась в ванную. Я слышал, там громко плескалась вода. Должно быть, тощая стирала мою одежду. Тощая появилась минут через пять. Я съел один ломтик и хотел еще. Но взять не решался.

— Похоже, тебя придется кормить с ложки, — сказала женщина, заметив мой взгляд.

Зачем кормить меня с ложки? Шарлотку удобней есть руками.

— Ты считаешь, я развратная? — спросила женщина. — Только сегодня познакомились — и вот уж в одной постели.

— Не считаю, — тихо сказал я.

— Ну, и на том спасибо, — усмехнулась она.

Потупившись, я стал есть шарлотку.

— А какая я?

— Не знаю.

— Как это не знаешь? Ты меня видел, ты меня ощущал — и что же, не можешь сказать, как это было и что ты чувствовал?

Наверное, лучше ответить ей что-нибудь, иначе она не отвяжется, подумал я.

— Вы хорошая.

Лизавета Вилевна рассыпчато засмеялась.

— Во как: я хорошая!

— Я, наверное, что-то не то сказал, — сказал я.

— То, то!

— Извините.

— Помимо картины, в которой ты сегодня участвовал, Евгений Лукич снимает еще один фильм. Снимает с прицелом на один андеграундный фестиваль, который состоится через полгода. Порнофильм! — твердо проговорила тощая. — Ты знаешь, что такое порнокино?

- Может быть, — промямлил я.
 - Евгений Лукич хочет взять в этот фильм Олега Олеговича и тебя.
 - Зачем?
 - Что зачем?
 - Зачем брать меня? И Олега Олеговича? Ведь есть же Селедочка...
 - Селедочка? — переспросила тощая.
 - И еще этот... Прыгун!
 - Что за прыгун?
 - Мешотчатый! Они оба молодые, красивые, а в таком кино надо снимать красивых, тогда будет смотреть приятно!
 - Я, кстати, тоже там снимаюсь, — вернула тощая.
 - Ну, вы ладно, вы ничего... вы вся такая... а нас-то?
 - Молодые и красивые там тоже снимаются, вы же привнесете новые краски: юмор, трагизм, отчужденность, эстетику безобразного и еще — уж не знаю что! Евгений Лукич не раскрывает всех карт. В любом случае он — художник, и, даже снимая порнофильм, он создает произведение высокого искусства. Евгений Лукич попросил меня поговорить с тобой, подготовить тебя, испытать тебя... вот я и испытала! — рассмеялась женщина. — Надеюсь, тебе это не было слишком противно.
 - Все равно. Зачем это?
 - Что?
 - Кино.
 - А почему бы и нет? Или ты так сильно занят?
 - Занят.
 - И чем же?
 - Ищу сестру.
 - Ах да, — вздохнула женщина. — Я и забыла.
- Мы помолчали. Я доел кусок шарлотки, запил соком.
- А если делать небольшие перерывы в поисках и во время этих перерывов жить другой жизнью — например, сниматься в кино? — осторожно спросила женщина.
 - Не получится, — подумав, ответил я.
 - И почему же?
 - Потому что я буду думать, что упускаю что-то и не ищущу. Сестру.
 - Но возможен и другой вариант, мы его уже обсуждали, — парировала тощая. — Ты снимешься в двух фильмах, станешь звездой экрана, твоя сестра увидит тебя и сама захочет отыскать. Женщины любят знаменитостей. Сестры тоже.
 - Нет, сестра моя не такая!
 - Не какая?
 - Ну, в смысле, она не любит знаменитостей, все женщины любят, а она, возможно, нет, потому что нет такой знаменитости, которая была бы ее достойна, хотя сестра моя совершенно не заносчива, она просто знает, что знаменитости ее не достойны, и знает это совершенно спокойно, как, например, человек знает, что за окном идет дождь, когда он действительно идет, но дождь и знаменитости — это не одно и то же, — сказал я.
 - Знаменитости разные бывают, — молвила тощая, терпеливо выслушав мой монолог. — А кстати... Жмакин — художник. Макухин — хоть, говорят, и придурок, но все же артист. Так что... Макухин! — вдруг хлопнула себя по лбу женщина. — Ну-ка пошли!
- Она потащила меня в комнату. Сама села за стол. Там стоял такой железный ящик, тощая нажала что-то — ящик ожил: зашумел, замигал огоньками, даже будто рассердился. Вспыхнул экран на столе, на экране тоже что-то замигало, появлялись

какие-то надписи, картинки. Пока все мигало и вспыхивало, тощая сидела и ничего больше не трогала. Я сидел на постели и смотрел сбоку на ее сиськи. Сиськи рассматривать хорошо. Их еще и потрогать хочется.

— Братья Макухины... — пробормотала тощая, нажимая на клавиши.

На экране снова замигало. И снова были картинки.

— Есть твои Макухины, — сказала тощая. — Через два дня выступают.

— Где?

— На Лиговском.

Могла бы и не отвечать. Лиговского я все равно не знал.

— Могу сводить тебя туда. Только что мне за это будет?

— Не знаю. А можно Олега Олеговича взять с собой?

— Это будет стоить в два раза дороже, — усмехнулась та.

Она, конечно, шутила. Тощая любит шутить.

Зачем мне нужен был Олег Олегович, интересно? Нужен зачем-то. Он, конечно, подлец, но он сестру мою любит и, если что, может говорить вместо меня. Я могу и не найти что сказать, а он непременно найдет. И тощая тоже найдет, но она сестру мою еще не любит, поэтому тощая — другое дело. Ее нельзя с Олегом Олеговичем сравнивать.

— Ну так что, мы с тобой договорились насчет съемок? Блин, и его еще придется уговаривать! — шлепнула она меня по берету. — Давай спать!

На улице дождик

Тощая разбудила меня. За окном был дождь.

— Мне нужно на студию, — сказала она. — Я отвезу тебя.

Лизавета Вилевна с утра была какой-то стремительной. Она приготовила омлет.

Еще принесла мне одежду: подлые штаны — джинсы, рубашку, свитер, куртку.

— Твое все еще мокрое, — сказала она.

Я оделся в то, что она принесла.

Дождь не прекращался. Тощая дала мне зонтик, и, пока мы шли, я держал его над нею раскрытым.

Оказывается, у нее есть машина, мы шли к ее гаражу. Не слишком шикарная. Зато иностранная.

Ехали мы, наверное, час, мелькали дома, столбы, автомобили, голуби, глупые пешеходы. Тощая водит хорошо — я не боялся с ней ехать.

Возле дома Олега Олеговича стояла толпа, человек пятнадцать. А может, сорок пять, я не знаю. Все были вида простого, ободранного, потасканного — дядьки, тетки, старики, старухи, здесь виднелась и шваль помоложе, но не много. Тут-то тощая меня и высадила.

— Увидимся, — усмехнулась она.

Я вышел под жалкий уличный дождь, машина тощей покатила дальше.

Немного поодаль я увидел Олега Олеговича. Он будто надзирал за толпой.

Все эти людишки были поначалу повернуты в сторону входа в дом. Во главе всех была парочка: старая певичка в драной пунцовой разлетайке и потасканный старикашка с аккордеоном, подыгрывавший певичке. Старуха же пела какую-то арию, то ли на армянском языке, то ли на японском — в языках я не смыслю. Голос ее оказался надтреснутым, но нежным, голос был моложав. Толпа внимала пению старухи, кто-то держал над головой или возле лица картонки, несколько подмокшие, на коих было нечто начертано.

Певичка была Нина Евтихиевна, дядька с аккордеоном — Павел Фролович. И еще я рядом с теми обнаружил Федора Григорьевича. Прочих я не знал, но, похо-

же, весь сброд Олега Олеговича сгрудился тут. Хотя вряд ли это уж был только его сброд. Здесь, должно быть, сброд притянулся к сброду, сброд приумножился другим сбродом, но дело явно не обошлось без чертового моего товарища!

Поначалу меня увидела Нина Евтихиевна, заулыбалась тут же и пошла-пошла, будто утушка луговая, в мою сторону. За ней потянулся и Павел Фролович, следом посеменял и Федор Григорьевич. Всполошился и Олег Олегович. Повернулись и люди с картонками. На одной было начертано: «Он ищет сестру», на другой: «У него есть сестра, у меня ее нет», на третьей было и вовсе уж пронзительное: «Где ты, сестра?»

Тут весь этот сброд, вся эта толпа надвинулась на меня.

— Он! Это он! — зашелестел и разнесся возглас над сей многоголовой массой.

Люди застыли в пяти-шести шагах от меня. Олег Олегович отталкивал тех, не давал подойти ближе.

— А ну-ка! Ну-ка! — восклицал он.

Нина Евтихиевна хотела пробиться, но тот решительно преградил ей дорогу.

На меня смотрели во все глаза. То ли с любопытством, то ли с почтительностью.

— Мы — ничего, Олег Олегович, — смущенно сказал кто-то. — Мы только посмотреть.

— Посмотрели и расходитесь! Нечего здесь торчать! Что за бестактный народ! — бросил еще в сердцах он.

— Ну, Олег Олегович... — неуверенно проговорил Федор Григорьевич. — Это ведь вроде как бы не твоя собственность!

— Знаешь что, Федор! — вспыхнул тут мой товарищ. — От тебя этого я никак не ожидал!

Федор Григорьевич несколько стушевался.

В это мгновение Павел Фролович, переглянувшись со старой подругой своей, заиграл неспешное, очень милое, трепетное вступление на аккордеоне.

Нина Евтихиевна подобралась, приосанилась и вдруг запела:

На улице дождик
С ведра поливает,
С ведра поливает,
Землю прибивает...

Песня, собственно, была как песня. Что мне до этой песни! Должно быть, народная. Дождик, дождик... Нина Евтихиевна, видать, потому и затеяла ее петь, что был дождь. Хотя, конечно, он вовсе не лил как из ведра. Это, пожалуй, преувеличение. Землю прибивает... может, где-то и прибивает, в деревне, например. Летом, когда жарко и пыльно, тогда капли действительно прибивают пыль. А здесь асфальт кругом, здесь и так уже все прибито. Лживая песня, подумал я. У некоторых народов все песни лживые. Достояние народов — в лживости их песен. Да.

Ой, люшеньки-люли,
Землю прибивает.
На улице дождик
Землю прибивает.

Нина Евтихиевна, должно быть, полагает, что повторение — мать учения, потому долдонит одно и то же. Да и еще эти «люшеньки-люли»! Что это вообще такое? Ведь это же вовсе ничего не обозначает! С ведра поливает — землю прибивает! — тьфу! Есть ли у других народов такие песни? Люшеньки-люли!..

Землю прибывает,
Брат сестру качает.

Тут я даже вздрогнул, я подумал, что ослышался. Землю прибывает, брат сестру качает! Как это возможно? Какая здесь связь? Между прибываемой землей и сестрой, которую качает... и не кто-нибудь, а брат. Вроде меня. Сестра, сестра! А качал ли я когда-нибудь сестру? Ведь я старше, она была когда-то маленькой — стало быть, я наверняка ее качал! Песня вдруг стала для меня бесконечно родной, удивительной, непостижимой.

Ой, люшеньки-люли,
Брат сестру качает.

Опять эти «люшеньки-люли»! Но нет, они теперь не раздражали меня. Они не казались мне и бессмыслицей. Они были невероятной загадкой, шифром, тайным кодом, в *люшеньках-люлях* мне мерещилось некое скрытое послание. Я непременно должен разгадать эту тайну. Брат сестру качает... Я готов делать это всю жизнь.

Брат сестру качает,
Еще величает:
«Ты, сестра родная,
Рáсти поскорее,
Рáсти поскорее
Да будь поумнее...»

«Величает!..» Хорошее слово! Качает и величает! Да и как величает! Самыми простыми словами, в которых и при всем желании величания никакого не разглядишь. А он вот... то есть я... величает. Величает — увеличивает, и величает — прославляет! Как это точно, как это удивительно!

«Вырастешь большая —
Отдадут ты замуж.
Во чужу деревню,
В семью несогласну.
Ой, люшеньки-люли,
В семью несогласну...»

Я вдруг ощутил себя убитым, раздавленным. На моих глазах вершилась ужасающая несправедливость! Да нет же — просто бессмыслица! Зачем же большую, умную, красивую сестру отдавать замуж во чужу деревню? Да еще и в семью несогласную? Нет, я понимаю, что все девушки выходят замуж (хотя, наверное, сестра моя не такая! Замужество для совершенного девичьего существа — дичь, пакость, порча, плесень и всяческая зловредная энтропия!), но... чужа деревня! Гнусная деревня, вроде Бернгардовки, только еще гаже. И еще — *семья несогласна!* И потом снова эти люшеньки-люли! Почему? Кто же придумал эту невозможную песню? Зачем он с садистским упорством твердит про эту « семью несогласну»? Какой изъясн в наших песнях! Сколько в них бессмыслицы, удушливости, сколько в них горя! Наши песни противны душе, наши песни враждебны человеку, его смыслу, его званию, его повадкам и причудам, его частоте пульса, его группе крови, его перистальтике, его набору хромосом. Я застонал, болезненно, отчаянно, безудержно. Слезы хлынули из моих глаз. Я не стал их утирать, я отвернулся. «Плачет, плачет!» — зашелестело в толпе. «Потому что — сестра! Сестра...» — зашелестело ответно.

На улице дождик
С ведра поливает,

Землю прибивает.
Брат сестру качает.
Ой, люшеньки-люли
Брат сестру качает.

Песня закончилась, я был выжат, вывернут наизнанку. Я был раздавлен бесконечной жалостью к бедной сестре моей, которую кто-то злой и жестокий хотел отдать замуж во чужу деревню, да еще и в семью несогласну. Множество ужасных картин тут же пронеслось перед моим взором, и везде хотели обидеть, унижить мою сестру. Нужно было немедленно броситься куда-то, разыскать кого-то, прекратить это беззаконие, этот воплощенный кошмар, но сил куда-то бросаться, кого-то разыскивать, что-то прекращать — у меня не было. Есть ли у какого-нибудь народа песни такие же бесчеловечные, столь же возмутительные, столь же обескураживающие?! Для чего вообще петь такие песни? Для чего их слушать? Лучше погрузиться в вечное безмолвие, лучше закрыть рот на запоры, зашить струной, лучше залить уши воском, замуровать пенькой, как Улиссовой команде, чем петь или слушать эти песни!

— Пойдем, друг! — сказал мне Олег Олегович, приобняв меня.

Я сбросил с плеча его руку. Но Олег Олегович снова обнял меня и повлек за собой.

Толпа перед нами расступалась, нас пропускали. Кое-кто пытался дотронуться до меня, коснуться меня хоть перстом или приникнуть устами, но Олег Олегович отталкивал такие бесцеремонные длани и иные наглые конечности.

Отчего-то я позволял Олегу Олеговичу мной помыкать. А что если вокруг моей сестры прямо теперь плетется заговор и все эти люди причастны к оному?! Что если они собрались здесь, чтобы выискать мою сестру прежде меня и выдать ее замуж во чужу деревню?! От этих людей, от этого сброда можно ожидать чего угодно! Ведь если можно, продав дрянной старый транзисторный приемник, жить два дня безбедно, то сколько дней, месяцев и лет можно жить безбедно, продав во чужу деревню мою сестру! Нет, это в голове у меня не укладывалось. Да и семья эта, даже если и несогласна, может, она не так уж несогласна, может, просто делает вид! Как можно не соглашаться на мою сестру! Тут просто какой-то бред, какое-то безумие! Черт, черт!

— Пошли-пошли, — бормотал Олег Олегович. — Винца выпьем! Посидим, поговорим!

— Зачем они собрались?

— Ничего-ничего! — возразил мой провожатый. — Это — хорошие люди!

— У тебя все — хорошие люди!

Тут мы с Олегом Олеговичем вперлись в парадное. За нами увязались еще некоторые людишки из толпы, Олег Олегович стал их выталкивать.

— На улице стойте! — бросил он с досадой.

Павел Фролович шлепал что-то на аккордеоне. Какое-то, наверное, аллегretto или вивальди.

Олег Олегович открыл железную дверь подвала, и мы с ним вошли в наше убежище.

На одном из поддонов был накрыт стол. Посередине стояли две бутылки вина, и громоздилась всяческая снедь.

— Откуда у тебя деньги? — крикнул я.

— Мы же вчера получили за съемки, — ответил тот в некотором смущении.

— Ты врешь мне!

— Вообще-то они не такие уж хорошие люди, — сказал мой товарищ, отворотив глаза. — Но тут отчасти и я виноват. Я как-то рассказал о тебе... о том, что ты ищешь сестру, Федору Григорьевичу. Федор Григорьевич рассказал о тебе Нине Евтихиевне и Павлу Фроловичу. Нина Евтихиевна в свою очередь рассказала о тебе Екатерине Константиновне, Марии Прохоровне и Семену Андреевичу. А Екатерина Константиновна — известная болтушка: она, дрянь такая, раззвонила о тебе на всю округу. И вот эти люди... со всем уважением, конечно... захотели на тебя взглянуть. Я им долго отказывал, но они так просили! Тогда я согласился. Кто-то из них принес вино, кто-то шпроты. Еще принесли сыр, маслины, печенье, яйца всмятку, минеральную воду, сельдерей. И еще... тьфу, черт! — голотурии — то ли жареные, то ли печеные! Так что мы можем устроить небольшой праздник. А потом нам еще что-нибудь принесут.

— Ты торгуешь мной! — побледнев, вскричал я.

— Что ты! — засуетился Олег Олегович. — Как ты можешь! Давай винца выпьем!

— Не хочу! — отрезал я.

Это была неправда, конечно: вино я хотел, я его всегда хочу. Но не могу же я пить с предателем! Вернее, я, конечно, могу пить и с предателем, но... в общем, я сказал: «Не хочу!»

Удивляясь собственной твердости. Даже — несокрушимости.

— Почему же? — потерянно спросил Олег Олегович. — Вино хорошее. Стал бы я брать от них плохое вино! Я предупредил всех, чтоб бормотуху сюда не несли!

Трясущейся рукой он стал наливать вино.

— Ты готов и сестрой моей торговать! — бросил я наконец самое страшное обвинение.

— Что? Как? — ахнул Олег Олегович.

— А что? — не отступал я. — Кто она тебе? Что она для тебя?

— Я только... — бормотал тот. — Только хотел взглянуть на нее... одним глазком! Только коснуться ее рукава! Сказать ей три слова: «Привет! Как дела?» — и все, больше мне ничего не надо! Восхититься ею!

— Ты с ними заодно! — поджав губы, сказал я.

— С кем?

— С этими людьми!

— С теми, что на улице?

— С другими.

— Я не понимаю!

— С теми, что хотят отдать сестру!

— Куда отдать?

— Замуж во чужу деревню! — отчетливо сказал я. — В семью несогласну.

Олегу Олеговичу, кажется, крыть было нечем.

— Вот выпей, выпей! — потерянно сказал он, поднося мне стаканчик.

Я оттолкнул его руку, вино разлилось на пол.

— Так ты правда думаешь, что я... я... — подбородок его задрожал.

Я лишь презрительно усмехнулся.

— Но я же ничего не... не... — забормотал еще тот.

Неужто он не понимает, что, мямля и бормоча, он выдает себя с головой?!

Тут вдруг раздался звон: стекло в замызганном оконце разлетелось вдребезги. Должно быть, кто-то пнул его ногой. Осколки стекла упали на пол. За оконцем виднелись ноги. С улицы слышались голоса. Там ссорились, кричали, бранились. Как и мы с Олегом Олеговичем здесь ссорились.

— Я ухожу! — бросил я.

Олег Олегович метнулся за мной. В одной руке у него был стакан с вином, в другой — два яйца, сваренных всмятку.

— Выпей, пожалуйста! — попросил он. — А то я буду чувствовать себя подлецом!

«А ты и есть подлец!» — хотел было сказать я. Но все-таки не сказал.

Вино же я снова отверг. С прежней несокрушимостью.

Олега же Олеговича я теперь презирал. Пусть он мне в другой раз хоть жареного аксолотля принесет, я и тогда его презирать буду.

— Ну, хоть яйца возьми! — совсем уж жалко просил мой товарищ.

Я хотел и яйца отвергнуть. Но все-таки не отверг. Олег Олегович засунул мне яйца в карман куртки. Куртки, что дала мне тощая.

Честно говоря, яйцам я был рад. Олег Олегович, конечно, подлец и предатель, но есть-то ведь мне что-то надо! Не правда ли?

Едва я вышел на улицу, часть толпы у входа стала раздаваться, расступаться предо мной. Другая же часть лютовала поодаль. Там что-то происходило, что-то назревало, оттуда слышались крики. Я сразу пошел в сторону этого беспорядка. Этого лютования.

Олег Олегович смиренно потащился за мной. Павел Фролович заиграл на аккордеоне нечто кучерявое и заунывное. Но Олег Олегович досадливо стукнул тому по клавишам, и Павел Фролович оборвал свои тоскливые кружева.

Тут я увидел буфетчика. Того самого, из гадючника. Это он, дурак, дебоширил.

— А-а! — протянул он, завидев меня. — Вот и он! Явился — не запылится!

— Запылился, — возразил я. — Просто сейчас дождь, поэтому не видно.

(«...Землю прибывает».)

— А ведь ты врешь! Вы знаете, что он врет! Олег Олегович! — крикнул он. — У него нет никакой сестры!

— Есть, — сказал я.

Олег Олегович приосанился и выступил вперед.

— Ты почто стекло разбил? — звучно сказал он. — Мешало тебе?

— Да? — крикнул буфетчик. — Ему, значит, позволено насчет сестер врать, а другим не позволено стекла бить? Несправедливость какая-то получается!

— Твое стекло, что ли? — напирал Олег Олегович. — Не твое! Стекло муниципальное!

— Сестра есть, — снова сказал я.

— Есть? — глумливо вскричал тот. — И где она? Почему ты ее никому не покажешь?

— Я ищу.

— И-щешь?

— Ищу.

— И где же ты ее ищешь? — ядовито спросил буфетчик.

— Везде.

— И как же ты ее ищешь?

— Думаю о ней.

— Он думает! Разве так нормальные люди сестер ищут? — снова вскричал сей каналья. — Нормальные люди в полицию обращаются: так, мол, и так — пропал человек, помогите найти! Вы теперь видите, что нет у него никакой сестры?

— Есть.

— А если даже и есть! Небось лахудра какая-нибудь размалеванная. Сидит, целый день красится, а потом, когда стемнеет, полный карман семечками набьет, сумку дырявую под мышку и вперед себе — на бульвар, морячков снимать! У морячков-то форма ой какая красивая! Так прямо и вижу, как эта дрянь на морячке виснет!

— Нет, — терпеливо сказал я.

— У такого, как ты, разве может быть хорошая сестра? Не может. Небось вся в прыщах, косоглазая, волосы сальные и изо рта пахнет!

— Нет.

— А может, она и никакая не сестра вовсе, а полуслепая тетя Шура из Кокчетова, которая любит варенье из вишни и слезливые письма!

— Ты что сочиняешь?! — с угрозой сказал Олег Олегович.

— Олег Олегович! — в отчаянии вскричал буфетчик. — Вы ли это? Вы, мой любимый клиент, пошли на поводу у этого с... сына! Я же вам наливал в кредит четыре раза, поскольку вы всегда пользовались моим безграничным доверием!

— Два, — непокорно встряхнул подшлемником мой товарищ.

— Хоть бы и два! — взвизгнул тут буфетчик. — Сейчас никто никому не верит, не то время, а я вот верил вам, рискуя своим благосостоянием! А вы вон как заговорили!

— Ну ты! — сказал вдруг Федор Григорьевич и ударил того по руке.

Буфетчика стали обступать.

— А стекла все равно бить не смей! — сказал Олег Олегович.

— Не в стеклах дело! — крикнул буфетчик, отступая. — А в правде! Если у тебя нет сестры, не смей врать, что она у тебя есть!

— Сестра есть, — сказал я.

— И в стеклах тоже, — сказал Олег Олегович и ударил буфетчика по другой руке.

Павел Фролович тут вдруг заиграл на аккордеоне что-то мужественное и яростное, что-то такое решительное, от чего толпа стала еще более сбираться вокруг буфетчика.

Я не хотел никакой расправы над буфетчиком. Он злой, неразумный человек. Он подличал, он наговаривал на мою сестру, но это от скудоумия, от тоски, от обиды. У него самого наверняка нет сестры, оттого жизнь его безвидна и безнадежна. Оттого душа его пуста и бесплодна. Человек, не имеющий сестры, может быть даже опасен для общества. И это куда серьезнее, чем какое-то там разбитое стекло! Разбитое стекло — ерунда! Стекла иногда сами собой бьются! Даже — муниципальные!

Я заметил, что кто-то продирается через толпу. «Полицаи!» — сказал я себе. Через мгновение я уже видел их воочию.

— Ты! — толкнул меня один. — Что за демонстрация?!

— А он стекло разбил! — возмущенно вступился Олег Олегович. — И еще про сестру всякую дрянь вякает!

Наигрыши Павла Фроловича сделались еще бойчее. Еще нестерпимее.

— Заткни шарманку! — прикрикнул второй полицай.

Павел Фролович шарманку заткнул, зато Нина Евтихиевна своими карими очами метнула в полицаяв пару громов и молний. Женщины это умеют.

Правда, полицайи громов и молний не различают.

— Какую сестру? — спросил первый.

— Его сестру! — зашумели в толпе.

— Е-го-о? — немного по-жеребиному протянул первый. — У тебя есть сестра?

— Есть.

— Ты слышал? У него, оказывается, есть сестра, — пояснил тот своему товарищу.

— Сестра? — удивился другой.

— Что молчишь? — поддернул меня первый.

— Да, сестра, — встрепенулся я.

— Нет, сестер нам здесь никаких не надо! — сказал другой.

— Ты понял? — спросил первый.

— Что?

— Вали отсюда! И вы тоже все валите! — крикнул еще он. — А то быстрое реагирование вызовем!

— А вы быстрым реагированием от народа не отгораживайтесь! — попрекнула полицаев Нина Евтихиевна.

— Молчи, старая! — крикнул второй полицай.

— Я не старая. Я — пожилая, но еще крепкая.

— Да-да, она немного пожилая, а никакая вовсе не старая, — подтвердил один кургузый мужичок из толпы, глядевший на Нину Евтихиевну с образцовым почтением. С почтительным таким почтением.

Павел Фролович недовольно растянул меха, аккордеон его коротко гукнул.

Я вдруг подумал, что если я скажу теперь какое-то слово против полицаев, так толпа может прийти в неистовство и разорвать их. Я не знаю, в чем здесь дело, со мной такого никогда не было прежде. Собственно, полицаи мне не сделали ничего плохого. Ну, врезали несколько раз — это можно и перенести.

— Вали-вали! — ласково сказал мне первый из полицаев и пихнул меня в бок.

Я стал выбираться из толпы. Олег Олегович потянулся за мной. И Павел Фролович тоже потянулся, и еще кое-кто из тутошних людишек.

Я прибавил шаг, толпа поотстала, Олег Олегович плелся за мною, будто мой оруженосец. Хотя какой он оруженосец? У меня и оружия-то нет. И у него тоже нет.

Шли мы по улице, где по сторонам топорщились кривые облезлые тополя.

— Ты считаешь меня сумасшедшим? — спросил я, приостановившись.

— Совсем чуть-чуть, — отвечивал Олег Олегович. — Но тебе так даже лучше.

— Почему?

— Так тебе проще исполнять твою миссию, — сказал Олег Олегович.

— Какую?

— Искать сестру, — твердо сказал он.

— Искать сестру — это временное, — возразил я. — Моя миссия не искать, но найти сестру, быть рядом с ней, быть достойным ее, быть равным ей! Быть равным свету, самому стать таким же светом, а все почему-то думают, что я должен искать сестру, и ты думаешь, и все эти людишки, и Павел Фролович, а буфетчик даже и так не думает.

— Он так не думает. Нет, надо же! — вдруг еще воскликнул он. — Я раньше не знал, какая он сволочь! И пил его пиво. Хорошо хоть, теперь знаю. Теперь-то я точно не стану пить его пиво!

— Пиво тут ни при чем, пиво пить можно! — сказал я.

— Пиво сволочей пить нельзя, — настаивал мой товарищ. — Иначе как им дать понять, что они — сволочи?

— Ну, как знаешь! — махнул рукой я. — Не хочешь, можешь и не пить.

Если вдуматься, так Олег Олегович и сам сволочь, и от того, что одна сволочь будет пить пиво другой сволочи, Земля явно не перевернется.

— Почему они за мной ходят? — спросил я.

— Они считают тебя особенным, они восхищаются тобой.

— А ты почему ходишь за мной?

— Потому что я твой друг, — сказал Олег Олегович.

— Иногда мне нужно быть одному.

— Но вчера ты был один. Я задремал там, в автобусе, а когда проснулся, тебя не было. И я решил, что ты ушел насовсем. А теперь ты появился, и я этому рад.

— Вчера я не был один.

— Мне говорили, что ты вышел вместе с Козой, — кивнул головой Олег Олегович.

— Да, — сказал я. — Я вышел с ней.

Отчего-то в эту минуту я собой гордился, и мне даже захотелось рассказать моему товарищу о том, что произошло вечером.

— Если можно, ты не прогоняй меня насовсем, — попросил вдруг Олег Олегович. — Я ведь и сам понимаю, что совершенно не стою твоей сестры.

Но тут Олег Олегович коротко ойкнул и ретировался.

Я поначалу не понял, в чем дело.

Да, мы дошли до дома сестры, да, возле дома тоже стояла небольшая толпа, человек до двадцати пяти, вроде той, что застыла у меня теперь за спиной в некотором отдалении, но не это было причиной ретирады Олега Олеговича.

К дому подходила тетя Тамара. Та самая, что некогда обошлась со мной так не приветливо в квартире сестры. Шла она, разумеется, из магазина, она всегда из него ходит. Иных занятий у этого бабья не бывает.

Тетя Тамара заприметила меня и остановилась. Ретирующегося Олега Олеговича она, естественно, тоже не могла не заметить.

— Ой, — сказала она. — А ведь я тебя знаю.

— Да.

— Ты сестру ищешь...

— Ищу. Ведь я же еще тогда сказал это.

(«Тогда» — это когда приходил в первый раз.)

— Ну, тогда ты просто сказал, а теперь я и сама знаю.

— Почему знаете?

— Эти люди, что стоят тут все время, стоят и смотрят... И еще мне соседка сказала, и потом в магазине тоже сказали.

— Что сказали?

— Ну, мол, есть такой... ходит в берете и везде ищет сестру.

— Еще у меня почки нет и на голове нарост неизвестного происхождения, — для чего-то сообщил я.

— Да, про это мне тоже сказали, — согласилась тетя Тамара.

— Кто сказал?

— Про почку — соседка, про нарост — в магазине, в очереди.

— А-а, — сказал я.

— Да, — вздохнула женщина. — Олег Олегович вот не заходит. Раньше заходил, а теперь нет.

— Олег Олегович — сволочь, — рассудительно заметил я. — Но я могу сказать ему, и он пойдет к вам, он меня слушается.

— Нет. Пусть будет, как будет. Мужчины такие непостоянные!

— Не всегда.

— Может, зайдешь ненадолго? — сказала вдруг тетя Тамара.

— Хорошо бы, — несмело согласился я.

Я, конечно, хотел. Ведь это дом сестры, в котором есть комната сестры. А в комнате сестры — стены сестры, воздух сестры, свет сестры, смысл сестры и ее вещи, пусть и немного. И неважно, что где-то рядом обитает эта вот тетя Тамара с ее несуразной матерью, никчемный узбек с ничтожной узбечкой и их гомонящим выводком, препустейшие студенты с их бесполезными разговорами и все остальные, кого я еще не видел и не слышал в этой квартире, в этом подлом мирке. А мирок подл, в этом я не сомневаюсь. Все мирки подлы. Миры еще подлее.

Мы шагнули к парадному.

«Может, предложить ей поднести кошелку?» — подумал я, припомнив некоторые куртуазные выкрутасы Олега Олеговича.

«Ну да, — тут же возразил я себе. — А вдруг она подумает, что я подбиваю под нее клинья, что я хочу занять его место!»

А я уж явно того не хотел.

— Я не буду против, милый, если ты немного поможешь мне, — сказала вдруг тетя Тамара с какой-то зефирностью в голосе, отдавая мне свою сумку.

Ничего не поделаешь, пришлось тащить теткину сумку.

На втором этаже, выгнув спины, друг против друга стояли два кота, только что наевшиеся молока, и хвосты их топорщились, будто трубы «Титаника». Если б не моя ноша и не присутствие тети Тамары, так я бы теперь непременно постарался пнуть хоть одного из них. Второй бы, конечно, убежал при этом — коты быстро бегают! Пнуть просто так, для порядку! Обязательно сзади, пониже хвоста! Коты любят, когда их пинают под хвост.

Но когда я шагнул в их сторону, оба они вдруг прошмыгнули мимо моих ног и быстро побежали по лестнице вниз.

Тетя Тамара взглянула на меня с удивлением.

Трудно пнуть одного кота (когда их сидит двое). Хочется пнуть сразу обоих, и острота такого внезапного желания лишает тебя решительности. Не знаешь, какого именно выбрать. Без решительности же всякое благое начинание обречено на неуспех. А уж такое в особенности! Да.

За это-то я и котов не люблю. За обреченность наших желаний.

За что же еще?!

Языки аспидные и человеческие

На кухне кто-то был, это я слышал. Нет, не узбек — студенты. Но это были уже другие студенты. Вернее, те же самые студенты (других студентов в квартире не было), но они сами стали другими. И эта перемена в студентах была какого-то ужасающего свойства. Они не говорили ни о кино, ни о чем другом — с кухни доносились треск и шипение, как будто бы там находилась тысяча гадюк. И это теперь сделалось студентовой речью. В нашем мире иногда что-то очень странное делается со студентами, в обычные понятия это не умещается.

И вместе с тем в студентовой шипении и треске мне на миг почудилось что-то членораздельное и даже осмысленное. Мне даже как будто был отчасти известен этот язык.

— Ты слышал? — шепнула мне тетя Тамара.

— Да, — тихо сказал я. — А что это такое?

— Это студенты. И это теперь не совсем студенты.

— Да. Не совсем.

— Всегда были такие вежливые, культурные. Утром встретишь: «Доброе утро, тетя Тамара!» Вечером: «Спокойной ночи, тетя Тамара!» А теперь... Вроде не делают ничего плохого... и все же... они не из этого мира, — тихо сказала вдруг тетка.

Тут я отдал ей кошелку.

— Спасибо, милый. Представляешь, их даже узбек боится. Никого не боится, а студентов вот убоился. Теперь в свой Чимкент собирается.

— А, — сказал я.

— Раньше, бывало, все на кухне да на кухне! Чуть даже не жил там. Как ни выйдешь на кухню — сплошной тебе кишлак! А теперь в комнате сидит. И сам из комнаты носа не кажет и жену свою, узбечку, не выпускает. Питаются всухомятку. А узбечатам хоть бы хны! Как студенты на кухне, так и узбечата туда норовят! Даже общаются — узбечата на своем узбекском, а студенты на аспидном.

— А, — снова сказал я.

— Наверное, к сестре хочешь? — спросила тетя Тамара.

— Да.

- Но сначала я про тебя маме скажу.
- Она отворила дверь в свою комнату. Там были запахи. Тяжелые и тоскливые. Старуха лежала на постели.
- Мама, — сказала тетя Тамара, — помнишь, я тебе говорила про того, что сестру ищет?
- Что еще за сестру? — сварливо сказала старуха.
- Я про него от соседки из четырнадцатой слышала и еще в магазине, и он уже приходил как-то — вот он снова пришел и даже сумку помог донести!
- Ты такая дура, Тамарка! — пророкотала старуха.
- А еще там, на улице, стоят, толпа целая, и все на него смотрят и молчат. Молчат и смотрят, как будто он ангел небесный, представляешь, мама? Или идут за ним, если он идет.
- Все мужиков, бесстыжая, водишь!
- Это другое! Он к сестре пришел, он только немного в комнате посидит!
- Ты лучше про студентов скажи!
- Ой, не спрашивай! Это просто — ужас какой-то!
- Хуже стало?
- Не то слово!
- А этого гони! В шею гони! Поняла? — крикнула старуха.
- Ладно, мама! Хватит тебе! Совсем уже разошлась!
- А ты не дерзи! А то студентам нажалуюсь! — проскрежетала старуха.
- Я сама на тебя нажалуюсь! — сказала тетя.
- Жалобщица, вишь, отыскалась! — в сердцах бросила та. — Чтоб, когда я скажу, сразу ушел, поняла?!
- Уйдет, успокойся! Пошли, милый, — сказала она уже мне.
- А тот твой был лучше! — крикнула еще старуха. — Он меня красотулечкой называл и руки мне целовал!
- Мне тоже, — тихо сказала тетя Тамара.
- Она открыла дверь в комнату сестры.
- Вот. Все в полной неприкосновенности.
- В полной неприкосновенности все здесь, пожалуй, не было: отсутствовал шкаф. Этажерка была, кровать железная была, стол, серый халатик, вязальные спицы с неоконченным вязаньем, гребенка, купальная шапочка, журнальцы — три или одиннадцать, точно не знаю — все, кроме шкапа.
- Шкап пришлось вынести, — будто угадала мои мысли тетя Тамара.
- Зачем?
- Студенты велели.
- Им-то что до шкапа?! — несколько повысил голос я.
- Не знаю, но с ними лучше не спорить.
- Насчет шкапа лучше не спорить?
- Насчет всего.
- Тут я немного потоптался.
- Ладно уж, побудь немного здесь, — сжалась вдруг тетя. — Только потихоньку.
- Я тихо, — сказал я.
- Прости, это я взяла твою конфету. Мне стало обидно, что другим конфеты носят, я даже позавидовала...
- Ладно, — махнул рукой я.
- Наконец она вышла. Первым делом я взял гребенку сестры, поцеловал и спрятал в кармане.
- Еще я лег на кровать. Как в первый раз. Я весь сжался и подтянул ноги.

Еще я съел яйцо. Одно из тех, что у меня были в кармане. Скорлупа подавилась и с трудом отдиралась от белка. Поэтому часть скорлупы я съел тоже. А что здесь такого? Куры тоже едят скорлупу. Им даже полезно.

Гребенка в кармане меня будто обжигала.

Ах, если бы сестра была теперь рядом!

Я бы, пожалуй, тогда согласился и умереть. Я привык жить, умирать же я пока не привык. Но будь сестра рядом, так непременно бы умер и без привычки. И, разумеется, без сожаления. Близкие вообще для того и нужны, чтоб умирать без привычки и без сожаления.

Оказывается, Олег Олегович и впрямь мой оруженосец, он вдруг вошел в комнату, громко топая железными сапогами, с длинным копьём в руке, которым он бесцеремонно стучал в пол. Он хотел обратиться ко мне, но никак не мог вспомнить моего имени, я и сам не мог его вспомнить, от чего напрягся и вспотел, вспотел и напрягся, Олег Олегович застучал в пол копьём еще настойчивей, еще безжалостней, и тогда я проснулся.

Стучали не в пол, стучали в стену. Беспорядок производила старуха, мать тети Тамары. Я вскочил с постели. За окном смеркалось. Эта дура за стенкой гремела вовсе уж возмутительно.

Я быстро огляделся и заспешил прочь из комнаты.

Я уходил не с пустыми руками — в кармане моем лежала гребенка сестры.

Дверь в комнату старухи была раскрыта. Старуха, лежа на постели, стучала в стену палкой. Клюкой то есть. Или — костылем.

— Глупый! Зайди сюда, глупый! — кричала старуха.

Я зашел и остановился на пороге.

— Я здесь, я пришел!

— Это ты, глупый? — сказала старуха, но стука своего не прекратила. — Тамарка пропала, а ты там сидишь, мне страшно стало, вот я и постучала тебе, чтоб ты пришел — успокоил бабушку! — затараторила старуха.

— Как пропала?

— Пошла на кухню мне пустырнику заварить, уж три часа прошло, а ее ни слуху ни духу — ни пустырнику, ни Тамарки!

— Может, в магазин пошла.

— В какой еще магазин?

— Почему мне знать, в какие она магазины ходит!

— Ни в какой она магазин не пошла!

— А что же тогда?

— Что-что! — раздраженно крикнула старуха. — Это все студенты!

— Что студенты?

— Ты, я вижу, совсем дурак! Ничего не соображаешь!

— Ладно. Пойду я.

— Погодь, — сказала старуха.

— Что?

— Поди сыщи Тамарку! — сказала старуха.

— Где мне искать ее?

— Ты по квартире походи — может, где и сыщешь! Сыщешь Тамарку, я тебе дам кое-что от сестры.

— От какой сестры? — на всякий случай насторожился я.

— От какой, от какой? — рассердилась та. — От твоей, конечно. Только не сейчас. Потом придешь — я тебе отдам!

— Когда?

— Сказала — потом! Когда в большой тоске будешь! Тогда отдам!

— Я сейчас в тоске.

— Сейчас ни в какой не тоске, не выдумывай!

— Что отдадите, бабушка? — жалостливо спросил я.

— Что надо, то и отдам! Иди, утомилась я от тебя!

Я топтался на пороге. Я не верил, что у этой дрянной старухи может быть что-нибудь от сестры. Если бы было так, вся комната озарилась бы. Комната же и не думала озаряться.

— Нет, стой! — сказала старуха. — Подойди-ка сюда!

Я подошел. Неужто эта гримза сейчас сжалится и отдаст мне что-то, чего касалась рука моей милой сестры?!

— Наклонись! — велела старуха.

Я наклонился.

— Поцелуй у меня руку!

Я наклонился еще ниже и даже стал на колени. Рука старухи лежала на пододеяльнике и не шевелилась, рука казалась мертвой, смотреть на нее было страшно. Я приложился сжатыми губами ко всем ее морщинам и застыл, не зная, что делать дальше. Я боялся, что меня вытошнит.

— Назови меня красотулечкой! — вдруг со смешком бросила старуха.

— Красотулечка, — сказал я.

Отчетливо так сказал. Чтобы не было сомнений.

Рука старухи дернулась, будто гальванизированная.

— Все, пошел! — крикнула старуха.

Я стал ходить по квартире. Вроде как искать тетю Тамару. Хотя на самом деле и не искал: просто ходил себе и ходил. Большинство дверей было закрыто. Комнату узбеков я нашел по запаху. Узбеки сидели у себя, из-за двери слышались приглушенные узбекские голоса. Узбеки говорили (и жили) будто опасливо. Некоторым народам вообще положено жить опасливо.

У узбеков тети Тамары быть не могло. Что бы ей там делать?

В кухне готовила какая-то тетка, но не тетя Тамара. Она оглянулась на меня. Я поздоровался для приличия, та не ответила.

Я вышел из кухни в смущении.

Пустырником там и не пахло, тетей Тамарой тоже.

Из комнаты студентов пахло какой-то нечеловеческой плотью. Звуки же из комнаты доносились те же самые, аспидные. Человеки таких звуков не производят.

Я отыскал черный ход. Тот был на замке и еще на цепочке.

Я ходил по коридору и шептал: «Тетя Тамара! Тетя Тамара!» Я скулил ее имя. Когда проходил мимо одной комнаты, дверь отворилась, и вышел интеллигентшишка в очках с толстыми стеклами, в пижаме. В комнате же копошилась жена его, тоже вся из себя образованная и в халате. Тети Тамары не было и у них.

— А вы тетю Тамару не видели? — спросил я на всякий случай у него, глядя куда-то мимо интеллигентшишкиного фасада.

— Не видел, — отвечивал тот, взглянув на меня с фланга.

— И жена ваша тоже не видела? — не отступался я.

— И она не видела, — говорил этот вычурный трепанг.

— А может, спросить у нее?

— И спрашивать нечего, я и так знаю, — отвечал тот со всею своею интеллигентской деликатностью. Впрочем, с интеллигентской же и решимостью.

— Ну и ладно, — сказал я.

Так я оказался в прихожей.

Дверь входная была на крюке. Крюк же был тяжелый, недвусмысленный, крюковатый такой крюк! Я потрогал его с уважением к его крюковатости.

И тут вдруг я почувствовал, что сзади, за спиной моей, стоит кто-то. Я ощутил холодок и медленно обернулся.

Там стоял один из студентов.

Он и впрямь изменился, стал ниже на целую голову. Еще он сделался похожим на старичка. Голос же его снова был человеческим (не аспидным). Хотя глуховатым и утробным. Будто бы он говорил желудком. Или чем-то иным, нутряным.

— Ой, а я тебя видел! — выдохнул тот.

— А где тетя Тамара, не знаете? — застенчиво спросил я.

— Ее нигде нет, — сказал мне студент.

— Я знаю, а где она? — спросил я.

— Я закрою за вами, — ответил тот, оттеснив меня и откинув крюк.

— А можно мне еще прийти? — спросил я.

— Нет, конечно, но ты все равно приходи, — сказал мне студент, и я выскользнул наконец из квартиры.

— Я не стану никогда приходить, но как-нибудь все-таки приду, — сказал я.

— Да, примерно не так, — ответил студент.

Адский пламень и его отрицание

«Подведем итоги, — сказал я себе на лестнице. — Сестры нет, но есть ее гребенка, и еще старуха обещала мне что-то отдать от сестры, когда я буду в тоске. Я и сейчас в тоске, но нынешняя тоска не та! Так полагает старуха. Еще нет тети Тамары, но мне она нужна только, чтоб умаслить старуху. А еще — студенты, которые говорят голосами аспидными, а потом человеческими и сами, должно быть, превращаются то в аспидов, то в человек, но этого я не видел, а могу только догадываться. Да и как вообще снискать тоску подлинную, тоску невообразимую, душеворотную?!»

Итоги, прямо скажем, неутешительные. Не стоило и подводить!

Толпа на улице была человек в пятьсот. Так я думаю. Вернее, не человек — человеческих особей.

Человеки — самая мерзкая популяция из всех остальных популяций.

Когда я вышел, кто-то отпрянул, иные же устремились ко мне.

— Это он! Он! — загудели в толпе.

— Батюшка! — крикнул кто-то.

— Парень!

— Коснись меня! Перстом!

Для чего бы мне кого-то касаться перстами?! Разве персты мои какие-то особенные?

Делался явно какой-то балаган. Мне это не нравилось; но народ наш балаганы любит. Где народ наш, там и балаган, там смех и околесица, там угар, дрянь, паутина, сутолока, беспорядок, брожение.

— Что еще такое? — говорил я.

Была там старуха с зажмуренными глазами, которую придерживала отроковица лет десяти, вида самого прегадкого, пресиротского. Прежалостливого. Старуха протягивала руки и растопыривала пальцы. Услышав же общее волнение, и сама заволновалась.

— Где он? — бормотала она. — Подведите к нему!

— Не пускайте ее! — крикнул дураковатого вида парень. — Она только пришла, а мы давно стоим!

— Пустите! — заголосила и отроковица. — Бабушка слепенькая! И диабет у ее сахарный!

— Да и не внучка она никакая! А так просто — примазамшись!

— Шас многие норвят примазамшись!
— Никому веры нет!
— А у его сестру Верой кличуть! У батюшки нашего!
— У смиренного!
— Внучка я! Настоящая! — заплакала отроковица.
В отроковице было что-то изрядное, воробьиное. Что-то отроковическое.
— Ладно уж, пустите слепенькую! — сжалилась какая-то пожилая толстуха.
— Я, может, и сам, так сказать, слепой, — крикнул худой морщинистый дядька. — У меня глаукома.
— Глаукома не в счет, здесь многие с глаукомами! — оспорили и того.
— И еще с астигматизмами.
— И с перитонитами.
— Коснись меня, батюшка! — крикнула старуха.
— Зачем это?
Эта чело­вечья дрянь оплетала меня своей паутиной.
— Коснись, коснись!
Я потянулся своими, не вполне чистыми перстами к старухе, но удержал руку и спросил на всякий случай:
— Где?
— Глаз ейных коснись! — подсказал какой-то дядька.
— Глаз! Глаз!
Я потрогал ее шершавые веки. Веки были как веки — ничего особенного. Старуха застыла. Я подумал, что она даже описалась (вполне возможно, что именно так и произошло).
И тут вдруг она возопила:
— Свершилось!
— Что свершилось, что? — заволновались в толпе.
— Бабушка, что? — пискнула отроковица.
— Да говори уже, старая! — рявкнул дядька. — Не тяни резину!
— Старые всегда резину тянут!
— А сами без очереди лезут!
— Зла на них не хватает с ихней резиной!
— И презервативами.
— Вижу! — неуверенно сказала старуха.
Нет, от нее положительно пахло мочой.
Впрочем, я ее не осуждаю. Мне и самому случалось описываться.
— Что ты видишь? — спросили ее.
— Батюшку вижу.
— Смиренного, что ль?
— Его, смиренного нашего!
— Чудо! — густоголосо завопила какая-то мадам.
— Чудо! — крикнула и Нина Евтихиевна.
— Чудо! — загудела, застонала вся толпа. И двинулась на меня.
— Коснись! Коснись! — бесновались все.
Они сами меня касались, они хотели меня потрогать. Я стал отступать. И вдруг запнулся о поребрик. Кто-то наступил мне на палец, еще мгновение — и наступили бы мне на грудь, на лицо, еще мгновение — и толпа прошла бы по мне, и тут я увидел искаженное яростью лицо Олега Олеговича и такое же лицо Павла Фроловича, аккордеон же с некоторой воинственностью болтался у него под мышкой, и лицо Федора Григорьевича было тоже искаженное, и еще я услышал крик, хотя сразу и не понял, что это крик, просто загремело что-то, похожее на гудок паровоза

или на фабричную трубу, и вот в этом гудке паровоза, в этой фабричной трубе я услышал: «Назад, с...!»

Олег Олегович был страшен, и Павел Фролович тоже был страшен, страшнее всех был Федор Григорьевич, таким страшным не бывает заурядный человек, человек с улицы, человек из толпы, лушеное быдло, и вот эти-то трое меня и спасли, толпа чуть-чуть отхлынула от меня, а тут вдруг пистолетный выстрел раскатился над головами, стайка голубей метнулась ниже крыш, «полицаи!» — успел подумать я, это и вправду были полицаи, они разгоняли толпу, и толпа дрогнула, стала рассыпаться, кто-то улепетывал совсем уж негодно и беспорядочно. Олег Олегович поднял меня, и мы тоже стали улепетывать.

— Расходись, расходись! — крикнул полицай и снова пальнул из своего табельного пистолета.

— Не собираться здесь, не собираться! — крикнул и другой.

Мы пробежали двором возле дома сестры и оказались на другой улице.

Олег Олегович, Павел Фролович и Федор Григорьевич тянули меня за собой.

Мы остановились, чтобы отдышаться. Сзади за нами тащился синий фургон. Я его еще там, возле дома сестры, приметил. Мы остановились, и он остановился. Мы пошли, и он тронулся. Что за фургон такой? Ехал он безмолвно и безразлично. Или, наоборот, вкрадчиво и угрожающе.

— В общем, Федор Григорьевич, как ни крути, а ты — сволочь! Я так и нашему другу сказал! — выругался вдруг Олег Олегович.

— Я — сволочь? — возмутился тот.

— Ты — кто ж еще! — бросил Павел Фролович.

— Что еще за сволочь?

— Ну, такая... вся из себя... собственноручная.

— Нет, мне это нравится! А от кого ты узнал о нашем друге?

— Ну и что? Хоть бы даже отчасти и от тебя! Это вовсе не означает, что у тебя больше прав на него! Верно? — лстиво обратился ко мне Павел Фролович.

Я смотрел на всю троицу раздраженно. Черт побери, эти старые сухофрукты явно выкаблучивались передо мной. Они хотели произвести на меня впечатление. Хотя что на меня производить какие-то там впечатления? От меня судьбы человеческие не зависят, блага земные я не распределяю. Я хотел отругать их. Вместо того достал из кармана яйцо.

— А что за фургон такой? — спросил я.

— Где? — вздрогнул Федор Григорьевич.

— Там, сзади.

Тут фургон, будто подслушав нашу беседу, ускорил ход и обогнал нас.

— Это телевидение, — сказал Олег Олегович. — Они заинтересовались тобой. Снимают скрытой камерой и хотят пригласить тебя на ток-шоу.

— Б...! — хладнокровно сказал я. И откусил от яйца. Со скорлупой вместе.

Мы стояли возле гадючника. Здесь тоже была толпа. Людишки заворуженно смотрели, как я ел яйцо. Мне дела не было до толпы. До яйца тоже. Яйцо я просто ел, толпа просто стояла.

Гадючник уж не был гадючником. Он перестал им быть.

Все окна были высажены, осколки стекла усыпали тротуар, хрустели и звякали под ногами. Внутри все оказалось разгромленным, столы и стойки. На полу были пепел, вода, грязь, горелые шторы, тянуло дымом, но огня уже не было. Гадючник смотрелся жутко и затравленно.

Я ел яйцо.

— Вот, — сказал Павел Фролович.

— Будет знать, как колотить муниципальные окна, — сказал Федор Григорьевич.

— И не только это! — мрачно добавил Олег Олегович.

Я молчал, а толпа смотрела на меня. Как же она смотрела? Несомненно, все людишки смотрели на меня по-разному. И все ж было нечто общее во всех их взглядах — благоговение.

Мы пошли дальше.

В сторону толпы.

Яйцо я доел, конечно. Нельзя одно яйцо есть до бесконечности.

Гадючника мне было не жаль. Много их еще остается на свете, и что проку жалеть каждый из них! Буфетчик же... пусть ищет себе какое-нибудь иное поприще! Или иной гадючник на худой конец, сказал себе я.

Буфетчики не могут жить без гадючников.

— Если думаете, что друг наш будет касаться вас перстами, налагать на вас руки и все прочее, так лучше об этом просто забудьте! Поняли? — крикнул Олег Олегович.

Людишки немного раздались, и мы прошли в парадное дома Олега Олеговича.

— Мы отдыхать будем! — строго сказал Олег Олегович. — Тихо стойте! А то прогоним!

В подвале Олега Олеговича стол был по-прежнему накрыт, он сделался даже наряднее. Появилась новая скатерть, да и разносолов прибавилось. Чувствовалась женская рука. Может быть, рука Нины Евтихиевны или еще какой-нибудь глупой, но расторопной бабы. На столе горела свеча. Должно быть, в мою честь. Я один — вот и свеча одна. А если б я был с сестрой, то и свечи, наверное, было бы две. Любит народ всякие там символы и метафоры.

Жизнь — всего лишь реестр (или перечень) подлых (и низкородных) метафор.

А еще стояли в стороне две керосиновые лампы. Но они не горели.

После съеденного яйца я оставил былую непреклонность. И даже спокойно позволил усадить себя за стол.

Мои провожатые тоже сели рядом. Олег Олегович сел по правую руку, Федор Григорьевич и Павел Фролович сели по левую.

Жалко, что их только трое. Жалко, что не двенадцать.

Я сидел и глядел на них неразоружившейся оппозицией.

Федор Григорьевич разлил вино по стаканам.

— За сестру! — сказал Федор Григорьевич.

— За сестру, за сестру! — зашумели Олег Олегович и Павел Фролович.

Некоторое время мужчины закусывали. Я сам тоже закусывал.

— Да, — шумно сопя, сказал Олег Олегович.

— Да, — так же сказал и Павел Фролович.

Глядя на них, я и сам засопел шумно. Ничего страшного: иногда можно сопеть шумно.

— Сестра вот есть не у каждого, — глубокомысленно заметил Федор Григорьевич.

Я подумал немного и согласился с ним: действительно, не у каждого.

Прочие мужички тоже согласились с ним.

Федор Григорьевич — умный человек. Раньше я думал, что только Олег Олегович — умный. Нет, умные люди есть на свете и помимо Олега Олеговича.

— А я в него сразу поверил, — сказал Федор Григорьевич.

— В нашего друга? — важно переспросил Павел Фролович. — Да, и я тоже сразу.

— Где ж это ты сразу? — усмехнулся Федор Григорьевич, бросив на меня заискивающий взгляд. — Ты ж целых минут пять сомневался.

— Пять минут не в счет, — отмахнулся Павел Фролович.

— Что вы тут заливаете! — осадил обоих Олег Олегович. — Когда я вам про него рассказал, так вы меня на смех подняли!

— Ну, положим, мне про него рассказал не ты, а Федя.

— Ну, Олег Олегович, — смущенно сказал Федор Григорьевич. — Кто старое помянет — тому глаз вон!

— Ты, Олег Олегович, поди, в него и сам не сразу поверил, — пошел в атаку Павел Фролович.

— Где ж не сразу! Когда я ему еще в гадючнике пива налил и угостил рыбой. При самой первой встрече.

— Ну, пиво не показатель, — возразил Федор Григорьевич.

— Рыба тем более, — добавил и Павел Фролович.

— Пивом я и сам всегда делюсь, когда вижу, что кто-нибудь его хочет, — сказал Федор Григорьевич.

Тут он снова налил всем вина.

Мы выпили вина. И снова засопели шумно.

— Ты все-таки пустой человек, Паша! — сказал Федор Григорьевич. — Пустой и коснелый. Будто волдырь.

— А ты, Федя, туп, как лемех! — вспыхнул тот.

— Оба вы хороши! — фыркнул Олег Олегович. — Что Федя, что Паша!

Я взглянул ни них всех взглядом, полным злых сорняков, бракованной продукции и всяческих чрезвычайных aberrаций.

В это время во мне нагнеталась досада, во мне множилось недовольство. Я от того даже сопеть перестал. Все трое показались мне теперь ничтожными, они показались мне зверями, всеядными и вездесущими, я не хотел быть среди этих троих. Мне надо было как-то притеснить их, измордовать, унижить — причем безотлагательно.

Передо мной стоял кетчуп. Лежал французский батон. Я оторвал кусок батона и плеснул на него кетчуп. Кетчуп смотрелся как кровь, батон смотрелся как снег.

— Кто из вас еще усомнится во мне и в сестре моей, тому я отдам этот кетчуп, — сказал я с некоторою краеугольностью.

И протянул батон всем троим одновременно.

А перед тем, как отдать, незаметно его преломил на три части.

Все трое потянулись и к батону, и к этому кетчупу.

Федор Григорьевич взялся за батон с кетчупом, и Павел Фролович тоже взялся. Олег Олегович тоже почти взялся, но вдруг, услышав мои слова, быстро отдернул руку. Тут и Павел Фролович расслышал и уронил свой кусок. Кетчупом вниз. И Федор Григорьевич тоже уронил. И тоже вниз кетчупом.

— Зачем же так? — укоризненно вздохнул Федор Григорьевич.

И Павел Фролович тоже вздохнул.

Олег Олегович расхохотался.

— Правильно! Так с ними и надо!

Я немного смутился. Я не ждал, что все выйдет так.

— Значит, ты считаешь, друг, — печально проговорил Федор Григорьевич, — что мы не достойны твоей сестры?

— Ишь ты! — снова хохотнул Олег Олегович. — Со свиным рылом — да захотели в калашную сутолоку!

— Да ведь у тебя у самого, Олег, отнюдь не лик Аполлона! — молвил и Павел Фролович.

— Лица моего попрошу не касаться! — досадливо возразил мой товарищ.

— Будем, будем касаться!

— Касаться, осязать и даже пальпировать!

Я откинулся на стену и зевнул. Я даже подумал, что они, быть может, теперь подерутся. Но нет, они не подрались.

Прямо гугеноты какие-то!

- Тебе ведь тоже протянули с кетчупом, — сказал и Федор Григорьевич.
- С кетчупом не с кетчупом, а я не дотронулся!
- Дотронулся или не дотронулся — неважно! Важно, что с кетчупом!
- Что-то больно разговорились! — неприязненно бросил Олег Олегович.
- Да, — жаропонижающе сказал я.

И тут мне вдруг явилось свиное рыло. С пастью, окаймленную кетчупом, будто губной помадой. Рыло это было как будто у одного из мужичков, одного из тех, с кем я сегодня выпивал и закусывал. Потом морда упала кетчупом вниз, мужички же раскричались, разнервничались. Сестра грустно смотрела на них откуда-то сверху и с востока. Кетчуп, кетчуп! И еще французская булка! Ах, отчего эта булка прикидывается французскою? Восток, и Франция, и мужички, и свинья щети-на — они все мучили меня, они глумились надо мной, дружба же и товарищество — лишь утиль, отбросы человека и дней их монотонных, обескураживающих, сказал я, и тут Олег Олегович — подлый Олег Олегович, неистовый мой товарищ — разбудил меня. У ног его стояла горящая керосинка.

- Что такое? — вскинулся я.
- Слышишь, как храпят?
- Кто?
- Паша с Федей, два... соискателя!
- Как храпят?
- Как лошади! Я из-за них спать не могу!
- Растолкай их!
- Я расталкиваю, они просыпаются на минуту, потом засыпают и храпят еще хуже!
- Как это хуже?
- Как свиньи.
- Ты тоже храпишь.
- Я храплю, как человек. Хотя, возможно, и громко. А они — как лошади или свиньи.

Олег Олегович подобрал с полу чей-то сапог и запустил им в Павла Фроловича и Федора Григорьевича. Но поскольку он хотел попасть и в того, и в другого одним сапогом, так, соответственно, не попал ни в одного из них. Я даже немного посетовал на этот проклятый релятивизм, заставляющий человека промахиваться мимо цели. Особливо кидающихся сапогами.

- Что ты предлагаешь? — спросил я.
- Прошу тебя, пойдём отсюда!
- Куда?
- Разве ты забыл? У нас есть котельная.
- Мы будем спать в котельной?
- Да. Я договарюсь.

Почему-то я не стал спорить.

Олег Олегович сложил в мешок кое-что из провизии, и мы вышли. Было начало ночи. Полусонная толпа у парадного тихо курлыккала, как голуби под застрехой.

Не успели мы пройти и пары шагов, как кто-то предо мной бухнулся на колени. Спервоначально я даже вздрогнул, но потом увидел, что это — бужетчик.

Я понялся. Тот на коленях шагнул в мою сторону. Правая сторона лица около глаз его была синей.

- Прости, отец родной! — глухо сказал бужетчик, обхватив мои ноги.
- Что тебе?
- Я неправ был, я зол был. Теперь мне объяснили — я понял!

- Осознал, значит, поганец? — злорадно спросил Олег Олегович.
- Осознал, — сокрушенно выдохнул буфетчик.
- Понял, что про сестру чушь нес? — сказал Олег Олегович.
- Понял.
- Есть сестра?
- Есть.
- И она — чудо?
- Вопиющее и несравненное, — дрожащим голосом сказал буфетчик.
- А еще какое?
- Умо-по-мра-чи-тельное... — с запинками отвечивал тот.
- Ладно, ступай! — сказал я.
- Прощаешь меня?
- Не хочется, но прощаю.

Тут он отполз назад, толпа сомкнулась за буфетчиком. Кажется, его кто-то толкнул, он упал, но после вскочил и побежал, суетливо и жалко припрыгивая, и вскоре скрылся из вида.

— Тихо! — сказал толпе мой товарищ. — Мы теперь уйдем — за нами не ходите, тут стойте! Мы вернемся.

Многие согласно закивали головами, и только шелест: «Друг, друг! Отец родной!..» — тихо разносился по-над головами толпившихся человек.

Возле котельной Олега Олеговича тоже были некоторые рассеянные людишки. Мы прошли мимо них, они едва встрепенулись. Олег Олегович приложил палец к губам — людишки даже не пикнули.

Я был сонным и осоловелым. Олег Олегович переговорил с оператором котельной, тот скоро собрался и ушел себе подобру-поздорову. Мой товарищ налил мне вина, я выпил, тут же растянулся на топчане и заснул. Олег Олегович лег на полу, прямо передо мной.

Еще даже не светало. Олег Олегович разбудил меня и сказал, что приходил подросток. Я подростка не видел, потому снова усомнился в его существовании. Правда, я видел его прежде. Вечером, там, на остановке троллейбуса. Хотя все равно это не доказательство. Даже если я что-то и вижу, это вовсе не доказывает его существование. Иногда я вижу и несуществующее.

Олег Олегович поднес мне чай в мутной стеклянной банке. Чай был горяч.

- Что? — спросил я.
- Сегодня съемки, — молвил мой товарищ.
- Какие еще съемки?
- Порнокино. Коза тебе говорила.
- Коза?
- Ну да, Коза!

Ах да... то есть тощая! Про тощую я будто бы даже забыл. Тощих много — трудно про всех помнить.

- И что же она говорила?
- Она говорила про съемки, а подросток сказал, что съемки сегодня.
- Не хочу съемок!

Тут дверь распахнулась, и вбежал подросток. Тот самый, что был на остановке троллейбуса.

— Пойдемте скорее! Там такое! — вскричал он.

Я все еще не верил в его существование, потому глядел на него с подозрением.

Как если бы увидел бестелесного духа.

— Чай не попили! — досадливо крикнул Олег Олегович, но стал собираться проворно. В отличие от меня он принимал подростка и все его сообщения всерьез.

Он запер котельную на ключ, и мы втроем шагнули в холодную предутреннюю просинь.

Возле дома Олега Олеговича — а спешили мы именно туда — столпотворение и мешанина были больше обычных. Здесь еще стояли машины — две пожарных, полицейская и «скорая помощь». Людишки были в некотором отдалении, от дома их отгоняли полицаи. Пахло дымом. Но огня уже не наблюдалось. Выгорели все окна в доме, снизу и доверху, и, кажется, началось все с подвала. В доме обвалились кровля и перекрытия.

Пред нами расступились. Нина Евтихиевна с мокрыми от слез глазами тихо кивнула нам.

— Это — трагедия! — шепнула она.

— Вы только ушли, и тут вдруг... как полыхнет! — прибавила некоторая экзальтированная мадам.

— Столб огня! — крикнул подросток. — Я сам видел!

— Какой столб? — спросил Олег Олегович. Он взирал на все происходящее отрешенно, как какое-то несуразное берлускони.

— До неба... ну, с этот дом точно!

Тут прямо через толпу пошел изможденный пожарный в робе, с закопченным лицом. Все ринулись к нему.

— Что произошло? Почему так горело?

— Разбираться надо. Может, газовую трубу прорвало! — недовольно бросил тот.

— Там не было газа, — кротко молвил Олег Олегович.

— Может, горючее хранили.

— И горючего не было, — сказал мой товарищ.

— А ты что за знаток такой, что все знаешь? — в сердцах прикрикнул пожарный.

— А все-таки? — взвизгнула тетка. — Горело как порох, буквально!

— Да что вы все знаете? — махнул рукой огнеборец. — Сейчас бывают такие пожары, что непонятно даже, чему там гореть! То ли газ из-под земли прорывается, то ли еще что!

— Откуда под землей газ? — крикнул еще какой-то сведущий старикашка.

— Может, метан! — ответили тому. — Поди, на болоте город стоит!

— Или адский огонь прорывается! — сказал еще кто-то.

Пожарный пошел своей дорогой.

Адский огонь, для чего бы теперь прорываться адскому огню? Может, его и во все не существует!

— Там и адского огня не было, — сказал Олег Олегович.

Откуда он может знать? Его ведь там не было. Не огня — Олега Олеговича.

Тут снова подвернулась скорбная Нина Евтихиевна.

— Столб весь такой белый! — воскликнула она. — Как от магна. Подвал озарился, и вдруг в окошке лицо Паши мелькнуло. Отчаянное такое, он простирал к нам руки: спасите, мол, спасите меня! Мелькнуло и сразу исчезло. А что мы могли сделать? А потом так же и лицо Феди мелькнуло.

— А еще у Паши одного глаза не было, пустая глазница... — молвил какой-то мужичок.

— Не было, — согласно вздохнула Нина Евтихиевна.

— А у Феди — другого, — прибавил тот же мужичок.

— Правого и левого.

— На двоих — два глаза...

— Может, символ какой-то?

— Вас на подня нельзя оставить одних, — сказал еще кто-то сзади. — Непременно что-нибудь учудите!

Я обернулся. Там была тощая. Неподалеку маячил микроавтобус.

— Коза! — радостно сказал Олег Олегович. И полез целоваться с тощей.

— Потаскун старый, — парировала она.

Толпа настороженно взирала за этими целовальниками.

Я посмотрел мимо тощей и целоваться с ней не полез. С чего бы мне целоваться со всякими тощими?!

— Тут такое... — бросил Олег Олегович. — Пряма «чудны дела твои, Господи!»

— Я вижу, — молвила тощая.

— Жалко, гадючника больше нет, — сказал еще Олег Олегович. — А то бы теперь заглянули.

— Какой еще гадючник? У нас сейчас съемки!

— Ах да, я забыл.

— Непростительная забывчивость для без пяти минут заслуженного артиста, — пробормотала тощая и отчего-то вцепилась в мой рукав.

— Да я-то ничего, а вот наш друг сомневается, — сказал еще тот.

Тощая потащила меня к автобусу. Я хотел было упереться и даже высвободить рукав, но отчего-то не уперся и не высвободил. Олег Олегович сзади тоже подталкивал меня.

Мой товарищ — предатель! Он предал меня тощей. Он предал меня этому миру, что теперь все больше захватывает и обволакивает меня. Прямо как апартеид какой-нибудь. Олег Олегович же получает от того дивиденды.

Я влез в автобус и тут же заскучал. Я всегда скучаю в автобусах.

Моя провожатая толкнула меня, и я плюхнулся на сиденье. Она тут же плюхнулась рядом и вдруг незаметно сжала мою ладонь своей ладонью.

Вы поняли, что она хотела этим сказать? Лично я ничего не понял.

— Порнокино! — бросила тощая.

Олег Олегович уселся недалеко от нас.

— Где вы теперь обитать-то будете, Олег Олегович? — меланхолично полюбопытствовала тощая.

— После того, как адский пламень попалил мое убежище, так теперь и ума не приложу! — отвечивал тот.

Так все-таки это был адский пламень? Олега Олеговича не поймешь: то он отрицает адский пламень, то сам же его признает.

Впрочем, нельзя разве что-то признавать и опровергать в одно и то же время?!

По пути к нам в автобус подсади Селедочка и мешотчатый прыгун.

Тощая пересела к Селедочке, они вдвоем стали обсуждать что-то и хохотали на весь автобус. Рядом со мной на крючке висел пакет, который постоянно меня задевал.

— Кстати, твоя одежда! — бросила тощая.

Одежда? Я разодрал пакет и вправду увидел там свою одежду, висящую на плечиках, одежда была сухой и чистой. Я хотел было сразу ее надеть.

— Потом-потом, — усмешливо сказала мне женщина.

— Мы едем в Обухово, — сказал кто-то в автобусе.

Пока мы ехали, Олег Олегович заговаривал то с одним, то с другим. Нес какую-то чушь, причем громко и бесцеремонно. Прежде он таким не был. Может, он думает, что *без подвала* — это то же самое, что и *без сестры*? Нет, напрасно он так думает. Я-то лично никогда не говорю громко и бесцеремонно. Иногда, возможно, я громко и бесцеремонно думаю.

«Надо испить до дна чашу безвестности, безнадежности, несуществования!» — сказал себе я. Скоро много наплодится новых людей, тех, что не любят ни народ свой, ни биологический вид свой, ни время свое, ни мир свой, ни биссектрису

свою, ни угол наклона, ни существование свое, ни обстоятельства! Это будет восхитительный новый мир мироненавистников. Истинно говорю вам. Снова сказал себе я. Тут мы, кстати, и приехали.

Порнокино

Дрянной, заброшенный заводик, там таких много. Ворота нам открыл сторож. В корпусах были побиты стекла, в один из тех, самый большой, самый запустелый, мы и направили стопы. Я шел, горделиво прижимая к себе пакет с чистой одеждой.

Цех оказался открыт, там уж был режиссер, там стояли прожекторы, и вообще — кипела работа. Станков здесь осталось всего несколько, в дальнем конце виднелась конторка за стеклом, висел кран под потолком и еще всякие веревки (каковые повешали киношники). Когда мы вошли, сзади нас в цех въехали два погрузчика и, упруго выпустив в атмосферу клуб-другой сизоватого дыма, замерли неподалеку от входа.

— Порнокино! — еще издали крикнул нам режиссер. — Вы его любите? Вы готовы в нем сниматься?

Все одобрительно погудели.

Тут вдруг кран над головами поехал в одну сторону, а потом обратно. И веревки тоже закачались туда и обратно. Выглядело это все массивно, внушительно.

Я пошел себе потихоньку в сторону. За станки. Чтоб спокойно переодеться. Снял с себя верхнюю одежду, потом среднюю, так понемногу и до нижней дошел. Остался я трусах и в берете. Как-то так увлекся — ничего по сторонам не замечал...

— Вот и отлично, — сказал кто-то. — Очень вовремя.

Я оглянулся — мать честная! Все были голыми (или почти голыми), даже режиссер. Они неслышно приблизились и окружили меня. Селечка была в одних трусиках и выглядела сногшибательно! Тощая была совершенно голой, выглядела чуть хуже Селечки, но все равно тоже здорово! Голым был и мешотчатый прыгун, стоял, ничуть не смущаясь, и внимательно слушал, что вещал режиссер (этот был в одних плавках). Олег Олегович стоял в подшлемнике; там, между ног, у него все висело, как те веревки, что только что раскачивались с краном вместе.

Я хотел было прикрыться одеждой. Но у меня отобрали одежду и бросили на пол. Их собственные одежды также были разбросаны по полу.

— Я берет не сниму! — угрожающе выкрикнул я.

— Да, так, — сказал режиссер, критически нас разглядывая, меня да Олега Олеговича. — Берет и подшлемник! И ничего больше!

Тут подошла тощая и ловко стянула с меня трусы.

Я остался в чем мать родила. Не знаю, правда, родила ли она меня в берете. Но в остальном — точно! Вернее, без остального.

Тут к нам подошел какой-то голый дядька с длинными густыми волосами, собранными сзади в косицу.

— Я Гнилоземов Кирилл, балетмейстер, — сказал он. — Я буду сегодня учить вас ходить.

— А, — сказал я.

Ходить я вроде умею. Чего меня учить этому?!

— Вы его слушайте, — сказал режиссер специально для нас.

Балетмейстер показал, как нам надо ходить. Он прошелся сам, походка его была особливой, кучерявой, замысловатой, твердокаменной и уж Бог знает какой еще.

Тощая нас будто заманивала. Она отступала от Гнилоземова. А потом и от нас.

— Раз, два, три, четыре, пять... шесть шагов, — считал он, выстукая вперед.

Стремясь за Лизаветой Вилевной. Потом он начинал отступать, той же особой походкой, тут уж тощая, будто одумавшись, устремлялась за ним. А потом и за нами с Олегом Олеговичем. А после игра повторилась.

И снова продолжался счет до шести, тут уж вступили мы с моим товарищем тоже особливими походками. Как учил нас Гнилоземов. Поначалу тощая кокетничала и завлекала нас, когда же мы ею пренебрегали, она бросалась за нами следом. А тут и Селедочка с мешотчатым прыгуном стали увиваться подле нас (ах, как Селедочка была хороша! Прыгун же — мускулист, самоуверен, обаятелен!). Оба они, как лианы, вились вокруг нас. Вдруг и кран над головами у нас задвигался, и веревки ожили тоже, и погрузчики поехали вперед и назад, выпуская клубы дыма, Селедочка же, и прыгун, и еще другие голые люди сотрясали у нас над головами венками и бубнами, и еще, может быть, маракасами. А тут и подлые птицы — голуби — полетели, много-много подлых сих птиц! Их тоже киношники привезли с собой. «Мотор!» — негромко сказал режиссер. Я не останавливался, и никто не останавливался, все ходили взад и вперед, подлые птицы подличали, то есть — летали, но летали как-то подло, должно быть, именно это от них и требовалось.

Мы ходили вперед и назад раз восемь, наверное. А может, сорок два — я не считал. Потом мы стали ползать. Нам снова показал это Гнилоземов. Ползла по-пластунски голая тощая, сзади же ползли мы с Олегом Олеговичем. Тоже по-пластунски. А может, и не по-пластунски. Хитроумно ползли мы. Особливо. А потом отползли назад тоже хитроумно. Еще особой. И снова были голуби и маракасы, венки и бубны, кран и погрузчики, дым и струна, лопнувшая в дымном мареве, гадкая струна, предательская, лживая, своевольная, и только мы одни с Олегом Олеговичем ползли. Нет, Селедочка тоже ползла, и прыгун полз, и снова нас снимали. Хитроумно так снимали. Особливо. Как только киношники умеют снимать.

Много еще в этот сделалось разного срама. Я ложился сверху на тощую. И Олег Олегович тоже ложился. Тьфу, тьфу! И тощая ложилась на нас. И все это снимали, снимали.

Дело было уже к вечеру, когда все закончилось.

Мы наконец оделись. Я — в свою старую одежду.

Тощая дала нам с Олегом Олеговичем денег за съемки. Олег Олегович выглядел счастливым (из-за денег, конечно), даже напевал. Напевал что-то ужасно фальшивое, слуха у него, кажется, нет вовсе. Впрочем, у меня тоже.

Поэтому, может, и не фальшивое.

— Сегодня меня не замечают самым категорическим образом, — хмыкнула женщина. Намекая в моем направлении.

Я промолчал. С одной стороны, где же это я ее не замечал? Я целый день сегодня сначала ходил за ней, а потом ползал (и даже лежал на ней). С другой же стороны, а что мне, собственно, ее замечать? Мало ли вообще на свете тощих! Всех замечать нет никакой возможности.

— Здесь удивительная органика, потрясающая естественность, — ввернул вдруг режиссер. — И еще столько тоски и беспорядка, что ком подступает к горлу! В наше время такое нечасто увидишь! — и потрепал меня по плечу.

— Да-да, он таков, — молвил Олег Олегович.

— Мои друзья с телевидения должны быть мне благодарны за такой подарок.

— С телевидения? — встрепенулся я.

— Петру Петровичу привет от меня! — бросил Плачевный и пошел себе восвояси.

«Какому еще Петру Петровичу?» — спросил себя я. Петров Петровицей я никаких не ведаю.

— А про Макухина не забыли? — спросила Лизавета Вилевна.

— Макухин! — хлопнул себя по лбу Олег Олегович. — Когда?

— Сегодня, — снисходительно молвила тощя.

— Мы вытрясем из него всю душу! — потер руками мой товарищ.

Через пять минут мы сидели в автобусе, еще через пять поехали.

Вышли мы, кажется, недалеко от очень большого вокзала. Людешки здесь были так себе! Дрянь какая-то! Смотреть на них не хотелось.

— Теперь в самый раз будет послушать Макухиных, — сказала вдруг Лизавета Вилевна и ловко сплюнула на асфальт.

В тощей все же немало мальчишеского. И когда она одета, и когда она голая — это без разницы. В сущности, этим-то мальчишеским она и берет. И еще она — прохиндейка. Олег Олегович — коллаборационист, тощя — прохиндейка, я же — в одной компании с прохиндейкой и коллаборационистом, такова моя участь! Но я вырвусь, высвобожусь из этой компании — прохиндейско-коллаборационистской, это я обещаю!

Проходившая мимо девица, долголицая, с зубами, несколько напоминавшими конские, вдруг вперилась в меня, задержалась и будто бы даже крякнула.

— Ой! — сказала она.

Ну, «ой» так «ой» — мало ли как люди разговаривают.

— А я вас узнала, — молвила глупая девица. — Это ж вы сестру ищите!

Тут я издал какую-то мелюзгу или междометие: то ли «э», то ли «к», то ли вообще «рп» — последнее так очень даже вероятно. А может, что-то среднее между тем, другим и еще третьим.

— Это не он, — бросила тощя. Голос ее был полон яда кураре. Или — стрихнина. Или марганцовокислого калия.

— Это я ее ищу, — нарочито сказал Олег Олегович.

— Да, ладно! — отмахнулась девица. И снова вперилась в меня. — А у меня, как я в тебя поверила, так тоже сестра пропала. И я ее теперь ищу.

— Получается? — спросила тощя.

— Не очень, — созналась девица.

— Ну, ты ищи, ищи! — сказала Лизавета Вилевна.

— Сестер искать — тоже уметь надо! — важно сказал Олег Олегович.

— Да, — сказал я.

Не понимаю, для чего всякие там встречные и поперечные рассказывают мне про своих сестер. Разве мою сестру и их сестер можно сравнивать? Удивительно наглые попадают люди!

Тощя завела нас в какой-то дом на проспекте. Потом мы поднимались куда-то ужасно высоко — то ли на второй этаж, то ли на седьмой, этого я не заметил.

Залец, где должны были выступать Макухины, оказался невелик.

Едва мы вошли, так тощя тут же с кем-то расцеловалась. Потом еще с кем-то. Пока она целовалась, мы с Олегом Олеговичем водрузились во втором ряду.

Олег Олегович восседал важно. Я же весь скрючился и сидел напряженно.

— А ведь я когда-то хотел на ней жениться, — сказал Олег Олегович.

— На ком?

— На Козе, — ответил мой товарищ.

— А чего на ней жениться? — мрачно удивился я.

— А чего вообще люди женятся! — усмехнулся Олег Олегович. — Я и сейчас на ней иногда жениться хочу.

«Ну и ну!» — подумал я. Вслух же ничего не сказал.

Тут к нам присоединилась тощя.

Я на нее теперь взглянул по-особенному. Как на Козу (в некотором смысле, конечно), на которой хотел жениться Олег Олегович.

— А тебя, — сказала она мне, — мои друзья уже знают. Знают, что ты сестру

ищешь, что вокруг тебя толпы собираются. А ведь тебя даже телевидение не снимало.

— Какое еще телевидение! — недовольно сказал я.

В это мгновение зрители вяло захлопали.

Мы посидели еще.

На сцену вышел какой-то плюгавенький, пошленький, рыженький — явно один из Макухиных.

Он сел на табуреточку и посмотрел на нас с полной осоловелостью и дурацким духом. Мы ему даже хлопать не стали. Один Макухин в поле не воин. Для концерта требовались прочие Макухины. А их-то как раз и не было.

Чтоб убить время, я поскреб у себя под беретом. Олег Олегович — под подшлемником. Тощая тоже хотела где-то у себя поскрести, но удержалась. Дурные привычки легко переходят с человека на человека. С паука на паука, с кобры на кобру или с мухи на муху, полагаю, все-таки не так.

Тут на сцену вышел какой-то черненький, и за ним следом еще один.

— Оскар, — указала Лизавета Вилевна на рыженького. — Илья, — ткнула она пальцем в сторону первого черненького. — А это наконец ваш Додька! — увесисто пригвоздила она другого.

— Вы почему знаете, дорогая Коза? — спросил Олег Олегович.

— Друзья сказали.

Рыженький (Оскар) был таков, как и все вообще на свете рыженькие, то есть — плонуть да растереть. Черненький Илья был статный красавец, широкоплечий и гладколиций. Додька же... какой-то весь корявенький, долгорукий, щуплый, беспочвенный, обезьяноподобный, хотя — выразительный и артистичный. Артистичными были, пожалуй, все трое.

— Где вас черт носит? — громко полюбопытствовал Оскар у братьев.

— Заняты были, — отмахнулся Илья.

— Зрители ждут.

— А ты на что? — сказал Додька.

— А гонорар поровну делить станем?

— Не ной — затрахал! — беспардонно ответил Илья.

— Лучше концерт начинай! — прибавил Давид.

Мы переглянулись. Зрители побряхтывали да похмыкивали.

— Какой еще концерт? — спросил Оскар.

— Дурака из себя не строй! — посоветовал статный красавец Илья.

— Дураки здесь вы двое! — огрызнулся Оскар.

Но к микрофону пошел. Вернее, посеменял. Он вцепился в микрофонную стойку, будто бы мог упасть. Он препотешно вращал глазами.

— А что за концерт сегодня? — вдруг спросил он у братьев.

— А звать тебя как, ты не забыл?! — гаркнул Илья.

— Оскарик, — присюсюкивая, молвил рыженький Макухин.

Тут к рыженькому подошел раздраженный Додька и дал тому изрядный братский поджопник. Оскарик ухватился за место ушиба и, высоко подбрасывая колени, пробежал по сцене два круга.

— Может, нам выкинуть его и самим концерт провести? — спросил Додька.

— Не выйдет, — возразил Илья.

— Почему?

— Я зрителей не люблю.

— Как не любишь?

— Так. Я плюю на них.

Он вдруг действительно плюнул на нас. Набрал полный рот слюны и... как харк-

нет! Я невольно отдернулся, мне показалось, что он метит точно в меня. Возможно, и другим это показалось.

Впрочем, плевка никакого не было. Слюны летящей не было. Все оказалось игрой, имитацией.

Зрителям, кажется, нравилась игра Макухиных, зрители стали похохатывать.

— Понял, придурок, как надо? — бросил Додька рыженькому своему брату Оскарику, явно обнадеженный их успехами.

Тут Оскарик бекнул. Как барашек на поле бекает, так бекнул Оскарик.

Черт его знает, отчего бекают барашки! Я бы на их месте нипочем не стал бекать.

— Нет, это просто клинический гундос, — молвил Илья.

Они были наглыми, эти Макухины. Наглыми и куражливыми. Они не боялись зрителей, они играли с теми, как хотели. Быть может, импровизировали, но, может, и нет.

Наверное, я осунулся, глядячи на макухинский концерт. Я не понимал этого концерта, я его не хотел. Тощая взирала на все непроницаемо. Олег Олегович же сопел.

Олег Олегович часто сопит.

Микрофоном завладел и Додька.

— Я недавно жил на квартире, — меланхолично начал он. — То есть снимал. Там можно было пройти из прихожей на кухню — дверной проем, самой двери не было. Однажды, стоя в прихожей, я увидел в проеме в верхнем левом углу паутину. Паутина была пушистой и светилась на солнце. Где-то там притаился и паучок...

— Паучок, — пискнул Оскарик.

— Паук, — гаркнул грубый Илья.

— Потому-то я паутину не тронул. Из-за воздуха, из-за солнца. Потом паука стало два. Паутина появилась в верхнем правом углу дверного проема. Получилась паутиная арка. Пауки ловили своих мух и мошек и плели паутину вниз. Я ставил на пол блюдечко с молоком или с водой. Иногда наливал туда немного водки. Пьяные паучки делались веселыми и плели паутины, не покладая лапок. Скоро в дверной проем можно было проходить, только пригибаясь. Потом — проползать. Я готовил в комнате, кухня для меня была отрезана пауками. Паутина была вроде колючей проволоки. Только не колючая, а липкая. А потом появился хозяин и вышиб меня из квартиры. За паутину, — вдруг решительно завершил рассказ Давид.

— Вивальди, — сказал Илья. — «Времена года», «Лето», адажио.

Братья как-то сразу же подобрались, даже посерьезнели.

Оскарлик выбежал вперед и тихо-тихо, высоко-высоко, сбивчивым фальцетом запел жалостливую мелодию. Братья еще тише вторили ему низкими голосами. Будто капала вода, будто дрожали листья, так вторили братья.

Оскарлик вывел пару тоскливых фраз. Илья и Давид ответно пророкотали на басах. Оскарлик пропел еще тоскливее. Прочие Макухины ответствовали ему совсем уж грозно.

Наконец Оскарикова тягомотина закончилась, Макухины иронически поклонились, зрители увлеченно захолопали.

— Какие-то прямо беспощадные понты! — озадаченно сказал Олег Олегович по поводу музыкального номера.

— Это еще ничего, — пожала плечами наша соседка.

— Однажды... — начал Илья. — Я был еще мальчиком...

— Покомичнее! — гаркнул вдруг какой-то дядька с четвертого ряда.

Илья продолжил несколько громче.

— У меня по руке ползла гусеница. Я не люблю гусениц и хотел стряхнуть ее с

себя. А она ползла себе, потом слизнула с моей руки что-то. И вдруг она умерла. И я тогда подумал: на коже всякого человека может быть такое — слизнешь это и умрешь. И даже он сам может слизнуть что-то с себя и умереть. Потому я никогда с себя ничего не слизываю. Но, может, кто-то хочет что-нибудь слизнуть у меня с руки? Нет, не для того, чтобы умереть, а просто для интереса.

Дядька, тот, что недавно гаркал, теперь хохотал и хлопал в ладоши.

Хохотали и другие. Захохотала вдруг и тощая, не знаю отчего. Звонко и либерально. После тощей захохотал и Олег Олегович. Я взглянул на них недоуменно.

Олег Олегович похож на какого-то сельскохозяйственного кабана, подумал я.

Тощая же ни на какого кабана не похожа. Она похожа на какую-нибудь другую зверюшку. Может, на выхухоль.

— Сен-Санс, «Умиравший лебедь»! — снова пискнул Оскаррик.

Зрители зашевелились. Они знали этого макухинского умирающего лебедя.

Музыка была жалостливая. Оскаррик играл на скрипке, Илья — на саксофоне. Или, может, наоборот, я не знаю. Еще я стану ваши скрипки от ваших саксофонов отличать! И вашего Оскаррика от вашего Ильи! У Додьки же было что-то вроде небольшой белой сумки на боку, чуть выше его джинсов. Додька потянул за шнурок, сумка развернулась, она опоясала Додьку и вдруг превратилась в белую объемистую юбочку. Нет, в пачку. В таких снуют балерины.

Додька стал на цыпочки. Или, как это называется, на пуанты. Но тут же свалился с пуантов (или с цыпочек). Тогда снова стал, заломил руки над головой и пошел себе, пошел! Как настоящая балерина.

(Вот ведь свинство-то! Додька на пуантах!)

Оскаррик и Илья пиликали и дудели и одновременно наблюдали за Додькой.

— Лебедь, — бросил Илья.

— Пока не умирающий, — прибавил Оскаррик.

— Лебедушка! — весело прикрикнул кто-то из зала.

Додька на цыпочках прошел туда, потом сюда, руки же он теперь перестал заламывать, он махал ими теперь, как лебедь крыльями. Если не смотреть на него, не видеть, что он — корявый Додька Макухин, так могло на миг показаться, что он и вправду лебедь.

Потом он вдруг упал на задницу и стал кататься по сцене, руками же все махал. Потом он снова вскочил, Илья и Оскаррик все дудели да пиликали, музыка, хоть и жалостливая, стала мне казаться какою-то бесконечной. Додька же заплясал пуще прежнего. Он теперь прыгал, в длину, и в высоту, и в стороны, и даже вроде пытался подлетывать. Но куда ему подлетывать, ведь он же не птица, в самом деле. Рожденный Додькой летать не сможет, сколько бы он ни махал клешнями, изображая, что те — лебединые крылья.

— Не помирает, не помирает! — громко посетовал Оскаррик.

Кажется, он уж приутомился дудеть. Или пиликать.

Илья, не оставляя своего пиликания (или дудения), подкрался сзади к Додьке, закатившему в увлечении свои бесстыжие глаза, и сильно пнул того в бедро. Додька оступился на мгновение, но тут же выправился и пошел своим лебединым шагом в полном артистическом самозабвении.

— Помирай уже! — зло сказал Илья.

— Помирай, помирай! — поддержали того из зала.

— Сдохни! — крикнул Оскаррик и треснул брата своей скрипкой (нет, скорее, все-таки саксофоном — в общем, чем-то треснул).

Додька отвечал на то искренним и непредвзятым, лебединым подскоком. Еще бы чуть-чуть — и он натурально взлетел.

Но это совершенно не входило в планы братьев.

Это же не входило и в планы зрителей.

— Додька, сдохни! — кричали они.

— Что это! — вскричала вдруг какая-то набитая дура с восьмого ряда. — Это глумление над искусством!

В зале захохотали. Прежде хохотали над Макухиными, теперь захохотали и над этой возмущенной душой.

Впрочем, возможно, все было подстроено.

Дуру, полагаю, не так уж трудно подстроить, зато эффект от подстроенной дуры бывает ошеломляющим.

Треснул Додьку своим инструментом и другой брат. Инструмент раскололся, другой брат, увидев это, пришел в совершенную ярость, стал колотить Додьку обломком, потом швырнул инструмент на пол и совсем растоптал ногами. Спереди сцены стояли какие-то электрические ящики — усилители или динамики, эти ящики стали хрипеть (впрочем, мелодия, та самая — жалостливая — все еще продолжалась). Один из братьев подскочил к ящикам и стал ногами колотить и их. Некий ящик полетел в первый ряд. Но не долетел и повис на проводе. Братьям же теперь было не до ящиков.

Они повалили Додьку и стали натурально избивать его.

Вдруг в промежутке сей потасовки высунулось крыло (то есть, пардон, рука) Додьки: тот, растоптанный да униженный, все еще норовил быть лебедем.

Я видел Додькину кровь.

Додька-лебедь хрипел, братья катались по Додьке, наконец тот затих, успокоились и братья. Они поднялись на ноги, растрепанные, тяжело дышащие, и поклонились зрителям.

— Лебедушка сдохла, — объявил Илья.

— Совсем окочурилась, — прибавил Оскаррик.

Зрители ответили артистам стоном веселого восторга.

— Пошли! — вдруг подхватилась тощая.

Олег Олегович бурчал что-то невразумительное. Он не понимал, что у тощей на уме и для чего мы вышли из зала.

— Служебный вход. Во дворе, — бросила тощая.

Из зала доносился жидковатый гул аплодисментов.

Мы стали спускаться по лестнице.

— Зачем мы уходим? — засомневался я.

— Надо, — бросила наша провожатая.

На проспекте она затащила нас под арку и дальше во двор. Тут мы стали ждать. Тощая закурила, Олег Олегович спросил у нее сигарету и закурил тоже. Я глядел на них обоих каким-то брезгливым бергамотом.

Ждали мы минуты три, наверное. Или — восемнадцать. Из дома, галдя и пересмеиваясь, выходили те, кто сидел с нами в зале.

И тут из дома вышел Додька.

Никакой крови на Додьке не было, да и сам он оказался вовсе не таким, каким выглядел на сцене. В лице его не было ничего шутовского, скоморошьего, птичьего, напротив: проступал даже некоторый неожиданный трагизм.

Додька закурил, накинул капюшон на чернявую свою голову и шагнул мимо нас.

Разрыв

— Давид, — негромко сказала тощая.

— Нет, это не я, — мгновенно отозвался тот.

- Ты, ты! Мы ж видим, — сказал Олег Олегович.
- Мы ваши поклонники, Давид! Замечательное выступление!
- Да-да, я передам Додику, — бросил тот. И собрался уходить.
- А сестру его знаешь? — буркнул Олег Олегович.
- Что еще за сестру?
- Его сестру.
- А кто он? — пожал плечами Давид.
- Ну да, конечно. Теперь мы будем говорить: «А кто он?» — сварливо сказал Олег Олегович.
- Давид, — вмешалась тощая. — Может, это звучит странно, но мы хотели узнать: имя Вера вам о чем-нибудь говорит?
- Не знаю никакой Веры, — бросил Додька, улепетывая от нас под арку.
- Сочкина Вера, — сказал Олег Олегович.
- Хоть Сочкина, хоть Носочкина!
- Никакая не Носочкина! — крикнул я. Носочкину я не знал. Мне и дела до нее не было.
- Да, не Носочкина, — весомо сказал мой товарищ.
- Мысль о Носочкиной, кажется, и для него была нестерпима.
- Или все-таки он был готов примириться и с Носочкиной?
- Впрочем, он — коллаборационист, как мы уже выяснили, а эта публика готова примириться с чем угодно.
- Давид, давайте поговорим! — увещевала Додьку Лизавета Вилевна. Но тот уж был на проспекте. Он юркнул в народишко, во всю эту дрянь, пакость и гангрену, что заполняла проспект. Народ! Тьфу-тьфу-тьфу! Что может быть гадостней!
- За ним! — шепнула нам тощая. И шмыгнула, как какая-то гончая псина.
- Мы устремились за Додькой.
- Хотя зачем, собственно? Чтоб говорить с ним о Носочкиной? О Носочкиной я говорить не хотел.
- Мы разделились, шли, будто шпионы. Я шел по одной стороне тротуара, тощая — по другой. Олег Олегович хотел и вовсе перебежать на другую сторону проспекта и идти там, но тут Додька повернул в другую улицу, и Олегу Олеговичу пришлось отказаться от его плана.
- Додька обернулся по дороге и прибавил шаг.
- На новой улице незаметно преследовать Додьку было сложнее, и мы приотстали. Здесь ходил трамвай и ехало множество автомобилей.
- Додька шмыгнул под арку одного дома. Мы тоже туда шмыгнули.
- Додька щетинисто обернулся и крикнул с угрозой:
- Что вы за мной таскаетесь?!
- Давид, — увещевающее сказала тощая, — мы только хотели узнать у вас что-нибудь о Вере Сочкиной.
- Да-да, о Вере, — важно подтвердил Олег Олегович.
- Да пошли вы вместе с вашей Веркой! — крикнул вдруг Давид. — С...!
- Этого уж я не мог выдержать. Я с силой толкнул Додьку, тот отлетел на стену и ударился головой.
- Додька ойкнул, стиснул зубы, тут же размахнулся, я думал, что он мне вмажет ответно, но Додька — дурак! — отчего-то вмазал Олегу Олеговичу. Он тоже ойкнул, оступился и рухнул на бок.
- Додька рванулся в сторону парадного. Тощая устремилась за Додькой. Она ухватила того за рукав.
- Додька распахнул дверь.
- Давид, — шептала Лизавета Вилевна, — мы не хотим драться и вообще не

сделаем ничего плохого! Просто скажите, где Вера! Где она, с кем — скажите хоть что-то!

— Пусти! — крикнул Додька, протискиваясь в парадное.

Он с силой потянул дверь, тощая отдернула руку, иначе Додька бы ее придавил. Дверь захлопнулась, щелкнуло запорное устройство, и мы все трое остались, можно сказать, с носом.

И такая меня вдруг оттого охватила обида, что у меня даже сердце остановилось. Проклятый Додька! Он не только о моей сестре выразился невозможно и недостойно, но и еще по его, Додькиной, милости я остался с носом. В глазах у меня потемнело, я стал ловить ртом воздух, какой-то птицеголовый штокхаузен зазвенел у меня в ушах, в глазах же мелькнуло какое-то нелепое, несуразное, тонконогое пикассо, я подумал, что еще немного — и я умру, и тогда в ярости и бессилии треснул кулаком в дверь, подле которой стоял, и тут сердце мое стало биться сызнова.

Должно быть, на мне лица не было.

Тощая смотрела на меня испуганно.

И тут во мне что-то оборвалось. Где-то между сердцем и щиколоткой. Или между подмышкой и темечком.

— Идите! — глухо сказал я.

— Что? — сказал Олег Олегович.

— Идите! Оба. Совсем. Навсегда, — выпалил я. Медленно как-то так выпалил, с чудовишной, нестерпимой расстановкой. Но зато и с непреклонностью.

— Да пошел ты! — бросила вдруг тощая. Повернулась и пошла прочь со двора. Задержалась на мгновение и процедила:

— Я думала... мы сегодня... а ты!..

Товарищ мой захлопотал, заметался. Бросился было за женщиной, потом вернулся, потом снова бросился.

— Что ты! — забормотал он. — Лиза, Лизанька!

— Беги за своей Лизанькой! — сказал ему я. — Чтоб я тебя больше не видел! От вас никакого толка!

Олег Олегович сгорбился, опустил плечи, разом даже как-то постарел и пошел вслед за тощей.

— Лизанька, я провожу, — пробормотал Олег Олегович совсем уж потерянно.

Они оба исчезли на улице, где несметными потоками разъезжали автомобили, подлые колымаги, коими вы все, люди, так гордитесь, когда обладаете оными.

Теперь моя жизнь переменится. Теперь у меня не будет котельной Олега Олеговича (не говоря уж о его подвале, но подвала теперь вовсе не было — подвал сгорел).

Зато я буду искать сестру в одиночестве. Я не стану делиться ни своими горестями, ни своей радостью ни с тощей, ни с Олегом Олеговичем, да и вообще ни с кем. А зато когда я найду сестру, встречу случайно на улице или отыщу ее в результате какой-нибудь хитроумной логической комбинации, когда свершится это чудо, тогда у меня появятся ритм, стиль, смысл, язык, напор, поступь, осанка, алебастр, купорос, пиетет, глубина, самомнение. Я более не стану смотреть на человека ни Хаубенштоком-Рамати, ни Бойлем-Мариоттом, ни Немировичем-Данченко.

А чего тощая от меня хотела? Что она имела в виду, когда говорила: «Я думала... мы сегодня...»? Может, она надеялась, что я снова поеду к ней? Что я буду раздеваться и ходить перед ней голый? Что я лягу на нее или она ляжет на меня, и мы будем вместе кричать, как кричали в тот раз? А хочу ли я, чтобы это снова произошло? Возможно, и да. Но это не важно. Вернее, важно, но не важнее сестры. Может, если бы я мог объяснить это ей, то она бы не так обозлилась.

В Додькином дворе два парадного, Додькино и еще одно. Не Додькино меня, ра-

зумеется, не интересовало. Интересовало Додькино. Я решил, я теперь я буду жить на Додькиной лестнице.

Я буду терпелив, Додька станет ходить мимо меня, в конце концов он сжалится и расскажет мне все.

Я стоял и смотрел на дверь Додькиного парадного.

И тут из нее вышел... сам Додька. Он был в куртке, в спортивных тапках и спортивных штанах. И еще на поводке он вел гнусного собачьего кабыздоха.

Увидев меня, Додька вздрогнул. Хотел было повернуть обратно, но удержался.

— А-а, это ты, троглодит! — нагло сказал он, заметив отсутствие тощей и Олега Олеговича.

— Вера, — глухо сказал я.

— И что — Вера?

— Где Вера?

— Я ей не сторож.

— Я знаю, и все же вы скажите мне, где может быть Вера, и тогда я уйду.

— Я сейчас выведу Барсика, и чтоб, когда я вернусь, тебя уже не было, — возразил Додька. — Потом зову полицаев.

— Полицаи меня видели и даже несколько раз били, но это ничего, я потом все равно вернусь, потому что мне надо, — пообещал я. И шагнул в сторону Додьки.

— Взять! — крикнул он своему кабыздоху.

Мгновением раньше сонный и даже как будто пришибленный кабыздох стал обрывать поводок, громко и визгливо тьякая и бросаясь мне в ноги. Я хотел пнуть эту зловонную тварь, но промахнулся. Кабыздох отступил, но вдруг совсем озверел, зарычал и снова бросился на меня.

Они достигли меня одновременно: Додька и его кабыздох. Мелкая шерстистая тварь вцепилась мне в ногу, Додька же двинул меня по зубам. Как двинул недавно Олега Олеговича. Додька, должно быть, любит людям давать по зубам — таков его коронный прием.

Мерзкая Додькина собачонка еще раз тьякнула меня за икру, потом, вертя хвостом, как старая собачья шлюха, отошла в сторону, задрала ножку и поссала на стену дома.

Да, когда сильно ссать хочется, много не навоюешь.

Додьку я схватил за куртку. Тот тоже схватил меня.

— Вера! — крикнул я.

На самом деле я просто хотел сказать, что я не то чтобы злой или, напротив, добрый, не то чтобы плохой или, там, к примеру, хороший, я, пожалуй, скорее обычный... хотя, нет: обычным меня тоже не назовешь... Я хотел сказать ему, что он хоть и подлый Додька, но он может совершенно спокойно сообщить мне про мою сестру, если он что-нибудь про нее знает, а он что-то знает, теперь я в этом не сомневался.

Все это бесполезное, дубинноголовое скопище слов вдруг восстало во мне, я хотел было выговорить еще многое, но ничего этого я не выговорил, потому что Додька пихнул меня и тут же заехал по правой щеке. Я хотел было подставить ему другую щеку (левую или еще какую-нибудь), чтобы он и по ней заехал тоже (если Додька заедет мне еще по какой-нибудь щеке, так он, возможно, станет добрее, подумал я, и расскажет мне про сестру), но не успел сделать и этого.

Додька пихнул меня снова. Собачонка же смотрела на меня со всею своей собачьей наглостью. Ссать же на стену она все еще продолжала.

Ссать — так уж ссать до конца, перерывы в этом деле нежелательны.

Тут в голове моей что-то помешалось. И я, не отпуская Додьку, с силой толкнул его.

Додька рухнул на асфальт, увлекая меня за собой. Как-то так нехорошо рухнул,

по-додькиному рухнул, сразу почувствовал я. Он совершенно не сложился и треснулся затылком.

Хватка его сразу ослабла. Он лежал подо мною, будто куль. Тогда я приподнял его и снова треснул затылком об асфальт.

— Вера, — сказал я.

У Додьки изо рта пошла кровь. И из ушей тоже.

Тут кабыздох вцепился мне в скулу.

Я заорал, сбросил с себя эту сволочь и вскочил с Додьки, на коем сидел. Додька не шевелился.

Я ужаснулся делу рук своих. Кабыздох тявкал и насакивал на меня, в голове моей шумело, дышал я тяжело и потому не расслышал шаги за дверью парадного. И только тогда спохватился, когда дверь стала раскрываться и оттуда выперлась какая-то мадам постыдного летоисчисления.

Тут я, в ужасе обхватив голову, как на чьей-то там картине, бросился прочь со двора.

Под аркою дома чуть не сшиб дядьку в пальто.

Додька, Додька! Что же я натворил! Разве я хотел этого? Разве я этого жаждал? Почему Макухин был так несговорчив, и почему я был так ожесточен? Ведь я по натуре человек мирный, да нет же — я попросту человеческая рассолода, уличный увалень, муторная меланхолическая бестия.

Как много во мне патологической неприветливости!

Я убил Додьку? Я уколошил одного из Макухиных?

Додька и дядька — могут ли быть как-то связаны между собой? Или просто оказались в одно время почти в одном месте: Додька во дворе, дядька под аркой?

Я бежал по улице, машины здесь столпились в бесконечной непристойной пробке. Все гудело и чадило. Зубы мои стучали, я бормотал что-то про Додьку, и про дядьку, и еще про сестру мою.

Я боялся заблудиться и потому старался бежать прежней Додькиной дорогой.

Олег Олегович — старый товарищ мой! И тощая — добрая подруга моя (впрочем, вряд ли она мне какая-то там подруга)... и вот же их теперь со мной не было, и я сразу попал в этакую вот беду! Слишком слабо я разбираюсь в обыденном, слишком мало смыслю в вашем мире и в вашей жизни, сколь бы заурядными, сколь бы пустопорожними ни казались они.

Это меня следовало бы водить на поводке, как какого-нибудь бессмысленного человеческого кабыздоха!

Я уж собирался поворачивать на тот проспект, что был недалеко от вокзала, как вдруг меня кто-то схватил за плечо.

— Побегал, и хватит — ехать пора! — сказали мне сзади.

— Чего?! — встрепенулся я.

За плечо меня держал тот самый дядька в пальто. И еще нас нагонял парень. Который был явно заодно с дядькой.

Тут нас нагнал и синий фургон, дверь его открылась, и парень с дядькой втокнули меня внутрь.

Мир шоу-бизнеса

— Я не хотел, — забормотал я. — Он первый начал. Я не сдержался, и все-таки я совсем немного, просто раз-другой, или шесть, правда, головой, да, это было напрасно, я понимаю. Я хотел узнать про сестру, ну, в смысле, про Веру... Разве он мне не мог сказать сразу?

— Помолчи немного, — неприязненно сказал другой дядька, с бритой головой, с бычьей шеей и наушником в ухе.

Я замолчал и стал смотреть на дядек в фургоне пришибленно.

Дядька в пальто достал телефон из кармана и стал кому-то звонить.

— Уже везем, но он весь покорябанный, — сказал он. Потом послушал немного и прибавил виноватым тоном: — Я понимаю, что прямой эфир. Леночка, конечно, поработает, но у него скула распухла, это не замажешь. Хорошо бы, конечно, льда приложить, но льда у нас нет.

Леночка была такая вся из себя фифа со сногшибательным маникюром, кажется, вроде тощей, но только помоложе и пофифистей.

— Кто вы такие? — крикнул я.

— Кто надо, — примирительно отозвался парень.

— Это огромное доверие со стороны Петра Петровича, — сказал дядька в пальто.

— Не знаю такого!

— Как можно не знать Петра Петровича? — развел руками в удивлении парень.

— Петра Петровича все знают, — подтвердил дядька.

Фургон ехал медленно, останавливался. Фифа подступилась ко мне. Она умыла меня, где-то промокнула кровь, потом стала что-то рисовать кисточками прямо у меня на лице.

Я сидел, вцепившись обеими руками в берет.

— Убери руки! — сказал мне бригоголовый.

Пришлось их убрать.

— Ничего-ничего, я не трону берет, — пообещала фифа.

Я немного расслабился.

— Тебя звать-то как? — спросил меня дядька в пальто.

— Я не знаю точно.

— Имени своего не знаешь? — удивился тот.

— Имя — не то, оно не важно, есть несколько слов, вроде имени. Ну, то есть, например, я так сажу и произношу эти слова, и они вроде моего имени, и значит — они и есть мое имя, ведь верно? Я чувствую, что во мне что-то откликается...

— А что за слова? — спросила фифа.

— Альгуазил, — сказал я. Потом подумал и прибавил: — Еще Саддукей и Аристарх. Есть и еще слова, но они, возможно, не совсем мои имена.

— Вот так и будешь говорить, как сейчас, — сказал дядька в пальто.

— Что?

— Тебя будут снимать — прямой эфир, и ты должен не просто, как истукан, сидеть, а все время что-то говорить, когда тебя спросят. Понял?

— Не надо меня снимать, надо других снимать... я не знаю кого. Но вот и Олега Олеговича тоже не стоит снимать, хотя он почти артист. Вот разве что — тощую, Лизавету Вилевну, ее можно снимать, ее и так иногда в кино снимают, хотя нет, ее тоже, пожалуй, снимать не стоит, — забормотал я.

— Ну да, вот так примерно, — одобрил дядька. — Только не бормочи и не мямли, говори отчетливо и громко. Можешь даже кричать, но не размахивай руками! Все понял?

— Аристарх, говоришь? — хмыкнул парень.

— И еще Саддукей и Альгуазил, — угрюмо согласился я.

— Ты хоть знаешь, что это такое? — спросил снова дядька.

— Нет. Но имена могут ничего и не значить.

— Не вертитесь, — сказала мне Леночка. — Вы мне мешаєте.

— Приехали, — сказал парень.

— Все, — сказала Леночка, довольно разглядывая дело рук своих. — В такого можно влюбиться.

Мы вылезли из фургона, места этого я не знал вовсе. Поднялись по лестнице, Леночка куда-то делась, парень тоже. Я уж понемногу стал к ним привыкать (хотя к человекам привыкать нельзя). Потом меня посадили в комнате, где были зеркало в полстены, стол и еще афиши. Но я их не рассматривал. Дурак я, что ли, чтобы всякие там афиши рассматривать!

Тут пришел кто-то, я сразу понял, что это Петр Петрович.

Он поглядел на меня, всего секунды три (или двадцать одну) и бросил:

— Хорош!

Это я, стало быть, «хорош», по его мнению?

— Вам уже объяснили, как все будет происходить? — спросил у меня пришелец.

— Ничего мне не объяснили! — крикнул я.

— Конечно, объяснили, — сказал дядька в пальто.

Я хотел было крикнуть еще что-то, но тут бритоголовый взглянул на меня так, что я прикусил язык.

Ну, объяснили — так объяснили. Им же хуже, если я чего-то теперь недопонял.

— Ничего, — сказал Петр Петрович. — Многие у нас поначалу волнуются. Помните, что это всего лишь игра, забава, ток-шоу. Евгений Лукич хорошо отзывался о вас, потому я уверен, что все хорошо получится. Готовьтесь! — бросил еще он и стремительно вышел.

Вышел и дядька в пальто. Остались лишь я да бритоголовый с наушником в ухе.

Вошел на минуту парень из фургона и прицепил мне какую-то заклепку на ворот.

— Скажите: раз-раз-раз! — бросил он.

Я сказал ему его дурацкие «раз-раз-раз!» — мне не жалко.

— Нормально, — бросил он и исчез.

— Евгений Лукич — большой человек, — глухо сказал бритоголовый. — Ты понял?

— Да.

— А Петр Петрович — еще больше. В своем деле, конечно. Ты снова все понял?

— Понял.

— И поэтому... — медленно сказал мой собеседник, — если ты сегодня сорвешь передачу и Петр Петрович будет тобой недоволен, я отделаю тебя так, что ты даже маму родную узнавать перестанешь! Ты ведь понял и это, не так ли?

— Да.

— Пошли, — буркнул бритоголовый.

Зрители сидели в зале. Петр Петрович ходил с микрофоном посередине и громко говорил. На нем был пиджак с блестками. Блестки сверкали так, что глаза резало.

Петр Петрович вещал что есть мочи, но мы были в отдалении, и выходило: бубу-бу!.. И тут он вдруг вскричал лучезарно и победоносно: «Встречайте!» — и тут я наконец стал все слышать, загремели аплодисменты, бритоголовый подтолкнул меня, и мы вышли в блестки и в сверкание, сделалось жарко, и я мигом вспотел, мой провожатый поддерживал меня.

— А правда, — шепнул он мне, — что за тобой тыща человек ходит?

— Иногда и больше! — шепнул я.

Бритоголовый подтолкнул меня, и я плюхнулся на указанный мне пуфик.

Дураки! Оказывается, они мне аплодировали!

— Дорогие друзья! — крикнул Петр Петрович. — У нас в студии сегодня странный гость! Быть может, самый странный из всех наших гостей. Человек простой, простодушный, человек, который не пишет картин маслом, не сочиняет великих

симфоний, не интеллектуал, не философ. Человек, совершенно непохожий на других людей. Вот он сидит и смотрит на нас взглядом куклы вуду. Мы не знаем его имени, он и сам его, кажется, не знает. И занят он только тем, что ищет сестру. Всего-навсего. В эти поиски неожиданно включились другие люди, сотни, тысячи других людей. Хотя они не ищут его сестру, они скорее ищут его самого. Его ищут так, как Диоген искал человека. И вот — главный вопрос нашей передачи: кто он? Сумасшедший или мессия? И в конце передачи, а может, и раньше мы получим ответ на этот вопрос, — тут он несколько оборотился ко мне. — Итак, вы ищете сестру?

— Ищу.

— Как вы ее ищете?

— Хожу, смотрю, спрашиваю, думаю, еще Олег Олегович помогает. И другие тоже. Вернее, помогал.

— Великолепно! «Хожу, смотрю, спрашиваю!..»

— Еще думаю, — напомнил я.

Бритоголовый велел мне говорить, вот я и говорил.

— Да-да, «думаю»! Это еще лучше!

— Это мало, я понимаю, — смутился я.

— Отчего же? Язык до Киева доведет. И если ходить, смотреть, спрашивать, так он, наверное, когда-нибудь доведет и до сестры.

— Еще мы к художнику Жмакину ездили. В Бернгардовку. Есть такой художник — Жмакин. Вернее, был. Он мог знать что-то про сестру. Мы поехали к нему, а он повесился.

— Может, он повесился из-за вас? — невозмутимо спросил Петр Петрович.

— Чего из-за нас вешаться? — запнулся я. — К тому же он раньше повесился.

— А может, он повесился из-за сестры? — спросил Петр Петрович.

Тут я запнулся более прежнего. Так, будто мне дали пощечину.

— Как можно повеситься из-за сестры? — глухо сказал я.

— Мало ли! Жмакин мертв, мы не можем знать его мотивов. Может, он повесился оттого, что подсознательно ожидал, что кто-то приедет и станет спрашивать его о вашей сестре. Это возможно?

— Может быть, — задумчиво сказал я.

— Слово нашим уважаемым зрителям! — прервал меня ведущий.

Я повернулся в сторону зрителей, некоторые из них тянули руки. Как в школе. Микрофон поднесли полненькой рыбоглазой девушке, она тянула руку слишком уж увлеченно.

«Зачем она это делает? — подумал я. — Может, она хочет, чтобы все получше увидели ее рыбоглазость? Да, такие люди бывают. Особенно — девушки».

Прочие же рыбоглазости стыдятся.

Одни рыбы не стыдятся своей рыбоглазости.

— Я не хочу говорить о нем, — быстро заговорила та. — Не хочу говорить о его сестре. Я не уверена даже, что она существует. И в этом, похоже, никто не уверен. Он и сам в этом не уверен. Я хочу поговорить о другом: о деградации вашей уважаемой передачи!

Я взглянул на Петра Петровича, тот и бровью не повел.

— Раньше гостями передачи были известные артисты, художники, политики, писатели, и мы тогда были свидетелями интеллектуальных поединков. А сейчас кто? Идиот? Вы знаете, что вы идиот? — обратилась рыбоглазая ко мне.

— Ну-ну-ну! — вступился за меня Петр Петрович. — У нас прямой эфир, давайте будем уважительно относиться друг к другу и выбирать выражения.

— Да, идиот, — согбенно сказал я.

— Признаете? — обрадовалась рыбоглазая.

— П-признаю, — дрогнувшим голосом сказал я.

— И признаете, что занимаете чужое место? Какого-нибудь артиста, какой-нибудь крупной, незаурядной личности?

— Я отказывался, меня затащили, а я не хотел! Я бы ушел, но мне сказали, что нельзя уходить.

— У меня нет к вам претензий, — сжалилась надо мной девица. — Вы такой, какой есть. Мои замечания адресованы телепередаче и каналу, организовавшему эту передачу.

— Еще мнение! — коротко бросил ведущий.

Тут микрофон поднесли парнишке в очках, по виду — студенту.

— Понятия сумасшедший и мессия не образуют точную дихотомическую сцепку. Эта сцепка возникла бы, если бы противопоставлялись сумасшедший и здравомыслящий. Такая нечеткость может запутать процесс голосования.

— Мы сегодня под перекрестным огнем критики, — ядовито молвил Петр Петрович. — А вы, — обратился он к студенту, — при условии, что вопрос поставлен именно так, проголосовали бы за сумасшедшего или за мессию?

— Голосование у нас тайное... И все же... разумеется, сумасшедший!

Зрители зааплодировали, я тоже поначалу похлопал, но потом сообразил, чему они все хлопают, и перестал. Хотя, с другой стороны, отчего бы не аплодировать тому, что я — сумасшедший?! Я похлопал немного еще. Сумасшедшие любят, когда им хлопают. И сами хлопать они тоже любят.

— А вот и первые результаты голосования! — воскликнул ведущий. — Тридцать пять... сорок... сорок пять... пятьдесят... Семьдесят за сумасшедшего! За мессию же пока ноль! Ноль! Пять! Уже пять! По-прежнему пять! Кто больше? А вот... уже десять! Десять — раз! Десять — два! Пятнадцать! Однако за сумасшедшего уже сто двадцать пять! Сумасшедший лидирует! Но мы продолжаем нашу передачу! Оставайтесь с нами!

Тут Петр Петрович ухмыльнулся каким-то наглым моллюском. Блякнула бодрая музыка; вроде фанфар. Я почесал нарост под беретом. И прочие тоже зашевелились. Все будто усаживались поудобнее. Они были настроены мучить меня еще долго.

— Хорошо, сумасшедший... — сказал Петр Петрович. — А другие мнения есть? Кто-нибудь из сидящих в студии видит в нем мессию? Или здесь собрались одни скептики? Второй ряд справа! Милая дама хочет высказаться!..

Не знаю, что уж в этой даме было такого милого. Мне она сразу не понравилась.

— Мессия? — с надеждой спросил Петр Петрович.

— Нет, я хочу сказать о другом, — сказала «милая дама». — Я хотела сказать о Жмакине... Дело в том, что я немного знала художника Жмакина...

— Вы знали Жмакина? — вскричал ведущий. — Сюрприз!

— Да, знала. Я была огорчена, узнав о его смерти. Значит, когда вы приехали к нему, Жмакин был уже мертв? — спросила она.

— Да, мертв. Его там уже не было, его унесли или как-то так там еще... я не знаю, как это делается. Это лучше у Олега Олеговича спросить, он умный.

— И вы его не видели?

— Не видел.

— И причина самоубийства вам неизвестна?

— На что мне ее знать!

— Но вам хоть было жаль Жмакина?

— Так... мы ведь не из-за Жмакина приехали, а из-за сестры. А сестры там не было, да и Жмакина тоже, а потому чего жалеть Жмакина! Вот сестру жалеть... что ее не было.

— Двести двадцать за сумасшедшего! — воскликнул ведущий. — Ого! Тридцать пять за мессию. Значит, другие мнения все же присутствуют в студии!

— Жмакин — художник, и вам его не жаль? А сестру жаль? По-вашему, в мире, кроме сестры, ничего ценного больше не существует? — как клещ, впилась в меня «милая дама».

— Не существует.

— Ну а предсмертное письмо или записка были? — снова спросила женщина.

— Записка была. Нам дядька показал, который там был... Что-то про картину... он картину писал... такую большую и везде... еще про Додьку Макухина и про змею какую-то подлую, которая жизнь ему загубила, но про это я не помню... — сказал я.

— Давид Макухин — артист, участник известного трио «Братья Макухины», — невозмутимо вставил Петр Петрович.

— Да, — с некоторым напряжением сказал я. Ибо вспомнил *про Додьку*.

— Насколько мне известно, — сказала «милая дама», — Жмакин был очень женолюбивым человеком. И чем старше он становился, тем более его тянуло на молоденьких. Как ни странно, он пользовался у них некоторым успехом. Ваша сестра ведь молода?

— Молода, — неприязненно сообщил я. Я уж догадывался, куда она клонила.

— Так, может быть, та самая подлая змея, что загубила жизнь Жмакина, и есть ваша сестра?

— Моя сестра не змея, она — девушка, как она может быть змеей, если она девушка?! — закричал я.

— О, это-то как раз запросто! — с усмешкой развела руками та.

— Не змея, не змея, сестра — не змея! — троекратно отчаянно выкрикнул я.

Троекратность как-то даже приумножила мое отчаяние. Отчаяние любит приумножаться троекратностью.

— Внимание на мониторы! — вдруг скомандовал Петр Петрович.

Все уставились на большие экраны, что были расставлены в студии. Повсюду пригас свет. Экраны же, напротив, вспыхнули.

Прежде всего я увидел дом сестры. Его бы я узнал из тысячи других домов. И еще я увидел толпу. Сборище подлых особей человеческих. Да-да, сборище подлецов и *подлиц*. Потом появились мы четверо: я, Олег Олегович, Федор Григорьевич и Павел Фролович. Потом я остановился, я ел яйцо. Со скорлупой вместе. Троица товарищей моих взирала на то с придыханием. И людишки из толпы взирали на то с придыханием. Как будто они осоловели напрочь, на яйцо, мной поедаемое, глядячи.

Потом кадр переключился, и вот уж мы вчетвером оказались в подвале Олега Олеговича. Мы говорили, мы выпивали, мы закусывали. Потом мы заснули, свечи догорали, и слышался храп. Олег Олегович поднялся со своей лежанки, куда-то отполз на карачках и после появился сызнова. В руках у него была керосинка, спичкой он зажег керосин. Тут он стал будить меня, и в этот момент мониторы погасли.

— Простые слова, простые действия, ни малейшей наигранности! — снова завладел аудиторией Петр Петрович. — Под утро случилась трагедия, пожар, два человека погибли — Федор Григорьевич Бурдяков и Павел Фролович Сполкин, наши камеры, к сожалению, не зафиксировали начала пожара. Сейчас работают дознаватели, потому и мы не станем спешить с выводами. Наш вопрос остается прежним: сумасшедший или мессия?

Я сидел и преспокойно прикидывался конгломератом. Или не прикидывался, а и вправду им был. Конгломератом быть непросто. Но у меня получается. Да.

— Сотни, тысячи людей, которые стоят на улице, днем и ночью, чтобы просто посмотреть на этого человека, — продолжил Петр Петрович. — Чтобы коснуться

его. Говорят, были случаи исцелений. Тех, кто коснулся его или кого коснулся он сам. Так, может, картина не столь проста, какой она может показаться с первого взгляда? Скажите, вы умеете исцелять?

— Нет!

— Точно, не умеете? Или стоит все-таки попробовать?

— Говорю же, не умею! — крикнул я с какой-то короткометражной злостью.

— Ну, не умеете — и ладно, — покладисто сказал тот.

— А я думаю, он — страшный индивидуалист, — встрял еще какой-то очкарик. — Для него важны лишь личные мысли и ощущения. Прочее же для него не имеет никакой цены. И еще полагаю, что он вообще ничего не любит. Ни себя, ни других, ни эту страну... Скажите честно, вы ведь не любите страну?

— Да-да, мне больно в ней жить, — с некоторой вазомоторностью кивнул головой я.

Я вдруг вспомнил про гребенку сестры. Мне захотелось коснуться ее, захотелось подержать в руках. Я достал гребенку. Для чего я ее достал? Расчесаться ею я не мог — пришлось бы снимать берет. Тогда я просто покрутил немного гребенку и вернул ее обратно в карман.

— Это — гребенка сестры, — сказал я внушительно. И похлопал себя по карману.

— Гребенка? — крикнул кто-то.

— Гребенка, — подтвердил я.

А что же это было, по-вашему, если не гребенка?

Но нет, гребенку никто из них, кажется, не собирался опровергать.

Гребенки вообще не из тех предметов, что легко поддаются опровержению.

— Что ж! — фальшиво молвил мой мучитель Петр Петрович. — Самое время взглянуть, как протекает наше голосование. — Ай-ай-ай! Мессия... шестьдесят пять! Сумасшедший — четыреста тридцать. Сумасшедший лидирует, мессия жалко плетется в хвосте! Участь всех мессий! Однако же посмотрим, нет ли у нас тузов в рукаве! — тут он похлопал себя по рукавам — но тузов там вроде не оказалось. — Мессия... Кто же здесь числит нашего гостя по данному ведомству? Вы? Вы? — ткнулся он сначала в одного, потом в другого, третьего из зрителей.

Тут встала какая-то девочка, такая вся из себя некрасивая, под мальчишка стриженная, скуластенькая, костлявенькая и филологичненькая. И физиологичненькая.

— Мессия? — с надеждой спросил Петр Петрович.

— Мессия или нет, я не знаю, — запнулась девушка.

— Значит, не мессия? — разочарованно протянул тот.

— Я была там, где собирались все эти люди. Я была среди них.

— Были? — снова воспрянул ведущий. — И что же?

— Может, и не мессия, но что-то пророческое в нем, кажется, есть.

— В смысле? — насторожился Петр Петрович.

— Он — пророк подспудности и попятности, безнадежности и самоумаления.

— Любопытно.

— Но я хотела сказать о другом. У меня есть сестра, правда, она не Вера, но неважно... и я теперь хочу потерять ее, по-настоящему... для того, чтобы тоже ее искать.

— Да? А те люди, что ходили за ним, те самые «тысячи»... среди которых, были вы, — кто они?

— Помешанные.

— А вы нет?

— Может, даже помешанней остальных.

— Вернемся к вашей сестре. У вас она есть. Но вы хотите, чтоб ее не было. Так? А вообще мир *безсестры* — каков он, по-вашему? Прекрасен или ужасен?

— По-моему, он звенящ, — ответила девочка. — Он звенит от тоски и пустопорожности.

— А вы с этим согласны? — поворотился Петр Петрович ко мне.

— С чем? — удивился я.

— С вышесказанным, — ядовито отвечивал тот.

Я лишь пожал плечами.

— Отвечайте же!

Мне и впрямь следовало что-то отвечать. Ибо если бритоголовый наcostыляет мне, это, пожалуй, может мне и не понравиться. Мне не нравится, когда мне costыляют бритоголовые.

— О чем?

— Можете о сестре. Когда вы ее найдете, что будете делать? — спросил Петр Петрович.

— Умру, — убежденно сказал я.

— Умрете?

— Просветлюсь и взметнусь. И еще преобразуюсь и увековечусь. Обрету новый стиль и неимоверность.

— Да, много всего.

— Еще *високосность* и *биссектрису*, — сказал я.

Про биссектрису я, пожалуй, напрасно сказал. С биссектрисой меня могли оценить не совсем правильно.

— Сумасшедший — пятьсот пятьдесят, — вставил Петр Петрович. — Мессия... ого! девяносто!

Вдруг раздались аплодисменты. Дураки зрители хлопали дураку мессии, за коего отдали девяносто голосов. Я повертел головой (чтоб дурак был позаметнее, а мессия, напротив, стушевался) и тоже немного похлопал.

— У нас сегодня протестное голосование, — сказал ведущий. — Голосуют за мессию потому, что убеждения не позволяют голосовать за сумасшедшего. Что за убеждения? Черт его знает! Какой-нибудь ложно понятый гуманизм, какая-то надуманная деликатность.

— Скорее наоборот, — громко сказала чернокудрая женщина с каустической содой во взгляде.

— Поясните, — встрепенулся Петр Петрович.

Той поднесли микрофон.

— Пожалуйста. Сказано: нет пророка в своем отечестве. А вы своим вопросом заставляете публику признать пророком человека, которого она видит впервые. Разумеется, при этом самая естественная реакция — протест, оттого-то голосуют за сумасшедшего. Тем более он и сам подает для этого поводы. Уберите протест, позвольте пророку процветать в своем отечестве, и голоса, быть может, сравняются. Или почти сравняются.

— Это так? — поворотился ко мне тот.

— Что? — переспросил я.

— В другой жизни он, возможно, был бы каким-нибудь ужасным экстремистом, — подсказала мне чернокудрая. — Нестерпимым. Его бы, возможно, само мироздание боялось.

— Еще лучше, — пристально вперился в меня Петр Петрович.

Я молчал. Пауза делалась гнетущей.

— Есть всякие там буфетчики, — неизвестно для чего начал я. — Они стоят за прилавками и продают пиво. Я вам расскажу про одного... Можно?

— Про буфетчика позже! — прервал меня ведущий. — Главное, не забудьте! А мы немного повернем разговор.

Тут он пошагал немного. Чертовы блески на его пиджаке совсем распоясались.

— Человек, — стал говорить он, — существо коллективное! Человек раскрывается в его связях. Не зря говорят: короля играет его свита. В связях разнообразных: общественных, дружеских, любовных... У вас есть любовная связь? — остановился он.

— Что еще за любовная связь? — насторожился я.

— Вы не знаете, что такое любовная связь? — пожал плечами Петр Петрович. — Хорошо: а дружеская?

— Дружеская?

— Она самая! Тысячи человек за вами ходят, и что же, нет хоть одной дружеской связи? Даже самой завалыщенькой?

— Ну, вот Олег Олегович за мной ходит, и мы еще с ним в Бернгардовку ездили, он называет меня своим другом, я же его так не называю и никогда не называл, и что же — эта связь дружеская? — выпалил я.

— Почему бы и нет? — ядовито ответил Петр Петрович.

— Ну...

— Мне сегодня все уши прожужжали этим Олегом Олеговичем! Что ж, быть по-сему! Олег Олегович! — победоносно объявил ведущий.

Я вздрогнул. Сызнова блякнула музыка, походившая на какие-то гнусные фанфары, на какое-то шумное кольраби. Зрители оживились. Бритоголовый вывел Олега Олеговича. Тот был одет как обычно, только на шее его был повязан сакраментальный и идиотический галстук.

Олег Олегович остановился посередине и артистически (хотя и несколько дурашливо) поклонился почтеннейшей публике. Потом он поклонился и мне.

— Друг, — сказал он.

Я ничего не ответил.

— Олег Олегович, вы ведь знаете этого человека? — спросил Петр Петрович.

— Так точно.

— Вы ведь ходили с ним, ели, пили, разговаривали, ездили к Жмакину...

— Снимались вместе в кино, — поддакнул бывший мой товарищ.

— И это тоже, — желчно согласился ведущий. — Поэтому если и существует кто-то, кто хоть немного понимает нашего сегодняшнего гостя, так это вы, Олег Олегович, не так ли?

— В общих чертах.

— В таком случае как бы вы ответили на главный вопрос нашей передачи: сумасшедший или мессия?

— Так ведь... — запнулся на мгновение тот, — ежели какой-то подлец, или дурак, или еще тусклая шваль рискнет предположить, что он — сумасшедший... ну, то есть наш друг... так я первый скажу ему, что он этот самый подлец или прочая шваль получается. И никак иначе!

— Смелое заявление, — вставил Петр Петрович.

— Люблю смело заявлять, — сказал Олег Олегович.

— Так, значит... мессия? — с надеждой спросил Петр Петрович.

— Ну, так ведь и мессии на дороге не валяются... — обтекаемо начал мой бывший товарищ. — Их каждый день лицезреть невозможно, а потому не всегда скажешь уверенно: этот вот, мол, мессия, а тот, извините, пока еще рылом не совсем вышел...

— И все-таки?

— А пожалуй, в каком-то смысле, выйдет и мессия, — завел Олег Олегович свою волюнку. — Ежели всмотреться пристально да с отверстым сердцем, что, конечно, не каждому дано. Этому вроде как бы противоречит его особенный вид простоты и заносчивости, а хоть бы даже и заносчивости, но все равно противоречит...

— Вид у него неказистый, зато он являет нам идеал! — крикнул кто-то, дорвавшийся до микрофона. Некий воробьиный субъект. Некая пичужная шушера.

— Идеал! — хмыкнул Петр Петрович. — Лет сто не слышал этого слова.

— Вот и я об том же, — обрадовался Олег Олегович. — Я много с ним ходил, с нашим, так сказать, другом, мы говорили, мы думали о сестре, об его сестре, разумеется... Пили вино... И вот мне иногда даже казалось... ну, то есть... когда мы выпивали или просто беседовали... что вот он весь такой... как уже сказали... неказистый, такой весь с поволокой, полон всяких буераков и индифферентностей... а что если он и есть... сам бог? — твердо вдруг закончил Олег Олегович.

Тут многие загудели с возмущением. Слова Олега Олеговича явно не понравились никому. Они и мне не понравились. Да, собственно, не слова они были, а так — трубаха какая-то! Беспородная плесень. Гельминтоз какой-то, а не слова!

— А что? — запальчиво крикнул тот. — Ваши боги, думаете, лучше? Да вы рассмотрите их хорошенько!

— А что вы там говорили насчет гадючника? — вдруг снова повернулся ко мне Петр Петрович.

— Я вот когда-то зашел в гадючник, а там был буфетчик, — приосанившись, начал я. — У меня не было денег, а пива я хотел. Вот! Я теперь хочу сказать буфетчикам... вы все — дураки! Вам нужны деньги. А траве разве нужны деньги, когда она растет? Нет, траве не нужны деньги. И облаку не нужны деньги, когда оно плывет по небу. Для чего же вам, дуракам, деньги? Почему вы хотите быть хуже травы или облака, если требуете деньги за свое пиво? Деньги — гадость, а буфетчики — дураки, и они взаимно приумножают свои гадость и дурость. Деньги делаются еще гаже оттого, что их любят буфетчики, буфетчики еще больше дурнеют и скотинеют оттого, что любят деньги. Я же не люблю ни деньги, ни буфетчиков, и никогда уже не полюблю. Человекам иногда нужно давать пиво без денег, так просто... если они его хотят. Пусть пьют себе пиво и радуются, пусть разговаривают или молчат, пусть грустят, спорят, пусть любят друг друга, пусть даже пускают слюни, — бог знает отчего я вдруг сказал про слюни, но тут слюна немного истекла и у меня самого. Я некоторое время продолжал говорить с этой истекшей по подбородку слюной, но потом все же утер ее рукавом. — Ваш мир нехорош, если в нем человекам не дают пива без денег. Ваш мир оттого просто дурацкий! Вы хотите жить в мире дурацком — ну и живите себе! Я же в дурацком мире жить не хочу! Конечно, ваш мир дурацкий еще и по другим причинам, но буфетчики изгаживают мир однозначно — тут я даже и спорить ни с кем не хочу.

Я перевел дыхание. Я думал, что на меня сейчас все обрушатся, будут кричать, смеяться, топтать ногами, показывать пальцами, но они отчего-то не кричали, не топтали, не смеялись. Лишь смотрели на меня озадаченно.

— Вы, может быть, думаете, что не мир — дурак, а я — дурак, что я — великий дурак! — сказал я со всей своей природной одиозностью. Со всей благоприобретенной своей гватемалой. — Но вы так не думайте! Я — дурак самый обыкновенный. Много таких дураков! А будет еще больше! Идиотизм мира от того приумножится.

— А сестра захочет иметь с таким дело? — спросил Петр Петрович.

— Может, и нет. Но тогда и не надо. Я это приму.

— Ага, то есть вы способны и на самопожертвование?

— Не знаю, — запнулся я. — Очень бы этого не хотелось.

— Фантастика! — сказал Петр Петрович. — Сумасшедший — шестьсот двадцать! Мессия — четыреста тридцать пять!

— Я же говорил! — зычно крикнул Олег Олегович.

Собравшиеся загудели и заплодировали.

— Буфетчик! — крикнул Петр Петрович.

«Что за буфетчик такой?» — подумал я.

Вместе с блямкнувшей музычкой в студии появился буфетчик. Аплодисменты грянули с новой силой.

— И ты здесь, поганец! — сказал Олег Олегович.

— Я не сам, меня привезли, — испуганно озираясь, отвечивал тот.

— Поганец? — удивился Петр Петрович.

— Кто ж еще, как не поганец! — решительно сказал мой товарищ. А кто гадости про сестру говорил? Кто муниципальные окна кокал? — бросил в сердцах Олег Олегович.

— Я только одно окно разбил, в досаде, и я тоже пострадавший! — дрожащим голосом молвил буфетчик. — Заведение сгорело.

— Гадючник, а не заведение! — сурово поправил того мой товарищ.

— Гадючник! Хозяин во всем обвиняет меня, хотя я ни сном ни духом, у меня и огнетушители всегда висели в рабочем состоянии.

— Можно мне немножко дать ему по морде? — попросил вдруг Олег Олегович.

— За что? — снова удивился ведущий.

— За сестру и за муниципальные окна.

— А точно немножко?

— Совсем чуть-чуть.

— Ну, если совсем чуть-чуть, тогда, пожалуй, я не против.

— Чисто символически, — заверил Олег Олегович. — Поганцу даже понравится.

— Чисто символически, — объяснил Петр Петрович зрителям. — Позволим?

Зрители загалдели и затопали ногами.

— Только не вздумайте в полную силу!

— Ни-ни! — сказал Олег Олегович. — Разве ж я не понимаю? На колени! — командовал он буфетчику. — Буржуазия проклятая!

Буфетчик поспешно плюхнулся на колени. Руки он покорно сложил за спиной.

— Я не буржуазия, я всего лишь приспешник! — жалко пробормотал он.

— Раскокай ты федеральные окна, я бы тебе и слова не сказал! — внушительно проговорил Олег Олегович. — А муниципальные кокать не смей! Сволочь такая!

— Больше не буду.

— А уж как он, подлец, на сестру брехал, этого мне вам даже и описывать не хочется! — пояснил Олег Олегович зрителям.

— И не надо, — согласился ведущий.

Тут Олег Олегович, напряженно улыбаясь, сжал свою волосатую руку в кулак и коротко треснул буфетчика по зубам.

— Целуй у него руку! — приказал Олег Олегович. — В знак полного извинения.

Буфетчик пошел на коленях в мою сторону.

Я отвел руки.

— Не надо! — сказал я.

— Надо! — решительно сказал Олег Олегович. — Чтоб лучше запомнил!

Руки свои я не подставлял буфетчику, но тот все тянулся к ним губами, даже налег грудью мне на колени и вдруг поцеловал мою шуйцу.

— Понял теперь, поганец? — сказал Олег Олегович.

— П-понял, — задрожал буфетчик.

— Надо бы, конечно, тебе еще вмазать! — мечтательно сказал Олег Олегович.

— Не-не-не! — поспешно проговорил Петр Петрович. — Договорились: один раз — значит, один раз!

Тут свершилось новое явление, на сей раз без всякого блямканья. Выбежала тетка, моложавая, полноватая, вся из себя блондинка.

— Не бейте его! — крикнула она. Две крупные слезы поспешно исторглись из ее виноградин-глаз. — Это мой муж!

— Стыдно, милая, быть женой такой сволочи! — сурово сказала одна из зрительниц.

— Стыдно, — сокрушенно согласилась та. — У нас двое детей, у сына диатез, у дочери бронхиальная астма.

— Это не извиняет его подлостей, — пробурчал Олег Олегович в некотором смущении.

— Забирайте вашего буфетчика! — царственным жестом указал Петр Петрович. — Пожелаем же ему сыскать новый гадючник и на веки вечные утвердиться в нем!

Зрители зааплодировали.

— Мессия — семьсот, — сказал еще Петр Петрович. — Сумасшедший — семьсот десять.

Зрители тут словно взбесились. Они аплодировали, свистели и топали.

Буфетчикова жена помогла своему благоверному подняться и, приобняв, медленно стала его уводить.

— Идем, Ваня, — сокрушенно сказала она.

— Лизавета Вилевна, — объявил ведущий. — Сунцова.

Я в удивлении вытянул шею.

Петр Петрович пошел навстречу тощей, поцеловал руку и самолично усадил на пуфик против меня. Буфетчик, уже почти удалившийся, задержался в проходе.

Я на тощую не смотрел, она мельком взглянула на меня и тоже отвела глаза.

— Я не знаю, зачем я здесь, — глухо сказала женщина. — Мне нечего про него сказать, мне до него и дела нет. Вы посмотрите на него внимательно, и тогда поймете, что я к нему испытываю. То есть — ничего! Ничего, понимаете?

— Может, вы просто злитесь на него?

— Я не девочка. Я вполне умею справляться со своей злостью, со своими обидами и со всем прочим. Дело в другом! Эту передачу я считаю дурной затеей. Хотя она вполне в духе времени. Так что не ждите от меня какого-то рассказа о нем...

— Когда вы видели его в последний раз? — спросил Петр Петрович.

— Час или полтора назад, — отрезала женщина.

— Вы говорили с ним о чем-нибудь?

— Скорее всего, я говорила с собой. Но в его присутствии. И еще в присутствии Олега Олеговича.

Олег Олегович тут вскочил со своего места и, прижав руки к груди, раскланялся перед тощей с благодарной дурашливостью.

— А при каких обстоятельствах вы сегодня видели его?

— Сначала мы снимались в порнокино, — твердо сказала тощая (тут публика изрядно оживилась и заерзала).

— Он был голым?

— Мы все были голыми! Потом ходили на выступление Макухиных.

— Братьев?

— Кого ж еще!

— Одетье?

— Разумеется.

— Макухины, — венценосно проговорил Петр Петрович. — Братья Макухины!

Музычка блямкнула.

Следом за музычкой выбежали два брата — Илья и Оскар (Петр Петрович представлял их по мере появления). И еще некий дядька выкатил кресло на колесах с забинтованным человеком. Забинтован тот был приблизительно как человек-невидимка — на лице не было даже прорезей для глаз. Одет был в больничный халат и в штаны от пижамы — бинты же выбивались из-под штанов да из-под

пижамы. Тут я похолодел. В человеке сем мне померещился Додька. С другой же стороны, опознать в этом забинтованном человеке Додьку тоже было непросто. Забинтованный не шевелился. Как будто он был трупом. А может, это и был Додькин труп, забинтованный для неузнаваемости? — подумал я. Хотя зачем бы, спрашивается, сюда переть забинтованный Додькин труп?

— Вы его знаете? — спросил у братьев Петр Петрович, царственной дланью своей указывая на меня.

— Нет! — гаркнул Илья.

— Еще чего не хватало! — пискнул огнеголовый Оскаррик.

— Так что же вы сюда пришли? — холодно спросил Петр Петрович.

— Пришли потому, что нас позвали и потому, что подвижны тем же, чем и он, — ответил Илья.

— И чем же?

— Братской любовью.

— У него сестра, у нас брат, нас соединяет то, что все мы — братья.

— Стало быть, то, что он сестру ищет, знаете?

— Знаем! — сказал Илья.

— И вы готовы ответить на основной вопрос нашей передачи?

— Какой? — гордо спросил Илья.

— Сумасшедший или мессия?

— Готовы! — сталелитейно ответил Илья.

— Отвечайте! — велел он Макухиным.

— Не сумасшедший, не мессия, но просто дурак, подлый дурак, вбивший себе в голову какую-то чушь и носящийся с нею! — твердо сказал Илья.

Тут я посмотрел на него своим самым что ни на есть невралгическим взглядом.

С подлинным, так сказать, пенталгином в глазах.

— Вы все так человечны, — с тоской сказал я, — человечны до гнусности, до чесотки, до аскарид, до холодного пота. Тогда как человеком быть нельзя, человеком быть плохо, человеком быть невозможно! Я всеми силами призываю к свержению человека с его помоста, пьедестала и постаментов!

— А сестра его — с... невообразимая! — крикнул Оскаррик.

— Но-но! — с угрозой выкрикнул Олег Олегович. — Ты говори, да не заговаривайся! А то ведь можно и схлопотать!

В глазах у меня потемнело. Я медленно сползая с пуфика.

— Сидеть! — крикнул Илья во все свое макухинское артистическое горло.

— Петр Петрович! — зычно говорил прежний мой товарищ, — Полагаю, вы обязаны оградить, так сказать...

— Ничего я не обязан, — ядовито отвечал ведущий. — Мессия — девятьсот пятьдесят пять! Сумасшедший — восемьсот семьдесят!

Тошая расхохоталась. В студии свистели и топали ногами.

— А это вот не будет для тебя вечным немим укором?! — крикнул Оскаррик и указал на человека-невидимку в кресле на колесах.

— Для него нет никаких укоров! — крикнул кто-то из зрителей.

Человек-невидимка по-прежнему сидел трупом.

— Сдохни! — крикнул Илья и ринулся на меня.

— Окочурься, лебедь! — крикнул и Оскаррик и тоже ринулся на меня.

Хохот тощей, кажется, задел за живое Олега Олеговича.

— Ну, Коза! — в сердцах крикнул он.

Но тут он заметил экспансию братьев и метнулся за ними.

Вскочили и зрители. Но они не бросились в нашу сторону, они бросились друг на друга. Одни кричали: «Сумасшедший! Придурок!» Другие же: «Он ищет сестру!»

Почему он не может этого?!» Между теми и этими завязалась потасовка. Петр Петрович был бледен, но спокоен. Блестки его пиджака рассыпались звездопадом.

— Тысяча! — лучезарно крикнул он. — Тысяча за мессию!

Буфетчика поначалу будто бы лихорадило. Но он вдруг вскричал: «Не дам! Не дам колотить избранного!» — и бросился на помощь Олегу Олеговичу.

Неужто одна оплеуха бывшего моего товарища этого стручка так образумила?

Илья схватил меня за грудки и перебросил через пуфик. Я хотел уползти, ускользнуть, но уже не успевал, я ничего не успевал, я и жить не успевать, и дышать не успевал, и даже ни единому вдоху не удавалось вторгнуться в мою стиснувшуюся и обомлевшую грудь, я думал, что прямо тут и умру и уж больше не увижу сестру свою и даже свет белый не увижу я, и тут на нас сверху тяжело напрыгнул Олег Олегович. Он ревел, будто лев. От него пахло вином и капустой. Он схватил своими ручищами Илью и оттащил от меня. Он хотел оттащить и Оскарика, но Оскарик лягнул ногой и попал Олегу Олеговичу по зубам. Тот ответно вмазал Оскарику по затылку. Буфетчик же дал Оскарику ногой по заднице. Кто-то и мне дал по зубам. И я тоже кому-то врезал и стал отползать. Илья бросился на помощь рыжему своему брату. Тощая все хохотала.

Пред носом своим я увидел чью-то костистую щиколотку, я ее укусил. Щиколотка тут же превратилась в заголовившую тушу. Петр Петрович дал какую-то неприемлемую команду, в студии появились дядьки, во главе с бритоголовым, и они быстро стали наводить порядок. Хватали, растаскивали, рассаживали на места.

Я пополз в проходе между скамьями. Одна тетка наступила мне на пальцы, другая же перелетела через меня. Вдруг я увидел другой проход и ринулся туда. Я выбрался в коридор. Из зала стала выбираться и прочая публика, кто-то меня толкнул. И тут же схватили за руку, совсем уж неожиданно и высокомерно.

Я хотел вырваться и только тут заметил, что за руку меня схватила... тощая.

— Так и быть, помогу тебе в последний раз! — шепнула она.

И потащила меня куда-то в другую сторону. Она меня вытолкнула через какую-то высокую дверь, «Мерзавец все-таки ты!» — бросила еще женщина, я сбежал по нескольким ступенькам и оказался во дворе.

Тоска

Я вышел на проспект. Какой-то такой — головокружительный. Во всяком случае, лично у меня голова закружилась от него.

Я испугался и все же пошел по нему. И тут же остановил какого-то дурака.

— Что за проспект такой? — крикнул я.

— Где? — удивился тот. Дурак — оттого и удивился. Такое все из себя приоритетное быдло. С эксклюзивным своим обывательством. С подлой своей рассудительностью.

— Вот этот вот! — рассердился я и даже топнул ногой.

— Этот, что ли? — переспросил еще дурак.

— Разве здесь есть какой-нибудь другой? — ядовито полюбопытствовал я.

— Невский, — ответил дурак.

— Что — Невский?

— Проспект Невский, — ответил тот.

— Это — Невский проспект?

— Почему бы ему не быть Невским?!

— Такой прохвост — и вдруг Невский!

— Прохвост? — развел руками дурак.

— Хватит уже! — огрызнулся я.

— Я — ничего! Просто разве Невский не может быть прохвостом? Я ведь и сам когда-то об этом думал.

— Все, я сказал! — сказал я. — Терпеть не могу, когда при мне думают.

— Ну и ладно, — молвил дурак и пошел себе своею дорогой.

Я, разумеется, пошел своею. Не идти же мне дорогой этого дурака!

Невского проспекта я не хотел. Не то чтобы у меня было с ним что-то связано. Я впервые слышу о каком-то там вашем Невском проспекте. Просто он мне не понравился. Да и кому вообще могут понравиться прохвосты? Разве что таким же прохвостам. Я же не был ни прохвостом, ни даже проспектом. Впрочем, ни насчет первого, ни насчет последнего, пожалуй, не могу поручиться.

На стене одного дома я вдруг увидел надпись. Текст ее мне показался знакомым.

«Вид у него неказистый, зато он являет нам идеал...» — прочитал я.

Неужто это про меня? — подумал я. Цинично подумал и *нибельмесно*. Я часто думаю цинично и *нибельмесно*. Еще иногда я думаю *центробежно* и *послезакатно*. *Курсивно* и *белькантно*. *Каверзно* и *подноготно* (впрочем, я, пожалуй, отвлекся).

Потом прошел еще шагов тридцать (или семьдесят два) и там увидел ту же самую надпись.

Какая же сволочь писала эту гадость на стенах и на проспектах!

Дальше про неказистость и про идеал было написано на тротуаре. Подобного усердия, подобной настырности, подобных гегемонии и нигилизма я не понимал.

Руки бы отсохли и отринулись у тех, кто малюет такое на стенах да на тротуарах!

Неужто меня только что показали по телевизору?

Но разве это причина, чтобы тут же выйти на улицу и малевать чушь на стенах да на тротуарах?

Из Невского я свернул в другую улицу, но и она показалась мне явною прохиндейкой.

Третья улица была просто откровенною дрянью (с домами — наглецами и выскочками). Четвертая — не то чтобы совсем стервой, но нечто стервозное в ней непременно присутствовало (в виде зданий — задир и фанфаронов).

Я перешел через мост. Потом еще через один. Мостов я боюсь. Мосты, говорят, падают. И люди с мостов падают. Иногда случайно, иногда нарочно, это уж как получится. Не знаю, как бы я хотел свалиться с моста — случайно или преднамеренно. С мостов падать неприятно. Оно, конечно, у мостов есть парапеты. Но через них перелезть при необходимости — раз плюнуть.

На одном из мостов я снова увидел надпись про неказистость и идеал.

Было еще по дороге что-то величественное — какие-то дворцы, какие-то монументы. Черт его знает, что такое за дворцы! И уж, тем более, что за монументы!

Я долго шел себе, шел — и черт вынес меня к Академической капелле. Разумеется, я не имел ни малейшего представления ни о каких капеллах — просто прочитал надпись. Надписей про капеллы я вообще-то никогда не читаю, эта же буквально сама засунулась мне в глаза. Что поделаешь — пришлось ее прочитать.

Капелла мне ужасно не понравилась. Я даже отшатнулся от нее. Хотя чего, казалось бы, мне отшатываться от какой-то там капеллы! Мало ли капелл на свете — от всех отшатываться невозможно.

Еще была река. Не знаю, что такая за река. Здесь слонялся обыкновенный разухабистый люд, привычно измысливая свои сокровенные мерзости.

Если б я думал и чувствовал в миллион раз больше, чем я думаю и чувствую теперь, я мог бы предъявить это свое варево, эту магму (или плазму) человеку, и миру, и богу, и воздуху, и гумусу, и моллюскам, и аскаридам и потребовать от них содрогания, потребовать от них замирания духа, остановки пульса, увядания пери-

стальтики, да они бы, впрочем, и сами содрогнулись, у них бы и так дух застыл и остекленел, я в этом не сомневаюсь. Но я не могу думать и чувствовать в миллион раз больше, я даже и в сто раз больше не могу. И даже нынешние мои мысли и ощущения для меня нестерпимы.

Петр Петрович — болтун, герой вашего мира, вы носитесь с ним, вы пресмыкаетесь перед ним, — сказал себе я. — Вы платите ему миллионы, вы аплодируете ему, вы просите его гадкие, кривые автографы, вы слушаете с благодарностью его благоглупости, и он незаметно строит (устраивает) ваш социум, ваши семьи, ваши мысли и мнения, вас самих! Подлые человеки! Рабы Петра Петровича, голокожие, человекообразные получеловеки! Петр Петрович — ваш бог, ваш царь, ваше солнце, ваши рибонуклеиновая кислота и икроножная мышца, ваши моральный кодекс и расписание электричек. Вам же, с вашими нынешними навыками и повадками, надо сызнова обрасти шерстью, возвратить отпавшие свои хвосты и — назад на деревья, на тополя, на пальмы, да на сикоморы! Вы не достойны будущего, не достойны настоящего, одно лишь далекое прошедшее — ваш гадкий удел!

И тут я увидел зебру. Неподалеку от собора. Собор был огромный, тяжелый, гнусный, весь в куполах и колоннах. Зебра же была, как ей и положено, полосатая. Она была впряжена в повозку, на повозке стояла клетка, в клетке сидел... профессор. Его я узнал, когда подошел ближе.

Поодаль прохаживался старикашка в ермолке и с пейсами.

Отчего-то я сразу сообразил, что старикашки следует избегать. К повозке подошел осторожно, со стороны зебры. Профессор меланхолично наблюдал за мной и за моими маневрами.

— А, это ты, — тихо сказал он.

Пейсатого он тоже явно остерегался.

— Профессор, как это вы здесь?

— Сгорел по неосторожности, — вполголоса ответил профессор. — Попался на конспиративной квартире, будучи предан человеком, коему доверял безмерно, моим учеником.

— А, — безразлично сказал я.

Тот собирался завести какую-то тоскливую шарманку, а про несчастья я слушать не люблю.

На клетке над головой профессора была табличка: «Называет себя профессором».

— Ученик, который благодаря мне стал доктором наук в тридцать семь лет, можешь себе это представить?

— Не могу!

— Я собирался отстреливаться, но тут на меня набросились сзади, повалили на пол лицом вниз, стали душить. Я думал, что задушат совсем, но все-таки не задушили, и вот я теперь здесь, в этом унижительном положении, и еще эта глумливая надпись, которую ты видел, ведь ты видел надпись? — тревожно уточнил профессор.

— Мне идти надо, — сказал я.

— Минуточку! — испугался профессор. — Я не буду больше про себя, раз тебя утомляет.

Тут старикашка, окончательно заметив меня, стал к нам подходить.

В глаз пейсатого был вставлен какой-то богоугодный пердимонюкль. Который поблескивал то так, то этак, с некоторой неожиданностью.

— Это настоящий профессор, — еще издали сказал он. — Но его нельзя смотреть просто так. Хочешь смотреть на него, плати! Плата у нас умеренная, только на корм для него и для зебры.

— У меня нет денюжки, дяденька, — фальшиво сказал я.

Насчет дяденьки я сказал с нарочитою льстивостью. Кому ж охота сознавать себя старикашкой, облезлым нерассудительным пнем?!

— Тогда отходи, смотри с расстояния! — сказал пейсатенький.

— Я его обследовал, он мой пациент, — вступился профессор.

— Молчать! — взвизгнул старикашка.

Он хлестнул плеткой по клетке. Профессор неосторожно держался за прутья, и ему попало по пальцам.

Он вскрикнул, оскалился и отскочил назад.

— Получил? — спросил старикашка, злобно блеснув своим пердимонклем.

Со мной он не был таким злобным, со мной он был никаким.

— Никто не хочет платить за профессора, — пожаловался старикашка. — Я так уж и ребе Менахему говорил. Раньше у нас негритьянка была, вся такая сисястая, и ляжки как у слона, курила «Беломор» и дым отовсюду выпускала — из носа, из ушей, и даже из заднего отверстия немного выходило. Но климата нашего не выдержала, померла в сентябре от воспаления легких. Жалко негритьяночку, платили за нее хорошо, добрая была, нрава веселого, и звали Саррой. Ладно, — смягчился старикашка. — Можешь его посмотреть две минуты. Только не вздумай кормить! Понял?

— Кормить я не стану, — сказал я.

Старикашка отошел в сторону.

— Помнишь, я говорил тебе о человеке, который собирает сведения о людях с наростами, вроде твоего? Это ученый, зовут его Сергей Левонович, у него частная клиника...

— В Тярлеве? — вздрогнул я.

— В Тярлеве, — удивился профессор. — Так ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— Когда ты у нас обследовался, я еще подумал: хорошо бы, чтобы Сергей Левонович тебя посмотрел.

— Он посмотрел, — пробормотал я.

— Какое он дал заключение? Где он тебя смотрел? Какие анализы делал?

— Не помню, — сказал я. — Только помню, что шел, и Тярлево иногда вспоминаю, само слово, и почки не было, и она болела, и еще я ссал кровью, несколько дней, потом стал ссать меньше, а потом совсем перестал.

— Чтоб Сергей Левонович взял твою почку?! Этого не может быть! Он — авторитетный ученый, крупный специалист...

— Может, он ее и не брал, — сказал я.

— Он не мог взять!

Тут откуда ни возьмись подбежал к нам разъяренный пейсатый старикашка и стал хлестать по прутьям клетки своей страшной плеткой.

— Заткнись! — крикнул он. — Ишь ты, строит из себя профессора!

Я отскочил и оскалился. Плетки мог ненароком отведать и я.

— И ты иди! — крикнул и мне старикашка.

— Что такое? — крикнул я. И взглянул на старикашку каким-то наглым альцгеймером.

— Иди! Раз денег не платишь!

— Если надо, я мог бы и заплатить.

— Иди, я сказал! Нечего тут зубы мне заговаривать.

Зебра же, слушая нашу перебранку, вдруг махнула хвостом, и из-под хвоста у нее вывалилось несколько темных пахучих кругляшков. Пейсатый старикашка огрел зебру плеткой по заднице, та дернулась, оглянулась испуганно и зашагала себе восвояси.

Я тоже пошагал восвояси.

Что мне профессор? Что мне Сергей Левонович и его Тярлево, которого, наверное, не существует?

Я напоследок плюнул в сторону собора.

Да и что мне, если разобраться, и эта зебра? Кобыла — и кобыла, только полосатая.

Шел снежок. Сыпал себе и сыпал. На нас, дураков, не глядя. На нас, шельмецов, не обращая внимания. Когда-нибудь вы еще ужаснетесь снежка, самого обыкновенного снежка. Когда-нибудь вы от него содрогнетесь. И все ваши прежние содрогания будут ничто перед нынешним или тем, грядущим снежком, истинно говорю вам, проклятые двуногие, мерзкие бесхвостые, жалкие прямоходящие, никчемные особи по имени «человек»!

Шел я куда глаза глядят и долго ничего не узнавал. Ни домов, ни улиц, ни автомобилей. Но потом вдруг стал кое-что узнавать. Я узнал предприятие. Куда однажды зашел и откуда был изгнан.

Предприятие было закрыто, оно не работало. И хорошо. И правильно. Не люблю предприятия. Тем более — те, что работают.

Однако же отсюда рукой подать до гадючника!

Я пошел в его сторону, и тут увидел толпу, сумрачную и холодную, как море Лаптевых. Толпа стояла подле гадючника и молча смотрела в его обгорелый зев, в его разбитые окна.

Толпа меня, кажется, не узнала, но отдельные индивидуумы — так очень даже.

— Он! Это он! — заголосили иные из них.

Я погрозил некоторым индивидуумам кулаком, они тут же стушевались.

Чужа деревня, гужа деревня здесь распахнулась и развернулась предо мной во всем своем нестерпимом и неоспоримом безобразии.

Тут из толпы выпростался какой-то старикашка. Старикашка себе и старикашка — ничего в нем особенного я не разглядел. Старикашка, несмотря на некоторый ропот его сотоварищей, вдруг бухнулся на колени предо мной.

— Милый! — эксклюзивно крикнул он.

— Чего тебе, старый? — пасмурно молвил я.

— Не узнал, отец родной? — спросил сей трухлявый мундштук. Не человек, а просто эпитафия какая-то. — Петрович я, Петрович.

— Что за Петрович еще?

— Метлой я махал, помнишь? Когда ты приходил. На этом... как его? Предприятия... И вахтерша, та самая, она тоже здесь. Мария Даниловна. Помнишь Марию Даниловну? Она тебе еще по загревку треснула!..

— Это я, я, я треснула! — даже несколько подпрыгивая на месте, выкрикнула какая-то нестерпимая женская гримза.

— Ну, — сказал я.

— Я — ничего, — смутился старикашка. — Я — старая колода, а ты — исключительная величина и самодовлеющая личность. Тебя по телевизору показывают.

Гримза все выкрикивала свое беспрестанное: «Я!.. я!.. я!..»

Наши гримзы вообще очень любят гордиться своей негативной ролью.

— Ты иди себе, старый! — сказал я. — Я тоже пойду. Мне теперь надо.

Я пошел в сторону дома сестры. Хотел было пойти в другую сторону, но не сумел — ноги сами меня туда понесли.

У дома сестры был свет, и там была другая толпа. Во сто крат больше. Людишки тихо говорили; вернее, просто жевали свою мирную лапшу в ожидании моей пресловутой личности. Свет же — от факелов, которые держали люди, от тысяч факелов.

Я разглядел Олега Олеговича. Тот был в своем обычном подшлемнике и в темных очках. К тому же я разглядел тощую. Она тоже была в темных очках и стояла рядом с Олегом Олеговичем. Они были, как близнецы и братья. Или скорее — как брат и сестра.

Впрочем, нет! Тощая на сестру не похожа.

Зачем им темные очки в темноте?

Олег Олегович посмотрел на меня. И тощая тоже посмотрела.

Я продрался через толпу до самого парадного.

Я обернулся к людишкам с факелами, потоптался немного, помялся, потом поднял голову и сказал сокрушительно:

— Сестра есть!

Толпа на мгновение застыла, и тут вдруг разнеслось над нею подхваченное тысячами одушевленных глоток:

— Есть! Сестра есть! Есть сестра!

— Если я вернусь, я научу вас молиться, — тихо сказал я.

— Вернется... молиться... молиться... — шелестело теперь.

Дверь тихо открылась, и я вошел.

— Я так и не знал, что ты непременно придешь, — сказал мне студент (это был он, он же предо мною дверь и открыл).

Но это был уже не студент и не человек, это был аспид. Подлинный аспид. Все человеческое с него теперь слетело, все человеческое в нем растратилось. Аспидное же восторжествовало.

Как аспиду удалось открыть дверь предо мной — ума не приложу.

— Я тоже не знал, потому и пришел, — сказал я. И обреченно стал подниматься по лестнице.

Аспид-студент ловко полз сзади. Более со мной он уже не говорил.

Аспиды шипучи (шипящи), но неразговорчивы.

Дверь квартиры тоже открылась сама собой. Вернее, ее открыл второй аспид. Еще вернее — другой студент, который теперь тоже был аспидом.

— Он долго бегал и теперь наконец дома, — сказал первый аспид из-за моей спины.

Вернее, прошипел. Они оба шипели. Странное дело, я их понимал.

Кажется, я стал понимать аспидные языки.

— Хорошо, — прошипел второй аспид. — Дома лучше.

— Это не мой дом! — крикнул я, крикнул, тоже немного пришепечывая, чтобы вышло несколько даже по-аспидному. — Но это ничего, это дом сестры! — тихо договорил я.

— Сестры, сестры! — прошелестели оба и свернулись кольцами подле моих ног, немного даже подталкивая.

— Не ваше дело! — крикнул я.

— Он явился сюда за мировой безвестностью, — сказал еще один из студентов.

— Его еще ожидает блистательное прошедшее, — молвил второй.

— Да, — обреченно согласился я. И бросился в глубь квартиры.

Та тоже сделалась иной. Сделалась темной, аспидной, ужасной. Аспидными стали стены и потолки, все было будто в аспидной коже.

Студенты проворно ползли за мной следом.

— Рашид теперь в Чимкенте, — пропел-прошипел первый.

— В Шымкенте, — так же проговорил другой.

— И жена Рашидова в Чимкенте!..

— В Шымкенте!

— А дети их теперь наши!

— Они такие, как мы...

— Они здесь, они с нами, они здесь!

Тут я добежал до комнаты сестры.

Комнаты не было, и двери не было, и проема дверного не было, зато была ночь, тяжелая, беззвездная ночь. Сделаешь шаг — и упадешь в нее. Может, и хорошо упасть в ночь, но я почему-то теперь этого опасался.

Черт его знает, что там, на самом дне ночи!

— Где комната? — крикнул я.

— Нет, нет комнаты, — ответили аспиды.

— Сестра! — крикнул я.

— И сестры нет, — ответили ползучие гады.

— А почему шкаф вынесли? — припомнил я.

— Нет, нет теперь шкапа!

Я отшвырнул ногой одного студента, скрутившегося в тугие кольца. Потом и другой полетел вслед за первым. Я шарахнулся назад. Там были разъяренные студенты и темные коридоры. Я скользнул в комнату тети Тамары, дверь туда была открытой. Аспиды метнулись было за мной, но я захлопнул дверь прямо перед ними.

В комнате не было видно ни зги.

— Это я, — превентивно шепнул я, памятуя о матери тети Тамары.

Самой тети Тамары могло и не быть, она пропала. А вот глупая старуха, ее мать, ясное дело, никуда пропадать не собиралась.

— Я приходил потому, что я сестру искал, — жалостливо сказал я.

Я думал, что меня тут же отсюда выкинут. На радость всем коридорным аспидам. Но было тихо. Никто меня пока не выкидывал.

А может, здесь есть какие-нибудь свои, комнатные аспиды? Ползают где-нибудь по полу. Маленькие, токсичные и безжалостные.

Я стал шарить вокруг. Нашарил свечку в подсвечнике, потом нашарил и спички.

Студенты бесчинствовали за дверью. Не по-студенчески — по-аспидному.

Желтый свечной огонек беззащитно замигал над комодом. Там были еще свечи в подсвечниках. Чтоб не было страшно, я зажег еще несколько.

Старуха не шевелилась. Я взял подсвечник и с опаской приблизился к ней.

— А-а! — тут же вскричал я.

Старуха была мертвой. И не просто мертвой, но и давно истлевшей, старуха была мумией. Сколько она пролежала здесь? Месяц? Нет, не месяц! Год? Или одиннадцать лет? Долго-долго здесь так пролежала старуха, уж и смрад от ее мертвого тела развеялся.

Как же я говорил с ней недавно? Как же целовал ее гадкую руку?

А так вот и говорил, так вот и целовал!

С опаской я разглядел *мертвицу*. Седые лохмы клочьями отставали от ее черепа, вместо глаз были черные дыры, ввалились и щеки.

— Тетенька, — сказал я, — я пришел, я теперь в тоске, а там аспиды, которые были раньше студентами, а тети Тамары нигде нет, я не знаю, где она, а вы обещали мне что-то отдать от сестры, и, если надо, я снова могу вас назвать красотулечкой... Красотулечка! — увесисто сказал я. — А вот руку у вас целовать больше не буду, потому что я не могу, это я говорю честно.

Тоска же моя была настоящей, я вдруг особенно ощутил это. Тоска моя была смертельной, последней, отчаянной. Тут же какая-то нелюбезная лакрмоза объяла все существо мое, бедное и неистовое, отчего я едва не задохнулся.

А мертвица даже не шелохнулась.

— Что вы хотели мне отдать, тетенька? Красотулечка! — глухо поправился я. — Может, сам посмотрю?

Ответом была тишина. Тишина была наждачной и надсадной, тишина была везде. Тогда, вооружившись сиротской свечечкой, я отворил скрипучую дверь шифоньера. Там было все старушечье, гадкое и ветхое, пропахшее нафталином и несчастьем. Та же история повторилась и в комод. Ничего сестринского, ничего юного, светлого, совершенного, великолепного, сверкающего, несокрушимого там не находилось. Слезил я и под кровать — там только пыль, паутина, стоптанные старушечьи шлепанцы.

Обманула, обморочила проклятая перечница! — с горечью сказал себе я. — Ведь ей от меня была нужна одна «красотулечка», только лесть, глупость и помада, чего-то же сестринского у нее и в помине никогда не было!

Я стал расшвыривать все, что попадалось под руку.

И что меня вообще надоумило заглянуть к ней под подушку? Я там сразу нащупал что-то...

И вытащил я... тетрадь. Сердце мое заколотилось при виде этой тетради. Та не была старушечьей, даже пребывание под подушкой мертвицы ее ничуть не состарило.

Придвинув свечку поближе, я отворил тетрадь.

Сестра. Преображение

18 сентября.

Мне подарили «Diary».

Не дневник, а именно «Diary», там так написано.

Никогда не вела «Diary», да и теперь, наверное, не стану. Но пару строчек в день записать можно.

Тут кровь бросилась мне в голову, я вспотел, зубы же мои стучали от волнения. Неужто это — «Diary» милой моей сестры? Не соврала чертова дохлая старуха!

Как мило, как непринужденно написано. С каким светом, с какою возвышенностью! Так может писать только один человек, одна девушка — моя сестра!

21 сентября.

Однокомнатная на двоих с Ленкой на Второй Комсомольской — вроде бы и недорого. Но если учесть, что такое Вторая Комсомольская, выйдет уже совсем иная песня.

К тому же хозяйка указывает на дверь. Пришла сегодня и стала рассуждать. Командным тоном. Молодая да наглая!

Две недели перекантоваться получится, а потом надо что-то думать.

22 сентября.

К Ленке ходит Кирилл, ко мне — Славик.

Периодически мы с Ленкой договариваемся: то она по городу болтается или уходит к кому-то, то я.

Кажется, Кириллу Ленка надоела, он ко мне подбивается. Кирилл — ничего. Если он Ленку бросит, я, пожалуй, подумаю.

Славик тоже ничего...

Все — ничего. Но быть просто «ничего» — мало...

Что же это? Что такое? Какой еще Славик? Какой Кирилл? Разве способны они оценить чудо? Разве достойны они этого чуда? Мне нужно немедленно отыскать сестру мою, а этого Славика и этого Кирилла избить, поколотить их обоих.

Нет, я должен убить их!

Как опасен этот мир! Как беззащитно в нем чудо! Защитников же чуда практически не существует. А если даже и есть — они бессильны и рассеянны.

23 сентября.

Сегодня выпало гулять мне. Была на Мойке и на Конюшенной. Познакомилась с Рустамом. Сидели в кафе. Обменялись телефонами, на этом пока все.

Рустама тоже изничтожить! Нужен список, реестр, перечень, индекс обидчиков сестры моей. Настоящих или только возможных. Нужны чрезвычайные меры. И — мстить, мстить, мстить!

Можно еще наименовать сие книгой. Книга Обид и Обидчиков.

Иногда я кажусь себе похожим на бога. У того тоже много всяческих книг. Только их никто не читает. Их и читать невозможно.

29 сентября.

Была у брата. Сидел в больничном халате, нечесаный, мрачный. Худой, длинный, сильный, загадочный. Руки в карманах. Большие, словно у пианиста. И узловатые пальцы. Сказал, что снилась ночью подлая птица колибри.

— Почему подлая? — удивилась я.

— А разве не подлая? — удивился и он. — Все птицы подлые, и колибри — такая же, только меньше. Но на качестве подлости это не сказывается.

— И что — колибри? — спросила я.

— Ничего, просто колибри.

— Она летала?

— Колибри всегда летает, колибри не может не летать. И даже спит на лету. Она так быстро крыльями машет, что их и не видно. Оттого на шмеля похожа.

— А подлость? — спросила я.

— Конечно, подлость была, — согласился брат. — Куда ж она денется!

«У человека нет бога. У них — ароматизатор, идентичный натуральному, а не бог».

Это тоже сказал брат.

Боже! Боже! Она меня знает, она меня помнит, она обо мне даже написала в своем «Diary»! Раз так, я теперь появлюсь! Всякий появляется в другом, в его словах, в его помыслах, в его ощущениях.

30 сентября.

К Ленке ходит Кирилл, а еще и Николай. Я сразу сказала: брось этого придурка! Ты разве не видишь, что он обычный торчок?

Николай ходил две недели, потом пропал. Я даже обрадовалась.

Сегодня пришли двое.

— Где порошок? — говорят.

— Мы-то тут при чем? У Николая и спрашивайте!

— И у него спросим, — отвечают.

Потом пришел третий, плешивый такой, гладенький. Он у них за старшего.

Он Ленку завалил в комнате, двое потащили меня в ванную.

Кто придумал: расслабься — получишь удовольствие! Сам бы попробовал, сволочь!

Что? Что это? Я такого не хочу! Кто же налгал, кто наклеветал на сестру мою? Кто подменил ее? Кто притворился ею? Кто присвоил ее себе? Кто подделал дух ее,

смысл ее, стиль ее, сердечное соцветие ее, ее паттерн, ее почерк? Быть может, эта дохлая старуха присосалась к духу моей сестры, исказила ее юность, преобразовала и загрязнила ее мысли!

В отместку я треснул кулаком по подлому старухиному шифоньеру. Тот загудел и сказал что-то весомое. Слов я не разобрал. Он, наверное, сказал что-то без слов.

Огоньки свечей заматались. Отчаяние теперь в сердце моем. Вы такого не ведаете.

1 октября.

Собрала манатки и поехала в центр. Эти еще вернутся. Пусть Ленка с ними сама разбирается.

С сумкой, конечно, много не выходишь. Если что, до утра можно у Ивановой упасть. У нее часто ночуют подруги ее, лесбиянки. Это просто как вариант.

На Рубинштейна открытие новой галереи. Художественная выставка — вход по пригласительным.

Поулыбалась мальчику-охраннику. Сказала: поезд в Москву через два часа, а пригласительный у мужа, который должен скоро приехать. Работает в Мариинском дворце. Поверил. Сумку оставила в гардеробе, пошла посмотреть выставку.

Выставка сборная, два художника и художница. Холсты, батики, изделия из металла. И никого знакомого, как на грех. Поговорить не с кем.

Взяла шампанского, марципановую булочку с полпальца ростом, присела на пуфик. Тут ко мне какой-то папаша подкатывает — волосы курчавые, буйные и глаза немного навывкате.

— Ну и как? — вопрошает с одышкой.

— Нормально, — отвечаю. — Энергия, стиль, глубина, — говорю.

— Ага, кондилома! — говорит с досадой.

— Это как это?

— А так вот, — отвечает. — Настоящих энергии со стилем вы-то все и не видели. Про глубину уж и не говорю.

— А где их посмотреть можно?

— Да вот у меня хоть, к примеру.

— А вы кто будете? — спрашиваю в упор.

— Буду я... — отвечает, — Жмакин, художник.

Разворачивается и исчезает. Возвращается через минуту с шампанским, мне и себе. Пьем за искусство. Тут он и спрашивает:

— Ну так что, хочешь взглянуть на энергию с глубиной?

— И с кондиломой. Только у меня сумка в гардеробе. Тяжелая. Может рука оторваться.

— Сумку я понесу, — кивает головой Жмакин.

2 октября.

Он пишет картину. На потолке. Нет, к потолку он только примеряется. Стены же все извозюкал. Потом полом займется.

У Жмакина хорошие краски. Много чистого цвета. Нет этой серятины, про которую говорят «русская школа».

Жмакину лень с холстами возиться. Он малюет на том, что увидит. Сказал даже, что хочет меня расписать. Обнаженную. Мне только этого не хватало.

Жмакин простодушен и беспечен. Жмакин обаятелен и еще редко бывает трезвым. Это он сам сообщил.

Я сразу сказала, я, Жмакин, у тебя не останусь. До утра разве. Мужик как с катушек слетел. До трех ночи ломал меня, сам весь потный, глаза красные. А я что, я тоже не железная. Хотя все еще больно. После того случая.

Всю ночь гавкал жмакинский бобик во дворе.
Жмакин говорит, что собаки лучше сторожат, когда их не кормят.

Боже! Разве сердце мое выдержит такое? Разве мозг мой не разорвется? Почему в этой жизни столько несчастного и несправедливого? Почему мир сей столь ужасен, столь гадок и нечестив? И что в нем делаю я, с моей промозглой, с моей отчаявшейся и изнуренной душой, с моими разнузданными нервами?! С моей возмущившейся селезенкой! С моим прискорбным гипоталамусом! С моей разбушевавшейся, воспаленной подноготной!

3 октября.

Жмакин впереди с моей сумкой, я позади, будто собачонка, едем до Сенной, дальше на маршрутке, Жмакин везет меня показывать комнату. Комната дрянь, и окно в стену, но сойдет на первое время. Зато не таскаться каждый день из Бернгардовки.

Я на него хорошо наехала — он уступил.
Пообещала, что будем часто-часто встречаться.
Жмакин милый. Хотя сумасшедший.
И, если его картина ночью приснится, так тут же опишешься.

5 октября.

Квартира огромная и вся несуразная. В ней и сама становишься несуразной. За стенкой — тетя Тамара с матерью. Мать давно померла, но ощущение, что она все еще там. Иногда оттуда слышны стуки и еще голоса. Прямо Хичкок!

Сидела на кухне, тут вдруг вошел огромный узбек. «Я — Рашид, — говорит, — дэвушка. Всэ меня боятса, но ты не бойса мене, дэвушка».

Вот как!
С чего бы мне его бояться?
Тут вбежала узбечка, стала орать на узбека по-узбекски, и узбек на нее орал так же. Кричали они минут десять. В конце концов он сказал (по-русски): «Я только сказал ей, что я — Рашид! Верно?» — спросил он у меня. И поглядел заискивающе.
«Верно», — сказала я.

6 октября.

Сидела на кухне, ожидала чайник, читала понемногу Россетти — мне по префаэлитам писать реферат.

Пришел Вадим. Он и Никита — студенты, учатся в Университете кино и телевидения.

— Че читаешь? — спрашивает.
— «Sister Helen» and «A last confession».
— Нравится?
— Элиот лучше.
— Томас Стернз?
— Ну не Джордж же!..
— Тоже старье. Почитай уж тогда Джона Эша.
— Читала уже.
— И что, не нравится?
— Неплохо. Я даже перевела несколько его стихков.
— Ты чай собираешься пить? — спрашивает.
— Пока еще да.
— А чай можем у меня попить. У меня печенье есть.

— Печенье — это хорошо.
— Да уж, не хуже Джона Эша.
Тут как раз и чайник закипел.
Пошли мы к Вадиму.
Он хорошо рассказывает. Целуется еще лучше.
Какой там Жмакин? Не стоит даже вспоминать.
Вечером мы еще в постельке валялись — тут Никита пришел.
Я хотела одеялом прикрыться, но Вадим его с меня сдернул.
— А мы тут Джона Эша обсуждаем, — говорит.
— Джона Эша я люблю, — согласился Никита, раздеваясь.

— Вадим! — отчаянно вскричал я.

И тут же вспомнил, что он — аспид. Или, может, и не аспид, но еще кто-то. Студенты превращаются в аспидов, но ведь это, возможно, и не самоцель. Не окончательное звено в цепи превращений.

Если я убью Вадима, то кого убью я? Студента? Аспида? Или еще кого-то? Но убить его надо непременно! Это мой долг, моя обязанность перед миром, перед самим существованием!

Решено: еще почитаю немного и пойду убивать!

Никите тоже не жить, разумеется.

7 октября.

Жмакин, мрачный, как туча, бродит под окнами.

Оделась, спустилась к нему.

«Что, Жмакин? — говорю, — что ходишь, мрачный, как туча? Ходи лучше, ясный, как небо!»

«Хочу и хожу», — отвечает.

«Хочешь, — говорю, — я тебе Джона Эша почитаю?»

«Нет. Эша я не хочу!»

Совсем с ума сошел Жмакин!

Когда я пойду убивать, я стану делать это молча. Не доверяю тем, кто, собираясь убивать, философствует. Философия — это искусство отговорок, достояние околичного духа. Убивающий же действует, опровергает умственное, искусственное, суесловное. Слава убивающим, ибо их есть мир грядущий и царство новых творений!

9 октября.

Ощущение, будто кто-то пишет меня, кто-то думает обо мне, и я появляюсь. А до того пребывала в небытии и безвестности.

Хотя кто может меня писать? Только я сама?

Или еще кто-то?

10 октября.

Приезжал брат. Его отпустили из больнички на выходные.

У него на голове нарост. Вроде шишки. Только не шишка. Никто не знает, что это такое.

Обследование затянулось. Возможно, зашло в тупик. Нужно что-то нестандартное, нужны иные подходы.

«Мир прекрасно обошелся бы и без русских, — сказал брат. — Но мы существуем, и сей факт осложняет многие существования».

У меня были конфеты. Мы пили чай.
Брат любит чай.

Боже! Да что же это такое! Ведь сестра моя — свет и перемирие, ум и бесконечность, высокий огонь и амплитуда — вот что значит сестра! Все небывалое и метафизическое немеет и бледнеет пред ней. Но вижу это только один я, и никто более. Оно, впрочем, так и должно быть. Нестерпимое и блистательное лицезреть следует мне одному. Ваше же достояние — пустое, заурядное, неблагоприятное, ваше имущество — шоу-бизнес с газетою пополам да с плоскими идейками вдобавок. С ничтожными разговорцами. Не хочу я никаких ваших разговорцев, ваших скудных мнений, ваших властителей духа, ваших брендов, трендов, тенденций, экспликаций, эксгумаций, инаугураций, мастурбаций и всего прочего! Ничего не хочу.

12 октября.

В больничке у брата ко мне подошел Сергей Левонович. Красивый армянин лет сорока, весь холеный, толстогубый, с отпечатком состоятельности и заграничного образования. Он здесь изредка консультирует, у него частная клиника в Тярлево. Небольшая, коек на двенадцать.

— А что брат? — спросила я.

Дела, кажется, обстоят не лучшим образом, но Сергей Левонович излучал оптимизм.

Не следует полагать, что это — дорога к неизбежному, в том числе сказал он. — К тому ж даже самое неизбежное не должно нас пугать. Поскольку велика вероятность перерождения. Он так считает. Или — нет: преображения! Именно так он и сказал.

Он пригласил меня в ресторан.

Разговор, мол, непростой. Не на пять минут.

Вечер того же дня.

После ресторана поехали в Тярлево. Никогда не пресмыкалась перед состоятельностью. У Сергея Левоновича реальная тяга к прекрасному; много великолепной современной керамики, статуэток, десятка два холстов — галерея. Сергей Левонович — настоящий ценитель.

Он красиво ухаживает.

Боже! Подлецы! Человеки! Отчего в вашем мире чудо живет, прозябая и согбенствуя? Отчего оно, от природы блистательное, вынуждено всем великим блистанием своим лишь ублажать гнусные и равнодушные ваши глаза, подлые и осоловевшие ваши зенки? Разве в том назначение чуда? Разве для вас чудо приходит в сей мир и во дни сии? Нет, не для вас приходит оно, но приходит оно для самостийного сверкания, для сверхъестественного утверждения, для непостижимого господства. Чудо ныне приходит путями обыденными. Тогда как оно должно приходиться путями немислимыми, путями нестерпимыми, небывалыми! Путями несуществующими должно приходиться чудо!

13 октября.

Жмакин подстерег меня возле дома, сопя, подскочил и, ни слова не говоря, ударил меня по скуле. Не в полную силу, конечно, хотя все равно больно. В полную силу он бы мне челюсть сломал — Жмакин сильный.

Я тогда руки опустила и так спокойно сказала ему:

— Жмакин, запомни эту минуту. Очень скоро ты пожалеешь об этом.

Тот бухнулся на колени. Стал целовать мои сапоги. А на улице дождь, грязь, на носки налипли песок и опавшие листья, и Жмакин все это целует, плачет и целует, прохожие мимо шпарят и озираются, а тут еще Рашид со всем семейством идет — такая вот картина!

- Я, — говорит Жмакин, — потолок расписывать начал.
- Поздравляю. Но это не оправдание.
- Потолок ты еще не видела, — сказал тот, а сам все сапог мой целует.
- Не видела — и не надо!
- Тебе понравится!
- Может, понравится, а может, и нет.
- Я точно знаю, что понравится. Ты только одна и понимаешь. Ты особенная, ты единственная, — сказал он.
- Не сегодня, Жмакин, не сегодня!
- Почему не сегодня?
- Нет, Жмакин, — сказала я.

14 октября.

Жмакин и вправду принялся за потолок.
Рехнулся он окончательно.
Сварила еду для жмакинского пса. Пусть стережет похуже, зато живой будет.
Он меня тяпнул за руку, когда накладывала для него еду. Легонько тяпнул, почти извиняясь.
Зато теперь мы друзья.
Жмакин спит. Проснется — снова станет потолок мазать.
Картина у него потрясающая, сам же он дурак дураком.

Я захлопнул «Diagu» в ярости, в тоске и в болезни. Я хотел немедленно умереть. И все для того только, чтобы на том свете отыскать Жмакина и истребить его сызнова. Впрочем, того света не существует, лишь только — некоторые неясные фантомы и феномены, которые ошибочно принимают за тот свет, тогда как это всего только угасающие психические явления (ногти ведь и волосы растут у покойников — отчего бы и психическим процессам не угасать некоторое время!). Так что Жмакина истребить сызнова, пожалуй, не выйдет.

Стиснув зубы, я снова раскрыл «Diagu». Постарался отыскать прежнее место, но прежнее место не отыскивалось. Буквы раскались перед глазами моими, производя слова и фразы вовсе уж странные, вовсе уж невозможные. Несловесные какие-то слова, нефразистые какие-то фразы!

Жмакин, Жмакин!

15 октября.

На Итальянской встретила Рустама. Познакомились с ним недели три назад, с тех пор пару раз перезванивались, но ни разу не виделись. Думала: увижу — так не узнаю. А тут вдруг узнала, и он меня узнал. Пошли как старые приятели, болтали о том о сем, но Рустам вдруг помрачнел, стал говорить глухо.

- Знаешь? — спрашивает.
- Что знаю? — отвечаю.
- Вторжение происходит, — говорит.
- Какое вторжение?
- Такое. Можно сказать, нашествие.
- Нашествие?
- Или пришествие, это как посмотреть.

- Что за нашествие? Или — пришествие...
- Неведомых существ.
- Каких существ?
- Таких... они маленькие. Вроде зеленых человечков. Но они не наши, не из этого мира, не из нашего времени, говорит. Их уже много, а будет еще больше. Они многих прельстили. С ними идут тысячи, а будут тысячи тысяч, и мир обречен.
- На что обречен?
- На безмирие, на безвременье, на безнадежность.
- Ты откуда знаешь, Рустам?
- Знаю, — отвечает. — Видел — потому говорю.
- А чего ты такой дерганый стал? — спросила на прощание.
- Они знают, что я знаю, что они знают, оттого мне несдобровать! Им рано еще выступать на свет, но все-таки уже скоро, и некоторые из них уже выступают. Возможно, на свой страх и риск, — говорит.

Вечер того же дня.

Сергей Леонович пригласил на выступление братьев Макухиных. Старший из братьев — Илья — его давний приятель.

Представление — полная дичь, но играют они блистательно.

Жанр такой: блистательная дичь! Веселое безобразия! Сногшибательное беспутство.

Потом сидели за кулисами, пили коньяк. До позднего вечера.

Илья говорит медленно и веско. Все к месту и убедительно.

Из Оскара сыпались еврейские анекдоты, как горох из решета.

Давид же... молчал. Он поглядывал на меня. Да так, что у меня мурашки по коже. Или не мурашки, что-то другое.

Ночь у Сергея Леоновича.

Не знаю, кто из братьев меня больше удивил.

Не могу же я быть сразу со всеми троими.

Или могу?

16 октября.

Жмакин, Жмакин!

Он становится занозой, он знает, где меня найти!

Он дежурит под окнами, либо прячется неподалеку.

Пыталась поговорить с ним — даже не слушает. Кричит или плачет. И все про картину свою что-то бубнит. Картина — его оправдание, его пропуск в бессмертие. Это он так считает.

17 октября.

Илья, Давид и Оскар готовят новую программу, пригласили меня на репетицию. Хотя обычно они этого не делают. Репетиции — дело интимное. Говорят они.

Поначалу они долго хохмили, придуривались, потом, когда стали работать, выделяли всякие гимнастические штуки — всякие кувырки, сальто-мортале — в бешеном темпе, на деревянном полу, без перерывов. По-моему, так и убиться можно, но Макухины не убивались, они в отличной форме.

Не знаю, что из всего этого получится, но впечатление уже сейчас феерическое.

Позвонил Сергей Леонович. Я вышла в другое помещение, чтобы поговорить.

Когда вернулась, братья прервались, сидели — пили кофе, волосы, мокрые от пота, невольно постояла и полюбовалась ими. Троиими братьями. Ильей, Давидом и Оскаром.

Ох, сестренка, сестренка! Не надо бы тебе этих феерических впечатлений! Что тебе феерические впечатления, если их несут с собой гнусные братья Макухины?! По мне так, с человека довольно впечатлений обычных, замшелых, заурядных! Вот я, к примеру, прожил свою безвестную жизнь, полную квелого модернизма и неразгоревшегося огня. Слов у меня немного, всего-то полмешка или чуть более. Столько я произвел их за всю жизнь, и они просыпались через прореху в том самом мешке, разметались по почве, расточились по бездорожьям, потрачены вьедливым ветром и злобными насекомыми. Склеваны птицами. Птиц я люблю, человеками же тягочусь. Птицам лучше вовсе склевать слова человеческие, чтобы те не остались у человека, так думаю я!

18 октября.

Рассказала Сергею Леоновичу о Жмакине, о его картине.

Может, предложить Сергею Леоновичу купить картину Жмакина на корню?

Вместе с домом.

Интересно, будет ли Жмакин счастлив, если купят его картину?

Или он лишится цели в жизни?

Сергей Леонович картиной Жмакина не заинтересовался.

«Он вознесется», — сказал Сергей Леонович, имея в виду Жмакина.

«Как это?» — переспросила я.

«Ничего. Скоро многие вознесутся».

Я так и не поняла.

Что-то происходит странное. Но это странное в одно и то же время и — самое обыкновенное.

19 октября.

Ночь у Ильи. Илья большой и сильный. С ним спокойно.

Отчего-то приснился Давид. Причем приснился не просто Давид, но Давид, которому снится Оскар. Оскар же (в Давидовом сне) восхищался Ильей, он держала в руках орифламу с начертанным именем старшего брата. Все три Макухина связаны невидимой золотой нитью.

Показалось интересным про эту нить.

Встала, чтобы записать. Но то важное, что объясняло эту нить, вдруг иссякло и развеялось. Показалось неважным.

— Ты что? — спросил проснувшийся Илья.

— Записываю кое-что.

— Покажешь потом?

— Только не тебе.

Давид! Додик, Додька!

20 октября.

Ощущение, что в квартире скоро все переменится. Переменится тетя Тамара, переменится ее мать. Переменятся Вадим и Никита, переменятся Рашид и Гузаль, и их дети. Переменятся остальные. Переменится и сама квартира — ее стены, пол и потолок, ее воздух, значение, наименование и конфигурация. Вопрос только: что будет со мной? Переменюсь ли и я, или квартира просто исторгнет меня, и в нее заявятся новые истцы, новые вопрошатели? Новые ведуны, ходатаи, новые следопыты? Уже скоро произойдет все сие, через несколько дней, кто-то очнется из забытья, почувствует вдруг себя здесь и сейчас, и шестерни провернутся, со скрежетом и нержавеющей духом.

Боже! Ныне я разбит, расщеплен, размозжен, расчеловечен! Ныне душа моя в горе и в беспорядке. Ныне ум мой позабыл себя, и сердце мое бьется в тоске и в безродных созвучиях. Сестра моя — солнце — снова нестерпимо обжигает донья моих глаз, и потому слеп я стою и безмолвен. За дверью сгрудились враги мои, мучители сестры моей, враги родов человеческих, колен человеческих, имен человеческих, правосудий и правописаний, воины праха, олигархи безвестности. Как много в них бесноватости! Как мало в них правды и смирения!

Мне теперь была безразлична судьба моя, участь моя, и я распахнул дверь.

Коридора более не было. Как будто и прежде его не существовало.

Было пространство, без краев, без дна и без света. Пространство, полное бессодержательных залежей, полное отсутствия, хладного огня и нештатного бесцветного мерцания.

Прежде всего я увидел двух узбечат, ростом они мне были по щиколотку, и подлинного, узбекского в них почти не осталось. Они сделались зелеными человечками. Шершавыми и безносыми. И студенты тоже, проклятые студенты — Вадим и Никита — сделались зелеными человечками, безносыми и бороздчатыми, в них теперь не осталось ничего аспидного; аспидное было лишь фазой, этапом, стремились же они сюда — в зеленое, в травяное и темнолиственное, в инородное, в фантастическое. Ростом же они хоть и были невысоки.

И еще я увидел красивого и холеного армянина (или японца — в нациях я не разбираюсь), пристально смотревшего на меня.

— Сергей Леонович... — глухо сказал я. Пред собою глядя косвенно и однобоко. — Как ваше Тярлево?

— Вот мы встретились, — отвечивал тот.

— Где сестра моя?

— Она приняла новую форму.

— Какую еще форму? — подшибленно вскричал я.

— Ты позже поймешь.

— Я теперь хочу!

— Теперь не получится.

— Почему это еще?

— Так надо! Мы не с этой планеты. Мы несем добро и порядок, и ты тоже станешь нести их, — молвил Сергей Леонович.

— Не собираюсь ничего нести!

— Вместо зла и несчастья, как это происходит сейчас.

Тут он и приблизился ко мне.

— Тебя только нужно немного настроить, — сказал Сергей Леонович. — Отрегулировать.

Он коротко свистнул, и проклятые студенты Вадим и Никита повисли на моих руках. Так, что я и пошевелиться не мог. Роста они были малого, силы несметной. Свист же на языке аспидном (и на студенческом) обозначает команды.

— Настроить, настроить! — приговаривали они.

Сергей Леонович стянул с меня берет. Постылый и ортодоксальный мой берет. Тонкие его пальцы ощупывали мой нарост. Я не знал, что затеял сей мучитель, и потому на всякий случай простонал коротко.

Доктор ковырнул кожу ногтем, она отделилась от темени, брызнула липкая, теплая сукровица или иная какая-то смазка, и в наросте моем что-то ожило. Что-то пришло в движение, что-то стало выдвигаться возле самого основания, к тому же раздваиваясь.

Неужто у меня выдвигались рожки? Разве ж я черт?

Но то были не рожки — антенна. Антенна скрывалась в моем наросте, такие

точно антенны, короткие и раздвоенные, были и у зеленых человечков — студентов.

Значит, и я тоже — зеленый человечек, безносый, плоскоголовый, парнопяточный? — подумал я. Нет, не хочу быть зеленым человечком, я никаким человеком (или даже человечком) быть не хочу! Я вытолкнут, выброшен в род человеческий вопреки ощущениям моим, вопреки смыслу и предназначению моим, я в *этом* роде чужой, посторонний, всегда был и всегда буду таким.

Студенты стали срывать кожу с моей головы, от нароста в стороны и далее вниз. Они снимали с меня скальп, и, странное дело, это не было больно. Как будто кожа моя дозрела, доросла до того, чтобы быть снятою.

Потом им стала мешать одежда, и студенты стянули с меня пальто и свитер, расстегнули штаны.

— Где моя почка? — глухо спросил я.

Не студентов спросил — Сергея Леоновича.

Они сорвали уже кожу с плеч моих, с боков и с груди. И под ней, под моей старой кожей, я видел это отчетливо, была кожа другая — молодая и темно-зеленая.

Сзади, с правого бока, под кожей у меня оказалась небольшая ниша. И в нише застежка была, вроде «молнии». Туда-то Сергей Леонович и направил врачебные свои персты.

Застежку он расстегнул. Я скосил глаза и увидел в нише небольшую панель с индикаторами, со светодиодами. И совсем уж миниатюрную клавиатуру.

Стало быть, почка здесь совсем ни при чем? Может, у меня и прежде ее не было?

Пальцы Сергея Леоновича бегали по клавишам.

— Юстировка, юстировка! — сказал один из бывших студентов.

— Юстировочка!

— Юстировка — хорошо!

— С юстировкой он будет совсем наш!

— Сестра твоя — свет, — сказал вдруг Сергей Леонович.

— Какой еще свет? — настороженно крикнул я.

— Ты хотел, чтобы сестра была светом, вот она и прольется светом, немислимым и неугасимым!

— Над миром прольется? — на всякий случай уточнил я.

— Над миром тоже. Но пуще так над градом и авангардом, — отвечивал Сергей Леонович.

Про град и авангард я понял, я все теперь понимал. Не зря надо мною произведена была сия вивисекция (и эта настройка). Последствия оных я ощутил моментально.

Ибо весь мир открылся передо мной. Я обладал неким новым всеведением. Каким, должно быть, обладают иные из зеленых человечков, тайно сгрудившиеся в мире сем, ожидающие своего часа и своего поезда — своего стучающего колесами экспресса. Часа же своего ожидают все зеленые человечки. Тонкорукые, узколицые. С глазами миндалевидными, с кварцевым блеском.

— Пусть, — сказал я.

Со светом я был согласен. Я всегда подозревал, что сестра моя — свет, что она даже выше света, и вот предположения и гипотезы мои подтвердились.

Свет, сестра, сокрушенность — я был полон новых сведений, новых домыслов и замыслов, нового бытия. Достоин ли я был сестры прежде? Нет, не достоин! Достойн ли я ее теперь? Нет, не достоин даже более прежнего. Зато я ныне пронизан пустотой и прекословным духом. Пустота, пустота! Люблю тебя, пустота, преклоняюсь перед тобой, пою тебе мадригалы и гимны, вокабулы и дивертисменты, воз-

ношу и вздымаю молитвы мои, и вот уж ныне — ответно — процветают во мне пустословие, пустомыслие, пустопорожность. Пустота — а совершенно не свет — ныне была во мне. Значит ли это, что делались какой-то обман, махинация? Совсем не обязательно. Просто мне, зеленочеловеческому рекруту, возможно, предстояло еще кое-чему научиться.

— Где же свет? — глухо и беспрекословно спросил я.

— Какой еще свет? — удивился отчего-то Сергей Левонович.

Тут вдруг сзади подвернулся и режиссер Евгений Лукич, и он также казался удивленным. Все они теперь — врачи и режиссеры — законесли в своих удивлениях.

— Он хочет какого-то света, — развел руками Плачевный.

— Свет сестры моей! Нерукотворный и нестерпимый! — крикнул я.

— Света нигде нет, а он его, несмотря ни на что, хочет, — вставил еще Евгений Лукич.

— Вот тебе твой свет! — молвил Сергей Левонович и толкнул меня в свет.

И я полетел в таковой.

— Альгуази-ил! — сопровождал меня долгий серый крик одного из прежних студентов.

Другой же шепотом поминал Саддукея и Аристарха.

Впрочем, света особенного я поначалу не ощутил. Прежнее пространство рассеялось, расфокусировалось, разметалось, развоплотилось. Пространство теперь сделалось судорожным, астматическим, бледным. И что же, эта бледность и эта астма и есть сестра моя? Разве возможно такое, разве мыслимо? Нет, сестра не может быть бледностью и астмой. И была ли теперь квартира? Может, и не было. Или я перелетел ее из конца в конец, даже не увидевши таковых. Круги и искры мелькнули в глазах моих. Перелетел я и лестницу — пространство подо мною всего лишь провалилось, дух у меня захватило, и я полетел, полетел. Я полагал, что я расшибусь, но я не расшибся — пространство хранило меня. И вот же я теперь — зеленый человечек с раздвоенной антенной на темени, на месте прежнего нароста, с пультом управления вместо почки. Ныне во мне бодрствуют скрытые коды, теснятся тайные глаголы, и все ж жизнь вечная обходит меня стороной. Да, существование мое человеческое завершено, и впереди у меня новое существование — существование зеленого человечка с пронзительными ощущениями окружающего меня пространства, всех его лесостепей, пустынь, плоскогорий, водных гладей, площадей, бульваров, околиц, околотков, со смутной связью с моей далекой-предалекой и позабытой землей, где бродят стада таких же, как я, зеленых человечков, в которых мне следует признавать родню, соплеменников и соотечественников. И все же какая дичь, гниль, поросятина и отрыжка еще будет — знаю уже это заранее — в новом существовании моем!

На улице не было никаких прежних толп, толпы разбрелись по миру, по путям, по переулкам, по проспектам, по ирониям, сарказмам и фанабериям. Едва соприкоснувшись с почвой, с панелью и поребриком, я помчался, побрел, пополз, и все сие в одно время, я полз и мчался так не один год, не один век, не одно тысячелетие и не мог уйти от прежнего, постылого, тягостного, неизбывного, неопишемого. Я забыл, куда бреду и бегу, я забыл, откуда ползу и шествую, я забыл многое, я забыл почти все, я забыл многие слова, в том числе «эмаль» и «реинкарнация», в том числе «супротив» и «вихреобразный». Невиданный мой альтруизм столкнулся с невысказанной моей мизантропией, и вот они стиснули, вот они притеснили меня. И еще я живу теперь без воздуха, без слов, без воспоминаний, без толчков сердца. Возможно, ныне смысл мой и предназначение мое в защите несуществующего и недостойного, но и тогда не стану я защищать себя, возводить редуты, строить обороны, пресекать враждебные поползновения. Я и сам полон всяческих враждебных поползновений. Поползновения же мирные, благородные я позабыл.

И все же взойдет ли когда-то над миром звезда моей инородности и смятенного духа? — спросил себя я. Нет, не взойдет над миром такая звезда, над миром более никакие звезды не взойдут, — сказал себе я. Милое, милое мое отрицание, отчаянное мое отрицание, священное мое отрицание, величественная моя неправда!

Тут я поднял голову и увидел... нет, не свет, но голосащую бабу. О чем голосила она — это мне лишь предстояло выяснить, или мне предстояло это всего лишь презреть, я не знаю, зато я видел пламя над тысячею городов, видел глад и гнус, видел пиршество многих насекомых и их повальные брачные игрища, видел сотрясения, подвохи и каверзы земной коры, видел истечения магмы в чистых полях, на мирных стогнах и папертях, в расщелинах, излучинах, урочищах, видел изнемогающих и истребляющихся человечишек, видел умирающих на лету птиц, видел оскалы дохлых грызунов, видел смрадные шкуры полегших парнокопытных, видел меж камней и кустарников застывших в последнем сне своем хамелеонов, амфибий и аспидов, видел всякие модные недоразумения, столичные и обочинные, видел крушения тихих искусств — живописи и литературы, видел и себя, вошедшим в сонм специалистов по тотальным дискредитациям, глашатаем ненавистнических ритуалов, и еще я услышал приближающийся грохот стальных колес, одинокий безжалостный трамвай пролетел мимо, неприхотливо гавкнула собака, и в неловком мозгу моем всплыло слово «эмаль», блудливое и затейливое, и еще слово «йогурт», чужеродное и ювенильное, и тут под аккомпанемент голосащей бабы один дал другому в морду. Точно, в морду. Иначе не назовешь. У них были морды, не лица. Лиц теперь мало. Может даже, их и вовсе не существует.

Геннадий МОРОЗОВ

КОГДА ЗА ОКНАМИ СВЕТАЕТ...

Душа обязана трудиться...

Н. Заболоцкий

Когда за окнами светает,
Когда вот-вот начнется день —
Душа, как бабочка, порхает,
Сквозит сквозь воздух, аки тень.
А ведь она должна трудиться,
Как написал о ней поэт.
Он был не прав! Душа — ты птица,
Ты — мотылек, узревший свет.
Мелькаешь, мечешься, мерцаешь...
И в летней сельской тишине
Так невесомо воспаряешь!
Летишь — и воздух осветляешь...

И — забываешь обо мне.

АЛФАВИТ

Как будто в первый День Творенья,
Такое выдалось тепло!
Вот и мое стихотворенье
К тебе ручьями потекло.
И каждой букве, каждой строчке
Устроил пиршество апрель...
Порвав цепочку многоточий,
Звенит и цокает капель.
Как парус новенького струга,
Надута ветром буква «С»,
«Тире» — как жердочка упруга,
Плывущая за край небес.
А «Ф» большим жуком навозным,
Жужжа, живет в моей строфе...
Не потому ли смотрит грозно,
Что формой схожа... с галифе.
Но стоит ли о букве каждой,
Пленяясь формой, говорить?

Геннадий Сергеевич Морозов родился в 1941 году в г. Касимове Рязанской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в геологических экспедициях в Карелии и Якутии. Поэт, переводчик, детский писатель. Автор нескольких поэтических книг. Член СП. Живет в Санкт-Петербурге.

И жить судьбою их бумажной,
А о тебе совсем забыть,
Не вспоминать о нашем прошлом?
Я, всякий раз, когда пишу
Тебе стихи — поверь, не ложно
С любой буквой дружу.
Они, как братья и сестрицы,
Толпятся около меня,
Глазья молча на страницы
При ясном свете среди дня.
Тот день казался мне миражным...
Весь алфавит большой гурьбой
Врывался, как поток овражный,
В мои стихи... Зачем? Неважно!
...Мне одному остаться страшно,
Давай помиримся с тобой.

СТАРЫЙ САД

Константину Воронцову

...А скоро тучки засинеют,
Набухнут влагою... И вот
Сверкучим ситничком¹ засеют
Мой старый сад и огород.
Я избяную дверь открою...
Едва порог перешагну —
В лицо пахнет землей сырою.
Я сыр и прель ее вдохну.
И опашнет меня прохлада...
Замкнусь. И буду молчалив.
И явит взору сумрак сада
Ветвей чернеющих извив.
О, старый сад, насквозь промокший,
Ты всех мне близких пережил...
От брэнной жизни изнемогший,
Как ты печален и уныл!
Ты знал морозы и жарышу,
Страшил дрожанием ветвей.
Ползли и вились корневища,
Превозмогая суховеи.
И хоть сегодня день ненастный —
Ты доверяешься ему,
Продрогший, блеклый, безучастный
И безразличный ко всему.
Та жизнь, которой жил когда-то,
Истаяла... И ты поник...

¹ Ситничек — мелкий, морозящий дождик.

Живешь, смятением объятый,
И не срываешься на крик.
Почуяв лиственное тленье,
Плоды роняешь в тишине...
Едва-едва сдержав волнение —
Хранишь завидное терпенье,
Совсем не свойственное мне.

БУНИН В ПАРИЖЕ

Ледяная ночь, мистраль...

И. Бунин

Идет снегопад над Парижем...
Стих натиск мистральных ветров.
И вспомнились Бунину... лыжи,
И свадебный звон бубенцов,
И скрипы каретных полозьев,
И машистый бег рысака,
И бор, что заснежен и грозен,
Где Леший скулит у пенька:
Дурачится, хамски хохочет
И топает ножкой резво.
Всклокоченно хохлясь, что кочет —
Он гребнем трясет боево.

Печалится Бунин: «Доколе
Мне мысленно жаться к леску
Орловскому... Русское поле,
Сними, как удавку, тоску
С души моей... Гнет меня, губит...»
Но даже друзьям ни гу-гу
О том, как он зимушку любит
С барахтаньем в мягком снегу.
Он помнит, как снежную пылью
Искрят перехлестья ветвей.
И то, как пленяли в распыле
И Святки, и снеговей.

Лицо леденило от стыни,
А сиверко дул все свежей...
Ах, Бунин, все это отныне
Из области... миражей.
В простор вихревой и миражный,
На голос Руси бедолажной
Не рвись! Эти мысли отбрось!
Там жить и опасно, и страшно,
Где власти с народом поврозь.

...А снежная навись все ниже.
Авто и толпа — не пройти.

Предзимним любуясь Парижем,
Он шепчет: «Россия, прости,
Что бросил тебя, не вернулся...
Я, как в летаргическом сне,
Все сплю... Я еще не проснулся.
А то, что с тобой разминусь,
Парижу — не больно, а — мне...»

* * *

Светлане Молевой

Тайной веет от русских стихов...
Света пишет их... Дивное дело!
И до третьих не спит петухов...
Вон окно ее зарозовело.
Она робко подходит к столу,
На тетрадку смотрит пугливо —
Ее тянет в лиловую мглу,
То к Неве, то к заливу.
У залива замашки лихи,
А история знаменита.
Прорастают зеленые мхи
Сквозь холодные сколы гранита.
Зеленеют! Пытаются жить.
Как и мы — приживутся не скоро.
Только этим, увы, не смутить
Ледяного морского простора.
Даже дни здесь — наследники мглы.
Ночи белые — признак недуга...
Невских волн штормовые валы
То и дело толкают друг друга.
Что толкаетесь — русло тесно?
Обалдели от одури-дури?
От того, что Светланы окно
Распахнулось — и блещет в лазури,
Отражая поблекший газон,
Гребни пенных, разъяренных волн,
Город-парусник, пасынок бури?!
Ветры вздули его паруса,
Что на арку Растрелли похожи.
Труб подзорных сверкают глаза,
Басовито сипят голоса
Бомбардирщиков... Пьяные рожи!
Что еще там, на тонком стекле
Отражается: шпиль колокольный?
Кто там бродит дорогой окольной,
Как песчинка в космической мгле?
Чья там баба летит на метле,
Не моя ли, по прихоти вольной?
Было? Не было? — Знать не дано...
Все былое нам кажется странным,

Стертой пленкой немого кино...
Ты ослеп! Вынь из глаза бревно.
Крикни в Прошлое: «Браво! Осанна!»
...Но захлопнулось плотно окно
Перед носом твоим... О, Светлана!

СВЕЧКУ ЗАТЕПЛЮ...

Светлой памяти жертв Беслана

Что сделалось с нашей страной!
Террор — этот Змей Огненной
Ползет по ней... Свечку затеплю
Во храме, где свет неземной
Связует и небо, и землю.
О, свет неземной, помоги!
Где выход? Не видно не зги...
За окнами — воля? Неволя?
Жизнь черные чертит круги,
Юнцам осыпая мозги²
Наркотиком и алкоголем.
Я в эти мгновения рад
Писанье открыть наугад
Священное... В нем обнаружу:
И тайны духовных услад,
И свет, исцеляющий душу,
Что с каждого виден листа...
Голгофская тень от Креста
Там зыблется... Тень — василькова.
Молитва, открой мне уста,
Сияющий Образ Христа
Яви мне, Библейское Слово.
Как Злак в Гефсиманском саду,
К стопам я Его припаду —
Призри, милосердный Мессия!
Я нынче, как грешник в Аду,
По краешку жизни бреду...
Зияет, как бездна, Россия.

НАПЕВНЫЙ ЗВУК

Вот-вот рассвет сквозь мглу пробьется —
И распахнется небосвод.
И лед, как склянка, разобьется.
И воды вырвутся вперед.
Жизнь как бы заново начнется,
Стрижи заложат виражи...
Внутри вдруг что-то оборвется —
И я пойму: порыв души.

² Видоизмененная строка С. Есенина «Осыпает мозги алкоголь...».

И мне, смятенному, неймется —
В глубинку рвусь я, где придется
Копать, косить, колоть дрова,
Водицу черпать из колодца...
Лукавый критик ухмыльнется:
«Здесь стихотворцу достается
Набор из рифм: «трава — дрова».
Ты, критик, прав, но лишь отчасти...
Ужель всерьез приму за счастье
Литературные труды,
Прияв небесное причастье
От ветра, солнца и воды?
Светило! Тень земли оттисни
На облаке, где дух мой виснет,
Явив земле напевный звук,
Чтоб укрепились скрепы жизни,
А чувство личное к Отчизне
Не угнетало, как недуг.

УДИВЛЕНИЕ

Спасибо, окские откосы,
Спасибо, тихая Ока.
Я здесь познал впервые слезы
От ледяного ветерка.
Не раз я плакал и... от смеха,
Его я сдерживал, как мог,
Когда перекликался с эхом,
Дудя в пастушеский рожок.
О, эти звуки, виды эти,
Все деревенское дивье!
Вы мне дороже всех на свете...
Все это кровное, мое!
И Поздняково вспоминая —
Дивлюсь! Я счастлив, счастлив был!
По ржанию слухом узнавая
Всех наших дряхленьких кобыл.
Охвачен вновь я чувством юным,
Оно, сквозь прошлое ведя,
Души затрагивает струны,
Звучащие как шум дождя.
Как я хотел бы в час разлуки
Доверить душу ветерку,
Чтоб он явил ей эти звуки,
А не смертельную тоску
По неоглядному простору,
По жизни, прожитой в глуши,
Чтоб сострадательному взору
Не зреть последнего позора —
Разора тела и души.

Елена АЛЕРГАНТ

ЗАПИСКИ

из дома для престарелых

Рассказы

*Мы думаем — это конец жизни,
а это всего лишь новая сцена, на которой жизнь продолжается.*

ПОЭТ, КОРОЛЕВА и ГОСПОЖА МОПС

Каждая комната имеет свое лицо, потому что живет в ней не просто человек, а свойственный ему одному мир, его настоящее, перемешанное с далеким прошлым.

Мне до сих пор трудно смириться с круговращением приходов и уходов. Каждый новый пациент — это рождение и смерть. Знакомство, сближение, взаимопонимание... Я медленно привыкаю к людям, но постепенно их лица, голоса, привычки, радости и страдания становятся частью моей жизни. А потом они уходят, оставляя после себя пустоту, которую со временем заполняют другие. Но и новые, пройдя со мной небольшой отрезок пути, становятся прошлым.

«Моя работа — это история встреч и расставаний», — размышляла я, прибирая опустевшую позавчера комнату.

Новая пациентка приехала в сопровождении полноватого, преувеличенно вежливого пожилого мужчины. Крупная, статная, с породистым лицом и обворожительной улыбкой, обнажавшей изрядно поредевшие, но все еще натуральные зубы.

Спутник проводил ее в комнату, заботливо усадил на стул и протянул мне сумку с вещами:

— Вас не затруднит развесить это в шкаф? Я в женской одежде не разбираюсь. Собрал тут кое-что поприличней.

Женщина, по-королевски выпрямившись на стуле, снисходительно разглядывала свежепокрашенные стены, тюлевые занавески и горшки с геранью, пышно цветущей на соседском балконе.

Седые, давно не мытые и не стриженные волосы новой пациентки липкими прядями свисали на желтовато-серые щеки. Руки терпеливо покоились на коленях, в то время как ногти, подобно сторожевым псам, готовым в любую секунду вступить за повелительницу, угрожающе топорщили свои почерневшие от грязи, острые обломки.

Так выглядели в старых фильмах спившиеся актеры, прежде игравшие на про-

Елена Михайловна Алергант родилась в Ленинграде в 1948 году. Окончила Политехнический институт как инженер-радиофизик, доучилась пару лет спустя в университете до психолога и проработала последующие почти двадцать лет психологом в Городском центре профессиональной ориентации молодежи. В течение ряда лет работала по совместительству в Городском экскурсионном бюро. Писала и водила экскурсии по темам «Пушкин в Петербурге» и «Пушкин в Царском Селе». В 1983 году опубликовала небольшой очерк в журнале «Нева». С 1993 года живет в Ганновере.

винциальной сцене королевских особ. Именно поэтому я в первый же день мысленно произвела вновь прибывшую в Королевы.

Меня так и подмывало спросить: «Ваше величество, в каком подземелье и за какие грехи прятали вас столько десятилетий?» Но разве принято задавать подобные вопросы тем, кому посчастливилось вернуться из изгнания?

Спутник, неловко потоптавшись на месте, начал прощаться:

— Ну, Гертруда, я пойду потихонечку. Если что надо, звони. Заеду дня через два снова.

— А я? Мне тоже пора?

— Ты останешься здесь. Ведь мы обо всем договорились.

Вопреки моим ожиданиям, Гертруда, не вдаваясь в дискуссии, подарила мужчине снисходительную улыбку и милостивым наклоном головы позволила удалиться.

Я потянула за молнию дорожной сумки, и она, неохотно распахнув пасть,дохнула на меня плесенью, пылью и гниением. Неужели это и есть то лучшее, что удалось сохранить в изгнании?

Переложив «сокровища» в полиэтиленовый мешок, тут же отправила их в стирку, и пригласила Гертруду к обеду.

Как примут ее наши дамы? Ухоженные, с завитыми, подкрашенными кудельками, обвешанные разноцветной бижутерией, искусно подобранной к цвету блузок и джемперов, они чинно восседали за накрытым столом в ожидании салатов и дымящихся омлетов.

Я представила им Королеву, предложив ей занять место, освободившееся всего неделю назад. Критические взгляды, презрительное перешептывание и передергивание капризных носов говорило само за себя: новенькая проиграла партию в первом же раунде.

Ох уж эти дамы! Они давно забыли свой первый день. Каждая была такой же запущенной, растерянной, с отчаянием, сочившимся из перепуганных глаз. Многим приходится до сих пор бороться за место под солнцем, подчиняясь местному табелю о рангах и этикету.

Да, это общество ничем не отличается от любого другого, состоящего из привилегированных патрициев, народа, обязанного всегда говорить только «да», и бунтарей, держащихся отдельной кучкой и живущих по своим собственным правилам.

Оформляя обязательные бумаги, я с наслаждением представляла завтрашний реванш: намытая до блеска, причесанная, завитая, наряженная в туалеты из «золотого запаса», Королева торжественно займет полагающееся ей место не только за обеденным столом, но и в жесткой иерархии местного «высшего света».

Утром, преисполненная энтузиазмом и добрыми намерениями, переступаю порог Гертрудиной опочивальни:

— С добрым утром! Как спалось на новом месте?

Скрестив под одеялом длинные тощие ноги, она величественно возлежит на спине и приветливо улыбается:

— Спасибо. Хорошо.

Радуюсь первому успеху. Кажется, контакт установлен. Можно двигаться дальше.

— Вот и замечательно. Пора вставать.

— А зачем?

— Я помогу вам помыться, одеться и провожу к завтраку. Кофе и свежие булочки уже стоят на столе. Согласны?

- Согласна.
- Тогда вставайте.
- Да, конечно. Но не сейчас.
- А когда?
- Минут через двадцать.

Посмотрев на часы, покидаю комнату. Придется менять и без того напряженный график и возвращаться сюда минут через двадцать.

Полчаса спустя опять стучусь в закрытую дверь:

- Пора вставать и идти к завтраку.
- Конечно... но не сейчас. Минут через двадцать.

В этот день я посещала покои Ее Величества раз десять, каждый раз получая в награду чарующую улыбку и предложение вернуться через двадцать минут.

Реванш не состоялся ни завтра, ни послезавтра. Целую неделю, соревнуясь в вежливости, граничащей с подхалимажем, мы по очереди пытались выманить Гертруду с пропахшего немывтым телом и неминуемыми человеческими экскрементами ложа, получая в ответ дежурное, всем до оскомины надоевшее согласие: «Конечно... но не сейчас... Минут через двадцать».

Казалось, Королева, когда-то смирившаяся с заточением, целенаправленно превращала новую комнату в ставшую родной и близкой тюремную камеру.

Неделю спустя, потеряв терпение, я решительно набрала телефонный номер, написанный на клочке бумаги спутником Королевы. Через два часа он уже сидел в моем кабинете и рассказывал захватывающую историю ее жизни.

Принцесса на горошине

Гертруда была единственной дочерью потомственного аристократа, дослужившегося при новом правительстве до генеральского чина. Девушке предстояло блистать в высшем обществе. В арсенале ее боевого оружия значились не только величественная красота, но и блестящее воспитание: принцесса почти профессионально играла на рояле, пела и свободно говорила на трех иностранных языках. Претендентов на руку, сердце и титул гордой красавицы было предостаточно, но... то ли она ждала своего принца, то ли отец не спешил с новым родством. Гертруда уже «засиживалась» в девицах.

Она успела отпраздновать четверть века, когда началась война со всеми вытекающими из нее последствиями: Нюрнбергский процесс, конфискация имущества, бесчестие и... нехватка мужчин.

Но похоже, в последний момент судьба сжалилась над опальной принцессой и ниспослала ей жениха — пережившего русский плен немолодого майора. Когда-то она даже не посмотрела бы в его сторону: длинный, тощий крестьянин с грубыми чертами лица и дурными манерами. Единственным аргументом в его пользу был уцелевший за годы войны клочок земли и неутраченные крестьянские навыки, обещавшие спасти от неминуемого голода молодую жену и ее овдовевшую мать. Так началась вторая глава жизни Гертруды, затянувшаяся почти на двадцать пять лет.

Барышня-крестьянка

Отставной майор, сохранивший со времен войны прекрасно поставленный командирский голос, занялся муштровкой жены и тещи. Тонким пальцам принцессы,

перебиравшим когда-то покрытые слоновой костью черно-белые клавиши концертного рояля, предстояло во второй главе перебирать тугие соски коров и коз, выжимая из них упругие струи теплого, пряно пахнущего молока.

Муж не тратил время на ненужные объяснения. Короткие, четкие команды: «Пойти и сделать! Без возражений!» на многие годы стали неотвратимой реальностью неудавшейся аристократической жизни.

Послевоенная Германия постепенно вставала на ноги. У людей появились деньги и повышенный интерес к свежим продуктам. К первому клочку земли присоединился второй, а потом четвертый и пятый. К ним добавился просторный дом с балконом, двумя ванными комнатами и домашней прислугой, но растущее благосостояние не освобождало хозяев от непосредственного участия в крестьянском труде. Гертруда, давно отвыкшая от деликатесов родительского дома, научилась готовить простые сытные блюда, взбивать масло и консервировать огурцы. Муж, давно набравший утраченные в русском плену килограммы, превратился в грузного, грубоватого владельца прибыльного фермерского хозяйства.

Оказалось мужчина, доставивший опальную королеву в дом престарелых, был ей не племянником, а соседом. Его родители, не менее удачливые землевладельцы, дружили с семейством отставного майора, а мальчик с удовольствием забегал к бездетной соседке, обучавшей его английскому языку и игре на рояле.

Жизнь плавно катилась по основательно проложенным рельсам, но вдруг... кто бы мог подумать... Майор, собиравшийся дожить до ста лет, в одночасье переходит в иной мир. Гертруда остается не просто вдовой, но очень богатой вдовой. С этого момента начинается третья глава ее жизни.

Веселая вдова

С юности у нее сохранилась единственная подруга, которая (надо же, какая удача) к этому времени тоже успела благополучно овдоветь. Обе дамы вошли в тот замечательный возраст, когда лица еще сохраняют остатки былой свежести, фигуры — остатки былой стройности, а общество уже не требует ни пуританства, ни бережливого отношения к «девичьей чести».

Утром, часов после одиннадцати, дамы созванивались в первый раз, долго решая сложнейшую проблему: где они завтракают сегодня и с чего начнут — с шампанского или с красного вина.

Завтрак затягивался до обеда, плавно перетекая в вечернюю программу, стартующую в театре, а финиширующую в казино.

Ни отца-генерала, ни мужа-майора, ни коров, ни маринованных огурцов! Почти десять лет упоительной свободы и нескончаемых удовольствий!

К сожалению, всему хорошему рано или поздно приходит конец: подруга зачем-то последовала за своим мужем, повторно оставив Гертруду безутешной вдовой. Та сделала несколько попыток прилепиться к каким-то дальним родственницам, но пожилые дамы предпочитали в первую половину дня протирать от пыли полированные буфеты, а во вторую баловаться пирогами собственного изготовления. Шампанское вызывало у них изжогу, а красное вино расстройство желудка.

Разочарованная, потерявшая интерес к жизни Гертруда заперлась в своих четырех стенах, решительно порвав все контакты с внешним миром. Сын бывших соседей, давно переехавший в другой город, нашел ее пару недель назад в весьма плачевном состоянии: осунувшаяся, запущенная женщина ютилась на задвинутой в угол, грязной кровати в комнате, заваленной десятками пустых бутылок из-под шампанского и ликеров.

Спешно оформив документы на переезд в дом престарелых, он открыл последнюю страницу жизни обездоленной королевы.

Аккуратно записывая эту историю, я задала только два вопроса:

— А вы видели ее приятельницу?

— Да. Пару раз, когда приезжал в Ганновер. Они приглашали меня на ужин, а потом в театр.

— И кто же из дам в этой упряжке был ведущей?

Задумавшись на пару секунд, племянник безошибочно поставил диагноз:

— Приятельница была очень активной, энергичной женщиной. Безусловно ведущей была она.

Вот все и разрешилось. Королева прожила всю жизнь не в заточении, а в подчинении. Отец-генерал, муж-майор, энергичная, властная подруга... А я требую от пожилой дамы самостоятельных решений. Придется менять стратегию.

Утром следующего дня, наскоро покончив с обычными приветствиями, перешла к запланированной атаке: спокойное, не терпящее возражений лицо, командный голос и внутренняя убежденность в непременном успехе.

— А теперь встаньте с постели и... в туалет.

Чувства на лице Гертруды замелькали кадрами немого кино. Удивление, протест, безысходная покорность и... облегчение. Навсегда покинувшее ее прошлое вернулось снова. Появился кто-то, готовый давать команды и принимать за нее решения.

Тонкие пальцы нерешительно откинули край одеяла, и две тощие, обтянутые сморщившейся, пересохшей кожей ноги медленно потянулись к стоптанным домашним тапочкам.

Более получаса я лила ароматные шампуни и гели на слипшиеся от грязи волосы и кожу, впитавшую запахи многолетнего запустения и гнили. Одиночество, что ты сделало с когда-то красивой женщиной?

Через час Королева, поправив и без того идеальную прическу, решительно покинула свои апартаменты, готовясь предстать перед ликующим, празднующим ее возвращение народом.

Но народ почему-то не ликовал. Наметанный женский глаз тут же заметил и неуклюже свисающее с похудевших плеч платье, и стоптанные каблуки покосившихся туфель, и скромный крепдешиновый платочек, прикрывающий старую морщинистую шею. Ревнивые народные губы искривились в ироничных усмешках.

Гертруда скромно присела к накрытому столу, пожелала всем приятного аппетита и положила себе на тарелку румяную, свежеспеченную булочку.

Я заняла удобную позицию напротив своей подопечной, делая вид, будто занята важными делами. Одному подливала кофе, другому передавала молочник или вазочку с мармеладом, третьему помогала намазывать булочку, наблюдая боковым зрением за той, от кого зависел исход дебюта. За всесильной Хильдой, которую про себя называла Госпожой Мопс.

На самом деле ее лицо походило на старого, утомленного жизнью бульдога. Приплюснутый нос, обвислые, дряблые щеки, потянув за собой углы влажного рта, превратили его в расплывчатый полумесяц. Крупные, идеально круглые черные глаза доводили портрет до карикатурного сходства: лицо богатое не мимикой, но выразительными, «говорящими» глазами. Появление за столом Гертруды зажгло в них настоящий охотничий азарт. Бульдог встал на охрану своей территории.

Гертруда аккуратно разделила будочку на две половинки, намазала их тонень-

ким слоем масла и, не спеша изучив богато накрытый стол, остановила выбор на ломтике сервелата, аппетитно поблескивавшего крошечными розоватыми звездочками сала. Потянулась к блюду и нанизала ломтик на вилку. Нависшее над столом молчание взорвалось возмущенным возгласом Хильды Мопс:

— Похоже эта дама не обучена хорошим манерам! Занята только собой. Я как раз собиралась взять этот кусок колбасы.

Я чуть не подавилась возмущением. Эта хитрая лгунья — убежденная вегетарианка, признающая к завтраку только абрикосовое варенье.

Ломтик сервелата, трепеща полупрозрачными крылышками, повис над столом. По бледно-голубому экрану, лицу Гертруды, стремительно сменяя друг друга, помчались кадры противоречивых чувств: удивление, испуг, возмущение... Краем глаза я следила за Мопсом-вегетарианцем. Она, прощупав лица преданных ей вассалов, осталась довольна первой боевой вылазкой.

Боже! Как трудно оставаться немым свидетелем человеческого властолюбия! Но я не воспитатель в детском саду. За столом сидят пожилые люди, прожившие долгую, непростую жизнь, и они давно научились лавировать и выживать в этом непростом мире. Пусть используют свойственные им методы обороны.

Рука Гертруды замерла в нерешительности. Пара бесконечно долгих секунд... губы, сжавшиеся в упрямую полоску... едва заметное движение правым плечом... и темно-бордовая сервелатовая бабочка совершила плавную посадку на приготовленную для нее площадку.

Госпожа Мопс, до этого дня не потерпевшая в застольных боях ни единого поражения, сложив руки на животе, вынесла промежуточный вердикт:

— Сейчас мы с вами смогли убедиться, что дама обладает завидным аппетитом. Посмотрим, работает ли ее голова так же хорошо, как челюсти.

В ответ подданные услужливо захихикали.

Бедная Королева, хрустя подрумяненной булочкой, даже не подозревала, что ей в лицо брошена перчатка; вызов на дуэль со смертельным исходом. Ей предстояло защищать свою честь на занятиях по тренировке памяти и остатков интеллекта, проводимых у нас два раза в неделю. Хильда была на этих занятиях, которые я мысленно прозвала «Поле чудес», бессменным победителем. Фотографическая память, не затронутая ни инсультом, ни временем, хранила в идеальном порядке имена всех известных актеров, писателей, спортсменов и политических деятелей. Она без промедления называла столицы всех существующих на земле государств, названия рек, озер, морей и королей красоты, занявших призовые места в последние десять лет.

Эта сидящая в инвалидной коляске энциклопедия ежедневно читала газеты, смотрела научные репортажи и новости культуры. Врядли Гертруда сможет сравниться с ней в этом поединке. Крестьянский труд, казино и безудержный алкоголизм последних лет изрядно изрешетили ее далеко не девичью память.

Злилась ли я в этот момент на зловредного Мопса, вальяжно развалившегося за столом? И да, и нет. Нет, потому что на самом деле нас связывали многолетняя дружба и взаимное уважение.

Хильда умно и с юмором рассказывала о своем прошлом.

— Красавицей, сами видите, никогда не была, — говорила госпожа Мопс, указывая рукой на старую фотографию. Барышню, позирующую профессиональному фотографу, и в самом деле трудно было признать красивой. Она, состоявшая из шаров разной величины, походила на снеговика, слепленного умелой детской рукой. Даже волосы, собранные в замысловатую прическу, казались отдельным, заверша-

ющим картину объемом. Да и лицо смотрелось не лучше. Крепкие, растопыренные щеки, тяжелый подбородок и короткий, приплюснутый нос. Только глаза, большие и круглые, излучали вековую мудрость и вселенскую печаль оставшейся в одиночестве молодой женщины.

— А замужем так и не побывала. До войны не успела, а потом... сами знаете. К одному жениху очередь из пятнадцати невест выстраивалась. Куда уж мне с моей внешностью. Даже в очередь не становилась.

— Так и прожили всю жизнь одна?

— Почему же одна?, — возмущалась Хильда. — Мужа не было, а дети были.

Я внутренне просияла: слава богу, хоть чуть-чуть, но все же отведала женского счастья.

— А сколько же их было?

— Ой, много. Сейчас и не пересчитать. Я ведь сорок лет учительницей начальных классов проработала. С первого по четвертый. Вот они, мои сорок лет, все на стене висят. Ровно десять выпусков, и все мои.

— А не тяжело было?

— Нет. Очень интересно. Дети такие разные. В послевоенные годы из благополучных семей почти не было. Все больше от вдов или матерей одиночек. Невоспитанные, неухоженные и плохо развитые. Что я с ними только не делала! В походы ходила, в театры, в кино, по музеям таскала. Даже на байдарках плавала. А на уроках по три шкуры сдирала, чтобы учились хорошо. И не только с них. Мамам их тоже приходилось частенько мозги вправлять.

Глаза Хильды заблестели азартом, а искривленный хроническим артритом указательный палец уткнулся в пространство между землей и небом.

— А матерей за что ругали? Им и без вас несладко жилось. Легко ли целыми днями на работе убиваться, а потом еще по хозяйству вахту держать?

— А за то ругала, что ребенка не только кормить надо, но иногда и приласкать не грех. Дикими дети росли, недолюбленными. А результатом до сих пор горжусь. У меня девяносто процентов выпускников в гимназию поступали, а это не шутка.

Я рассматривала старые фотографии, худенькие детские послевоенные лица и верила, что все они со временем стали хорошими людьми.

Рассказы о прошлом сродни охотничьим рассказам. В них мы всегда выступаем успешными, блестящими специалистами своего дела, но Хильде я верила. Она излучала такую пассионарность, такую спокойную уверенность в себе, что не оставалось ни малейших сомнений в ее даре воздействовать на людей. Даже я, с годами уставшая от бесед и общений, не могла устоять перед ее вопросами.

«Как ваш сын написал вчера контрольную, получили ли удовольствие от балета, дочитали ли книгу, о которой рассказывали на прошлой неделе?»

Она вслушивалась в ответы, не перебивая. Уточняла интересующие ее подробности и, делая собственные умозаключения, давала неназойливые советы.

— Встретились вчера со своей приятельницей? Удалось поговорить? Действительно стоило на нее обижаться? Вот и правильно. Это в первой половине жизни можно друзьями разбрасываться, а во второй их беречь нужно. Старые уходят, а новые уже не появляются. И остаешься со временем одиноким, засохшим баобабом у чужой дороги.

Круглые, подернутые печалью глаза Хильды, всматриваясь в далекое прошлое, пытались распознать контуры ушедших в небытие друзей.

— Мы все за жизнь цепляемся. Хотим как можно дольше протянуть, а зря. Лучше уйти одним из первых. Пусть лучше другие по тебе грустят, чем годами с тоской смотреть на умолкший телефон.

Я терла мочалкой крепкую Хильдину спину и пыталась представить лицо того или той, кто уже никогда не позвонит и не поздравит ее ни с днем рождения, ни с Рождеством. А еще удивлялась привередливости природы, сохраняющей до глубокой старости наши, скрытые от постороннего взгляда спины, глянцевыми и упругими, превращая выставленные напоказ щеки в сморщившиеся печеные яблоки..

— Вот, вот. Потрите посильней справа, под лопаткой. Ой, как хорошо. Аж дух захватывает. А у вас есть кто-нибудь, кто бы спинку иногда потер?.. Это правильно... Знаете, чем отличаются одинокие женщины от неодиноких? У них постоянно нетертые спины чешутся.

Я, подхватывая брошенный мяч, ехидно спрашивала:

— А у вас почему спина так отполирована, если, как утверждали, замужем никогда не были?

— Что замужем не была, говорила, а о «спинке»... разговору не было.

Знаю. Пока не было, но наступит момент, когда тоска по прошлому прорвет и эту плотину молчания. Но сегодня мне не до «спинки». Голова занята судьбой Королевы.

— Скажите, зачем вчера за столом на новенькую накиннулись?

— А как еще на нее реагировать? Новеньких нужно с самого начала к порядку приучать.

— У вас тут как в армии. Дедовщина какая-то.

— А вы как думаете? Воспитанный человек, приходя в незнакомое общество, должен сперва порядками, обычаями, в конце концов ритуалами поинтересоваться, а потом уж колбасу в рот запихивать. А эта... расселась, как королева.

Надо же. Тоже заметила, что Гертруда не из простонародья.

— Предлагаю мирное соглашение: на этот раз воспитанием новенькой занимаюсь я.

Госпожа Мопс аж подскочила от возмущения:

— Вы, милая моя, себя в роли воспитателя уже дискредитировали. И не только вы, а весь коллектив. Распускаете людей, а потом бегаєте с квадратными глазами: «Катастрофа, катастрофа!» Да ладно, не обижайтесь. Профессия у вас такая. Клиент деньги платит, значит, и музыку заказывает, иначе от начальства попадет. А мне ваше начальство не указ. Я тоже деньги плачу, вот и заказываю свою музыку.

Подобные высказывания вызывали у моих коллег взрыв возмущения. Попадая в мощное поле ее притяжения, они, как и я, допускали Хильду до самых потаенных уголков своих утомленных разочарованиями душ, но за закрытой дверью называли ее двуличной, неискренней подхалимкой:

— Перед вышестоящими спину крендельком гнет, а себе подобных, как английский бульдог, при первой же возможности в клочки раздирает.

Я видела это в ином свете. Для Хильды мы были не высшим эшелонам власти, а коллегами, к которым она относилась с пониманием и уважением. Пациентам выделялась роль нерадивых школьников, которых, во что бы то ни стало, предстояло подготовить к гимназии. Как когда-то в классе, она выделяла группу способных, но ленивых. В нее входили те, кто еще умудрялся скрывать первые признаки старческого маразма. Вторая группа, пользующаяся ее особым расположением, состояла из «не очень умных», но послушных, преданных ей душой и телом соратников. А в третью Хильда записывала самых «тупых, дурно воспитанных, упрямых бездельников», объявивших целью своей жизни крошечное безоб-

разие и разрушение порядка. На самом деле эти люди, в медицинском понимании, просто успели слегка опередить остальную компанию на пути к окончательной потере разума. Именно они, и без того глубоко несчастные, были бессменной мишенью Хильдиных нападок.

Гертруда пока оставалась для Госпожи Мопс загадкой, разгадать которую предстояло на ринге. Я, прекратив бесполезный спор, приняла окончательное решение: на дуэль с Мопсом Королеву не выпущу.

На следующий день, незадолго до начала занятий, пригласила Гертруду на просмотр местных достопримечательностей. Она с любопытством разглядывала развешанные на стенах картины, предметы довоенного быта, купленные по-дешевке на блошином рынке: старые деревянные кофемолки, отделанные медными пластинками, давно пришедшие в негодность швейные машины фирмы «Зингер», толстые фаянсовые чашки и пивные кружки. Наконец мы вошли в маленький зал, где стояло старое, но еще живое пианино. Гертруда не спеша подошла к инструменту и осторожно приподняла крышку. Клавиши, отполированные сотнями прикосновений, обнажились ей навстречу в призывной улыбке. Королева нерешительно погладила их загрубевшими пальцами, опробовала две-три на звук, равнодушно покачала головой и, опустив крышку, повернулась к старинным фотографиям на противоположной стене:

— Надо же. Довоенный Ганновер. Хорошо помню это место. Тут, за углом, находилась моя школа. Шофер, служивший у отца, всегда подвозил меня сюда на машине, а одноклассницы завидовали и злились. Ладно, пошли дальше.

Дальше идти было некуда. Цель путешествия, старое пианино, не вызвали у нее, к сожалению, ни малейшего интереса.

Зато за обедом продолжала лютовать Госпожа Мопс. На этот раз поводом для атаки стали несколько одиноких ломтиков картофеля, оставленных Гертрудой на тарелке.

— Ну, где это видано! Зачем хорошую еду в помойку выбрасывать! Неужели нельзя сперва заказать порцию поменьше, а потом, если не наелась, добавку попросить?

Королева задумчиво разглядывала картофель, успевший подернуться пленкой застывшего жира. Лицо выражало смесь отвращения и растерянности. Все дамы, сидевшие за столом, с любопытством ожидали развязки. Одни из них, страшась неприятностей, предпочли бы доесть эти отвратительные кусочки, другие яростно и визгливо посоветовали бы Мопсу прогуляться куда подальше, а третьи, склонные к театральным представлениям, схватившись за сердце, потребовали бы нитроглицерина.

Меня окатило волной злости. Боже, как я ненавидела в этот момент обвислые щеки и приплюснутый нос Мопса. Это мелочное властолюбие, пусть даже власть или ее иллюзия, умещается в крошечном подагрическом кулачке! Всю жизнь ненавидела тех, кто неизвестно за какие заслуги присваивает себе исключительное право хладнокровно унижать других. Но какую стратегию предпочтет Гертруда? Минуту поразмышляв, она, так и не взглянув на обидчицу, всем корпусом развернулась ко мне:

— Милочка, вы не могли бы предоставить мне другое место? Здесь... очень дует.

В душе я разразилась бурными аплодисментами. Вот оно, аристократическое воспитание! Вот оно, истинное чувство собственного достоинства! Гертруда даже не снизошла до объяснений, обозначив откровенное хамство простым сквозняком, приравняв гордого Бульдога к дурной погоде. Сумела бы я на ее месте не растеряться и вклеить хамке такую звонкую изысканную оплеуху?

Исполнить королевскую просьбу было непросто: все места, выделенные нам в обеденном зале, были пожизненно зарезервированы за своими владельцами.

Помощь, как в сказке, пришла с той стороны, откуда ее никто не ждал.

— Я не буду возражать, если дама пересядет за мой стол, — возвестил скрипучий фальцет, исходивший из глубины зала. Там, за отдельным столиком у окна, восседал в глубокой инвалидной коляске господин Шиллер, единственный мужчина в нашем бабьем царстве.

Несмотря на всемирно известное имя, господин Шиллер не был поэтом. Совсем наоборот. Он был налоговым инспектором, да и то, прослужив государственной казне верой и правдой более сорока лет, сумел приподняться всего лишь на третью ступеньку карьерной лестницы.. Пять дней в неделю он ссыпал в бездонную государственную копилку звонкие монеты, конфискованные у робких, законопослушных бюргеров, а в выходные, вскочив с разбегу в маленький любительский самолет, взмывал к небу. Не в заоблачное ярко-голубое пространство, где проплывали гордые серебристые лайнеры, а так, как на службе... всего пару ступенек над землей, едва задевая крышей первые полупрозрачные ступки позолоченной солнцем ваты. И все же... именно там, между землей и небом, он отдыхал от ненавидящих взглядов обобранных им сограждан.

В первый день, въехав в инвалидной коляске в зал импровизированного ресторана и бегло окинув опытным взглядом принадлежащий нашему отделению стол, Шиллер, нимало не задумываясь о чувствах дам, с надеждой и любопытством взиравших на нового мужчину, скрипучим голосом бросил им в лицо первое оскорбление:

— Надеюсь, вы не собираетесь сажать меня в этот курятник?

Многолетний опыт работы приучил меня не вспыхивать и не коптить подобно фитилю керосиновой лампы. Но... Моя холодная ирония — наилучший ответ на откровенное, умышленное хамство — так и осталась не востребованной.

Одна из «благовоспитанных» дам, ни секунды не раздумывая, предпочла дипломатии боевые действия.

— Если мы — курятник, то этому старому козлу среди нас точно не место.

Одобрительный смех обитательниц курятника возвестил окончательное и бесповоротное изгнание налогового инспектора. Одной фразой он достиг того, чего еще никому не удавалось: получил индивидуальный двухместный столик у окна, предназначенный для приема почетных гостей. Иными словами, обеспечил себе за завтраком кофе со свежей газетой, а за обедом суп, не приправленный ворчаньем и чавканьем болтливых соседей. Да здравствует победоносная сила хамства!

Вечером, помогая Шиллеру вылезти из штанов и носков, я позволила себе пару прямых вопросов:

— Зачем вы сегодня так резко обошлись с пожилыми женщинами? Могли бы попросить отдельный столик, никого не обижая.

— А я никого и не обижал. Просто назвал вещи своими именами.

— Кудахтающие вещи... Похоже, вы обладаете особым восприятием действительности.

— Во первых, вас совершенно не касается мое восприятие действительности, а во-вторых, — его голос зазвенел отвратительно и едко, — не можете осторожней? Вы сдираете носок вместе с кожей.

Дернувшись, нога прицельно подпрыгнула вверх. Не успею я вовремя уклониться, наверняка получила бы увесистый пинок в лицо. Этот несостоявшийся пинок стал последней каплей, переполнившей бочку моего терпения. Господи! Как я устала от всех этих дрызг, претензий, капризов и упреков. Иногда кажется, наши пациенты с

упорной зловредностью мстят за свои болезни и немощь всем, кто еще не достиг их точки распада. Мстят за то, что не успели вовремя умереть, прикорнув дома у телевизора, за то, что не нашли на блошином рынке шагреновой кожи, готовой принять на себя их старение. Эта злобная зависть к тем, кто родился лет на двадцать — тридцать позже. Что за глупость! Каждый из нас пройдет в свое время положенный путь. Но сегодня я ненавижу этого негодяя, попытавшегося пнуть меня в лицо. Проклятая Богом профессия, на которую я добровольно обрекла себя под конец жизни!

Дома, даже выпив целый бокал красного вина и выкурив штук пять сигарет, не могла отделаться от бушующего внутри раздражения. И виноват в этом проклятый старик, разбудивший воспоминания более чем сорокалетней давности — конфликты с разочаровавшимся в жизни отцом, сделавшим из меня когда-то козла отпущения.

Но в тот вечер с бокалом вина и пепельницей, переполненной окурками, я с возмущением думала о господине Шиллере, оттаптывавшем на мне свой рассеянный склероз, свою обреченность на полный физический и интеллектуальный распад.

Разумом понимала бессмысленность этой злости. Что можно требовать от старого антикварного комода, стремительно пожираемого стаей алчных древесных жучков. Снаружи он еще сохраняет свои изящные пропорции и изысканную резьбу, но изъеденная сердцевина доживает последние дни. По прогнозам врачей, ему остался максимум год относительно человеческой жизни, а потом... И вообще... Вряд ли он собирался меня пинать. Скорее всего, сработал рефлекс потерявшей управление конечности. Но у разума есть, к сожалению, обратная сторона — чувства, въевшиеся в нас, как ржавчина, неподвластная времени. И сегодня я превратила налогового инспектора в козла отпущения. За накопившуюся усталость, за ранние вставания, за вызывающий отвращение запах человеческих экскрементов, за очередной больничный лист, принесенный коллегой, и за то, что напомнил о старых обидах, давно потерявших смысл и значение. Напомнил, мерзавец, именно сегодня, в очередной несостоявшийся день рождения моего отца.

До законных, с таким нетерпением ожидаемых выходных оставалось три дня, которые решила посвятить сохранению энергии. Приходя в комнату налогового инспектора, молча и отстраненно выполняла работу по уходу за его телом, натягивала просторную застиранную одежду и, не проронив ни единого слова, отвозила к столу.

Зачем тратить душевные силы на тех, кто упивается злостью, вскормленной на жалости к самому себе?! Шиллера мое молчание не смущало. Похоже, это была годами отработанная стратегия: хочешь, чтобы посторонние оставили тебя в покое, обхами их, чтобы впредь nepовадно было морочить занятую мировыми проблемами голову. За эти дни я научилась относиться к нему как к бездушному телу, нуждающемуся в уходе, в глубине души понимая, что мне отказывает профессионализм. Излучаемая им агрессия — обычный для первых дней акт самозащиты от стыда за немощность и старческую нечистоплотность, но... перед выходными я имею право быть некомпетентной, как любой, очень уставший человек.

Мои надежды на отдых рухнули под кипой больничных листов, козырными тузами легшими на столе у начальства. Самое страшное; на выходные в доме не осталось ни одного ведущего специалиста, а это по законам войны означает осадное положение и подъем по боевой тревоге.

Итог был плачевный. Под напором сказок, обещаний и лести пришлось согла-

ситься на компромисс: я выхожу на работу, но обслуживаю только свое отделение. Остальные два руководство закрывает собственными телами.

Но столь печально начавшийся день был полон сюрпризов. И первый преподнес налоговый инспектор.

— А вы что здесь делаете?

Близорукие, незащищенные очками глаза смотрели скорее растерянно, чем враждебно.

— Разве у вас сегодня не выходной?

— Оказалось, что нет.

— Да, я слышал краем уха. Ваши замечательные коллеги предпочли провести время в кругу семьи. Да еще в такую дивную погоду. А вы что, не умеете произносить волшебное слово «нет»? Странно. Вы показались мне женщиной с характером.

Едва сдерживая раздражение под напором его провокаций, попыталась ответить как можно спокойнее:

— Я умею не только произносить «нет», но идти, если надо, на разумные компромиссы.

— А вы уверены, что в данном случае это было разумно?

— А вы хотели бы, если у вас случится сердечный приступ, пролежать в этой комнате до понедельника без врача и без помощи?

— Если бы сразу умер, то хорошо, а вот понедельника полуживым дожидаться... слишком долго.

— Вот поэтому я пошла на компромисс.

— А ваше начальство отправилось на прогулку или по магазинам?

— Мое начальство трудится этажом выше и на третьем этаже тоже.

— Bravo! У вас и в самом деле есть характер. Да не тратьте на меня столько времени. За два дня без мытья не заплесневею. Заставлю в понедельник ваших отдохнувших коллег вымыть меня под душем.

Я молча взяла в руки электробритву...

— Успокойтесь. Вложите аппарат мне в руки и нажмите на кнопку. Попытаюсь побриться сам. Двумя руками. Еще пару недель назад удавалось.

Приладив электробритву между судорожно сцепившимися вокруг нее пальцами, с сомнением и жалостью следила за неуклюже дрыгающимися движениями.

— Нечего за мной наблюдать. Картина не из приятных. Идите и работайте дальше. Вернетесь минут через пятнадцать... или когда сможете и вывезете меня в коридор. До столовой доберусь как-нибудь сам.

Закончив дела в соседней комнате, вернулась к скверно выбритому Шиллеру, вывезла его из комнаты и, оставив посередине коридора, помчалась дальше.

Но, добежав до угла, не в силах сдержать любопытство, оглянулась.

О чудо! Одна из обиженных им третьего дня дам, кокетливо чирикавая, толкала коляску в направлении столовой. Извечная сила инстинкта практичных женщин: подбирать на дороге все, что может согдиться в хозяйстве. А тут не то, чтобы ржавый гвоздь, а одинокий мужчина, в собственном «лимузине»! Бодро перебирает ногами, щебечет и напрочь забыла, как позавчера обозвала его козлом.

Мы все смертельно боимся потери памяти, не задумываясь о привилегиях, связанных с этой потерей. А ведь это единственное надежное средство против злопамятства. Долгосрочная память бережно охраняет ставшие антиквариатом картины прошлого, тогда как «протекающее» кратковременное хранилище спускает каждодневные мелочные обиды в канализацию небытия.

С этих несостоявшихся выходных начались наши особые отношения с господином Шиллером.

Он никогда не интересовался моим прошлым, но подробно расспрашивал о «здесь и сейчас». В данный момент в его голове крутились только три темы: восприятие собственного увядания, утрата таинства «будущего» и доживание без надежды еще раз испытать что-нибудь «впервые». Что-нибудь, кроме смерти.

О себе прошлом говорил как скупец, презирающий безмозглого игрока, просадившего в казино случайно свалившееся на голову наследство.

— Право родиться есть случайно выпавшая удача. Жизнь дается нам напрокат, и мы с самого начала знаем, что когда-нибудь ее придется возвращать обратно. Вы боитесь смерти?

— Работая здесь, я ее постепенно постигаю. В ней нет ничего страшного. Чаше всего это освобождение от уставшего от жизни тела.

В этот момент Шиллер, крепко держась руками за борт раковины, привстал на ноги, давая возможность натянуть на него брюки.

— Елена, попытайтесь понять меня. Я тоже не боюсь исчезновения пришедшего в негодность тела. Дело не в нем. Мне жаль построенного мною внутреннего мира. Ведь внешнего мира как такового не существует. Вернее, не существует его объективной картины. Существуют миллиарды разных миров, преломившихся в призме восприятия каждого отдельного человека, и каждый из этих миров уникален. Как нет двух одинаковых людей, так нет двух одинаковых миров, и все они как бы заключены в стеклянные шары...

Я случайно взглянула в закрепленное над раковиной зеркало, и наши отражения встретились глазами. Шиллер тряхнул седой спутанной гривой и усмехнулся... как-то странно... не по-доброму.

— Что-то не так?

— Простите, но мне в голову пришла нехорошая шутка. Хотя по-своему забавная.

— Так озвучьте ее. Лучше услышать, чем самой домысливать.

— Только не обижайтесь. У вас глаза очень красивые. Вот я и подумал... раньше, когда был молодым и здоровым, сам раздевал красивых женщин... и не только глазами, а теперь они на меня штаны натягивают.

Пошутить так кто-то другой, наверняка испытала бы противную неловкость. Но Шиллер... скорее, не я, а он смутился... и не на шутку.

— Господин Шиллер, спасибо за комплимент. В последнее время в моих глазах видят скорее усталость, чем красоту. Спасибо.

— Не обращайте внимания на злоязычников. Они просто завидуют. Да... так что я хотел сказать... Ах да, я размышлял о мирах. Знаете, эти шарообразные миры, типа детской рождественской игрушки. Потрясеешь, и посыплется снег, заиграет музыка и закружится в танце маленькая балерина — пережитые нами радости, печали, успехи, фантазии, сбывшиеся и несбывшиеся надежды.

Увлечшись, Шиллер отцепил от раковины правую руку, пытаясь описать ею замкнутый круг. Едва действующие ноги подкосились, и вся тяжесть нечужого мира, но чужого тела легла на мое вовремя согнутое колено.

— Простите. Я вас не покалечил? Что будем делать?

— Попробуйте еще раз подтянуться на раковине. Заменю свою ногу вашим креслом.

Уже сидя в кресле, он поднял на меня растерянные глаза.

— Вот видите, разве можно сожалеть об этой развалине. Но я не верю ни в бессмертие души, ни в реинкарнацию, поэтому и грущу по исчезающему вместе со мной моему миру.

И, секунду помолчав, добавил:

— Говорят, когда человек умирает, по нем звонит колокол. А я думаю, это со звоном рассыпаются по полу осколки его стеклянного шара.

Я бережно катила Шиллера по коридору, а перед глазами взлетали десятки волшебных шаров. Одни, спеша по своим делам, даже не замечали случайно оказавшихся у них на пути, другие, едва соприкоснувшись полированными боками, скользили дальше, а третьи сталкивались и начинали взаимодействовать. В каждом зажигались искры, звучала музыка и кружились балерины, только, преломленные индивидуальным восприятием, они были совершенно разными. И никто не знал, что происходит в чужом шаре.

Шиллер прав, только в одном ошибся: бьются к смерти не стекла, а зеркала, а значит, вылиты шары не из простого стекла, а из зеркального. Сколько ни заглядывай в чужой мир, не увидишь ничего, кроме собственного отражения.

Так разбился когда-то шар моего отца, одиноко умершего в районной больнице, а я так и не успела рассмотреть в нем ничего, кроме своего обиженного лица.

Но пора возвращаться к Королеве, столь неожиданно заинтересовавшей налогового инспектора.

Она, не взглянув ни на Госпожу Мопс, ни на ломтики сального картофеля, не спеша покинула поле боя и величественно поплыла навстречу Поэту.

А Хильда, окинув растерявшихся вассалов самодовольным взглядом, изобразила на лице праздник победы над сбежавшим врагом.

Не дождавшись конца застолья, победительница запросилась в туалет. Сегодня мне не хотелось оставаться с ней наедине и выслушивать хвастливые речи о методах воспитания отстающих. Но... Вопреки ожиданиям, круглые черные глаза Хильды источали вселенскую скорбь.

— Что-то не так?

— Милая, в этой жизни все и всегда «не так». Она развивается по кругу, ни разу не изменив намеченного сценария.

— Что случилось?

— То, что всегда. Почему эти глупые, не приспособленные к жизни пустышки всегда выигрывают?

Хильда, опираясь руками на металлический поручень, с усилием вытащила тяжелое тело из инвалидной коляски и, совершив немислимый разворот правым бедром, опустилась на унитаз.

— Вы спрашивали, почему так и не вышла замуж. Дело не во внешности. Это сейчас в моде длинноногие, шваброобразные фотомодели, а в мое время мужчин привлекали крепкие округлости, символизирующие плодородие и материнство. И по тем временам я была не так уж дурна.

— Так в чем же дело?

Хильда на секунду задумалась, брезгливо взглянула на отраженное в зеркале лицо женщины, когда-то символизировавшей плодородие и материнство, и, махнув рукой, заговорила:

— До войны нас, молодежь, регулярно отправляли на работу в деревню. Большими отрядами, человек по двадцать. Прополка, сбор урожая, сенокос... работа не утомительная, зато потом, до позднего вечера, танцы, игры, гулянки, романы. Домой почти все возвращались парами, а я всегда одна.

— Неужели никто не нравился?

— Подождите секунду. Помогите подняться. В такой позиции неловко рассуждать о любви.

Протянув руку, я поблагодарила Бога за то, что он наградил Хильду любовью к

спорту. Ее тело, вопреки всем болезням и разрушениям, умудрилось сохранить упругую силу. Слегка опираясь на мою руку, она совершила мощный рывок корпусом и, уцепившись за раковину, встала на ноги. Посадка в кресло уже не представляла труда.

— Вы спрашивали, нравились ли мне молодые люди. Конечно. Всегда привлекали видные и яркие, да и они бывали равнодушны к моим «символам». Начинали ухаживать, а я... Знаете сагу о Нибелунгах... Главная героиня, Брунхильда... Сильная, мужественная воительница решила выйти замуж за того, кто ее в бою победит. Дралась она в полную силу, а силы в ней было немерено. Отец назвал меня в ее честь. Хильда — это сокращение от Брунхильды.

Госпожа Мопс, ссутулившись в кресле, теребила край небрежно наброшенной на плечи шерстяной кофты.

— Короче, как только юноша начинал за мной ухаживать, превращалась в Брунхильду: победы, одолей, докажи, что достоин. Они поначалу старались, думали, в поддавки сыграю, а я уже в раж входила: и работала лучше всех, и в спорте всегда первые места занимала, да и вообще всегда и во всем самая лучшая. Тщеславная была. Игра в «а ну-ка догони» им быстро надоедала. Рано или поздно появлялась такая пустышка, умевшая лишь хлопать волоокими глазками да томно вздыхать. К таким-то они всегда и уходили.

— И после войны ничего не изменилось?

— Такой же дурочкой осталась. Даже еще хуже. Мы, женщины, эту войну в тылу на своих плечах вытянули. И зажигательные бомбы тушили, и развалины разгребали, и людей из-под обломков домов выволакивали... А тут прилепился ко мне один «герой». Всю войну в канцелярии просидел. Так с актами под мышкой в американский плен и загремел. Правда, выгнали его через пару недель за ненужность. Он вселился ко мне в комнату и давай командовать. Тут я ему и показала, кто герой, а кто бухгалтер. Думала, поймет и зауважает, а он сбежал к одной из таких, что глазками хлопают. Даже забеременеть не успела.

— А больше шансов не было?

— А я их больше и не искала. Ездил в отпуска. То в Турцию, то в Тунис, то еще куда-нибудь, где мужчины европейских женщин любят. Ребенка хотела родить. Да так ничего и не вышло. Видать, тяжестей слишком много таскала...

— Ну, а Шиллер-то тут при чем? Неужели интерес имели?

— Да нет. Просто по привычке опять в Брунхильду сыграла. То на тренировке памяти вызов бросаю, то кроссворды решаю быстрее, то на гимнастике для «колясочников» стараюсь из последних сил, хотя мне от него ничего и не нужно было. Только зачем ему эта убогая понадобилась? А обозлилась на дурака, потому что о прошлом напомнил.

Я обняла Хильду за плечи:

— А знаете, я на него на днях за то же самое обозлилась. Напомнил о том, о чем и думать не следовало. Два дня расстраивалась.

Хильда рассмеялась и хитренько подмигнула.

— А он, видать, вроде плохой погоды. От нее тоже старые раны саднить начинает. Тяжелый человек.

Раз шутит, значит, все обошлось. Можно расслабиться и поддержать тусклое веселье:

— Говорят, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Придется в его присутствии утепляться.

Госпожа Мопс сбросила мои руки со своих плеч:

— Все. Беги. Я тебя своими жалобами и так из графика выбила.

Уже на пороге меня догнал ее очередной полезный совет:

— Приближаясь к Шиллеру, не забывай надевать теплые штаны.

Я бегу по коридору, чтобы опять раствориться в немощи и капризах требующих внимания стариков, а перед внутренним взором мелькают зеркальные миры господина Шиллера.

Неужели его мир обладает такой убойной силой, что столкновение с ним у всех поднимает со дна полусгнившие обломки давно затонувших воспоминаний?

В последующие дни я с любопытством наблюдаю за столиком у окна. Королева, элегантно орудуя столовым прибором, не докучала поэту досужей болтовней. Молчала не от тонкого понимания мужской натуры, а от бедности словарного запаса, унесенного потоками ликеров с шампанским.

Она внимательно вслушивалась в рассуждения Поэта, в нужный момент удивленно вскидывала брови, дарила улыбку согласия, вздыхала и кивала головой, но главное — не перебивала, не поучала, не упрекала и не навязывала своих взглядов. Ну, разве это не чудо? Разве не о такой женщине мечтают мужчины всего мира? А вы говорите: старческий маразм! Женщина, лишенная не только злопамятности, но и злоязычия! Одним словом, за столиком у окна царил гармония и, трепеща полупрозрачными крылышками, порхал шаловливый Купидон.

Извечная правда жизни: чем лучше чувствуют себя двое, тем сильнее буря, бушующая в душе третьего, оказавшегося лишним. Сегодня буря опять бушевала в душе Брунхильды.

— Почему жизнь всегда поворачивается ко мне задним фасадом? В чем я перед ней согрешила? Вот видите, сегодня даже встать не могу. Совсем ноги отказали. Как будете меня на унитаз перетаскивать?

— Перетаскивать не буду. Подъемник привезу.

Пристегнув Хильду мягкими ремнями к подъемному устройству, я нажала на кнопку пульта электронного управления. Обезноженная женщина, ловко уцепившись руками за поручни, плавно поплыла вверх. Уже сидя на унитазе, она продолжала свои жалобы:

— Столько лет прожила, а мужскую философию так и не постигла. Зачем им примитивные женщины? Ведь с ними от скуки помереть можно.

— А вот ваш любимый философ Фридрих Ницше совсем иначе писал. Считал, путь мужчины лежит через самосовершенствование к «сверхчеловеку», а женщина всего лишь отдохновение воина, тихая гавань, куда он возвращается из походов. Разве на так?

— Знаете, милая, философий много, а я одна и разорваться между ними не могу. Мне роль тихой гавани слишком тесна. Предпочитаю быть путеводной звездой или музой, ведущей мужчину к совершенству. И потом... Вы говорите: «сверхчеловек»... Мне тогда, в молодости, просто человека бы хватило. На «сверх» я никогда и не претендовала. Ладно, подавайте подъемный кран. Я готова.

Удобно расположившись за письменным столом, занялась заполнением актов. Еще сорок минут, и рабочий день подойдет к концу. Обязательный ритуал в конце рабочего дня: краткий отчет о каждом пациенте. Что написать о Госпоже Мопс? «Пациентка грустит. Корит себя за неправильное отношение к мужчинам. Постоянно нуждается в собеседнике».

Какая глупость! Она, по сути, совершенно права. Уж если выходить замуж... то есть за мужем стоять... или идти, так уж за таким, кто лучше тебя. Подчинение более достойному не унижает. И потом... разве мужчинам нужны путеводные звезды и музы? Даже программируя свои навигаторы, они настраивают их на мужской го-

лос. А если такового в программе не предусмотрено, услышав команду, автоматически поворачивают в противоположную сторону.

Додумать мысль до конца не удалось. Опять зазвонил сигнал вызова. На экране высветился номер Хильдиной комнаты. Господи, ну что ей сегодня нейдет?

Глядя на меня виноватыми глазами, Госпожа Мопс смущенно объяснила причину звонка:

— Прости, что опять потревожила, но знаешь... я тебе все неправильно сказала. Можно сказать, наврала. Я действительно вела себя как Брунхильда, только мотивы у нас были разными.

— А в чем разница?

— Она, по легенде, всеми достоинствами обладала. Красивая, умная, смелая. Вот и выбирала достойного ее мужчину. Она все правильно делала, а я... На символы плодородия и здоровья жаловаться не приходилось, только были они такими нелепыми! Знаете, будто экономный скульптор, вылепив целую галерею прекрасных фигур, скатал остатки глины в шары и навалил один на другой. Этакая куча. Стыдилась своей внешности. Вот и доказывала, что других достоинств мне с лихвой отмерено.

Хильда упрямо вскинула подбородок и отвернула лицо к окну. На редких коротких ресницах блеснула одинокая слезинка. Минуту спустя, справившись с предательским комком в горле, выдавила скрипуче и недовольно:

— Ладно, замучила вас сегодня своим нытьем. Не думайте об этом. Идите домой и отдыхайте.

Но забыть и не думать не удалось. Даже дома, уютно устроившись в кресле с чашкой кофе, продолжала размышлять о роли женщины, о тихой гавани и путеводной звезде. Ведь и я вела себя с мужчинами подобно Брунхильде. Молотком и кувалдой выбивая из них признание моих «совершенств», рано или поздно превращала все отношения в дымящиеся руины. Почему? Чего мне не хватало?

Неделю спустя, неловко переступая с ноги на ногу, опять появился опекун Королевы. Сунул мне в руки увесистую папочку и смущенно пояснил:

— Тут на днях Гертруда позвонила. Попросила принести ноты. И зачем они ей, если рояля все равно нет?

— У нас есть старое пианино. Я как-то ее туда водила. Просто замечательно, что ей опять захотелось играть.

После обеда, когда все разбрелись по комнатам, повела Королеву в концертный зал. На этот раз она решительно присела к клавиатуре, подышала на руки, давно отвыкшие от филигранной работы, и очень вежливо произнесла три длинные фразы:

— Оставьте, пожалуйста, меня одну. Так спокойнее. Очень волнуюсь.

Вскоре она уже находила дорогу к пианино сама, а я, не желая смущать, ни о чем не спрашивала. Даже не знала, играет ли она на самом деле или только сидит перед инструментом и мечтает.

Неделю спустя, не дождавшись Королевы к обязательному дневному кофе, отправилась на поиски в музыкальный зал. Склонившись над клавиатурой, Гертруда изумительно красиво наигрывала старинный романс, подпевая низким, хорошо поставленным голосом.

Руки и голос Королевы выплетали тончайший узор, а рядом, утонув в инвалидной коляске, плавился в ностальгии по прошлому одинокий Поэт.

Замерли последние аккорды. Шиллер тяжело вздохнул, покрутил головой и... Ну кто бы мог подумать! Взял вздрагивающими ладонями одну из покоившихся на клавиатуре королевских рук и поднес к губам. А я, осторожно отступив назад, прикрыла за собой дверь.

Через пару дней после сцены в музыкальной комнате он, преодолевая стыдливость, заговорил о Гертруде. Но не напрямую, а как-то так... окружными путями.

— Знаете, Елена, я решил начать писать дневник. Но не так, как все пишут, а наоборот.

— Это как?

— Дневники принято начинать со слова «первый»: первый день рождения, первая в жизни сигарета, первый бокал вина, первая женщина, первое разочарование и так далее. А я начну со слова «последний»: последняя осознанно прожитая осень, последний бокал вина, последний романс, от которого из глаз потекли слезы... наверняка эти слезы тоже были последними. Понимаете, особый вкус этого «последний»? Он значительно ярче и мощнее, чем «первый», потому что уже не будет повторения и сравнения тоже не будет. Это особое лакомство, которое не проглатывают на ходу, торопясь перейти к следующему блюду. Это ритуал осознанного прощания. Шаманство гурмана, в последний раз наслаждающегося тончайшими нюансами ощущений. Вы меня понимаете, или я уже путаюсь в словах?

— Понимаю. Еще как понимаю. У вас хватит мужества дописать свой дневник до конца?

— Важно, чтобы мужества хватило у вас. Обещайте закончить последние страницы, когда мои руки уже перестанут двигаться. Обещаете?

— Обещаю.

— А кстати, о вине... Где тут у вас поблизости можно выпить бокальчик хорошего вина... вдвоем... Хочу пригласить Королеву. Ведь она тоже часть моего дневника. Последняя любовь, впервые не убитая разочарованием... потому что времени на разочарование уже не отпущено. Вот видите, даже здесь «первый» переплетается с «последним». Это будет самый удивительный год в моей жизни.

Я подвезла Поэта к окну и показала на маленький домик в конце усыпанной красно-желтыми листьями аллеи:

— Всего сто метров, и вы у цели.. С шести вечера там не протолкнуться, а между тремя и пятью — вкусно, уютно и тихо. Проводить вас туда?

— Ни в коем случае. Мы с моей дамой доберемся сами.

Я стою у окна и наблюдаю за парой, медленно продвигающейся к «Интернационалу». Королева, скользя на сбившихся каблуках, бережно толкает инвалидную коляску, а в прозрачном воздухе в медленном вальсе кружатся листья, устилая им путь нарядным осенним ковром.

— Ну что, бабьим летом любишься? — скрипучий голос Госпожи Мопс фальшивой нотой врезался в мое романтическое настроение. — Вот это и есть настоящая гармония взаимодополнения. Его голова плюс ее ноги... и получился полноценный человек.

— А может, и вам подобрать достойную гармонию? Будете путеводной звездой или навигатором, знающим, куда ехать, а партнеру останется лишь нажимать на педаль газа?

— А это идея! Ну, так чего же ты ждешь? Беги на поиски, пока всех... с ногами... не разобрали. — Хильда шутя ткнула меня локотком в бок и забавно подмигнула: — Не грусти, детка. У нас с тобой тоже все будет хорошо.

Я — НЕ МИСС МАРПЛ

Это была абсолютно новая клика. Она пришла сюда не ждать исполнения приговора, а жить дальше. Четыре энергичные, по-своему умные, практичные женщины, привыкшие не столько подчиняться течению, сколько им управлять. Четыре ярких портрета, случайно оказавшихся в одном интерьере.

Старшей по возрасту была госпожа Рихтер, прожившая жизнь состоятельной, квалифицированной домохозяйкой. Старший сын, по ее рассказам, занял приносящую стабильные деньги должность, женился, купил дом и обзавелся детьми.

У дочери все пошло наперекосяк. Маленькая, пухленькая Сюзанна, легко переходящая от смеха к слезам, успела побывать замужем и поработать, но к пятидесяти годам осталась безмужней, бездетной, безработной, так и не повзрослевшей, взбалмошной маминой дочкой.

Что касается самой госпожи Рихтер... ее утонченно вежливые манеры, тихий голос, тонкие, украшенные двумя старинными перстнями пальцы, всегда аккуратно уложенные волосы и цепкий взгляд спрятанных под очками глаз навевали мысли о Черном Кардинале, пишущем историю, надежно спрятавшись за спинами своих надежных соратников.

Почему Черный Кардинал? Госпожа Рихтер никогда не высказывала свое мнение напрямую. Оно медленно созрело в ее подземной лаборатории, обсуждалось и отшлифовывалось с доверенными лицами и только потом в окончательной формулировке появлялось в воздухе, в форме всеми одобренного общественного мнения.

На втором портрете, послушно всплывающем в моей памяти, нарисована Алиса Кауфманн — вдова полномочного представителя какой-то торговой фирмы в Париже. Она, по ее словам, половину жизни провела с мужем во Франции, обожала французскую кухню, моду и нравы. Дети не сумела обзавестись, но очень нежно относилась к двум племянницам, которым и отписала немалое имущество в обмен на пожизненную заботу и поддержку.

Алиса была очень колоритной женщиной. Высокая, всегда дорого и элегантно одетая, она напоянала жирным шрифтом написанный **О**, установленный на длинные, стройные ноги. Широковатые плечи, плавно переходящие в плоский, объемный таз, при полном отсутствии талии. Породистые, внушающие уважение черты лица и выполненные по индивидуальному заказу протезы с удлиненными передними зубами в сочетании с именем, необычным для Германии начала двадцатого века, напоминали о кролике из сказки «Алиса в стране чудес».

Госпожа Кауфманн, прожив рядом с мужем более сорока лет, переняла у него массу дипломатических приемов. И все же Алиса была лишь женой дипломата. Необузданный темперамент, прорываясь сквозь любезную маску, рисовал на овальном лице искренние, далеко не всегда доброжелательные чувства по отношению к окружающим. В этом смысле она явно уступала Черному Кардиналу.

Третья дама в этой упряжке звалась Маргитой Блюме, что в переводе на русский означает «Цветок». Тучная, дебелая Маргита гордилась двумя наиболее яркими событиями своей жизни — двумя неудавшимися самоубийствами. В первый раз она выпрыгнула из окна второго этажа в семнадцать лет. Тогда она намеревалась проучить злую мачеху. Куст ежевики, приняв самоубийцу в свои колочие объятия, предотвратил летальный исход. На память о полете остались пара шрамов на руках и криво сросшаяся правая лодыжка, обеспечившая юной самоубийце пожизненную хромоту.

Вторично госпожа Блюме повторила полет из окна, едва отпраздновав сорокалетний юбилей. На этот раз она наказывала изменившего ей любовника. Нераскаившийся мужчина бесследно исчез, оставив в память о себе вторую переломанную лодыжку.

После ряда лет, проведенных между собственным жильем и палатой психиатрической больницы, Маргита оказалась в доме престарелых с явно выраженными признаками старческого склероза, истеричная, одинокая и хромота на обе ноги.

Этих столь непохожих друг на друга женщин объединяло только одно: они прибыли на новое место жительства почти в один день и, как все новенькие, дружно взявшись за руки, принялись выживать. Со временем, узурпировав власть, эта клика стала бессменным законодателем общественного мнения.

Четвертая дама, Грета Вильке, появилась у нас в отделении тихо и незаметно. Дочь перевезла ее из двухкомнатной квартиры вместе с личными вещами: любимым креслом, большим телевизором и книжной полкой, заполненной пестрой, современной литературой.

Я с любопытством изучала породистое лицо новой пациентки. Крупный, слегка загнутый к верхней губе нос. Рисунок рта, напоминающий угрожающе расправленные крылья лебедя, густые, не нуждающиеся в завивке волосы и глаза... глаза моих еврейских тетюшек из Одессы.

В дочери, симпатичной женщине средних лет, повторилось мамино лицо, но повторение оказалось блеклым, потертым, с расплывшимися контурами.

Вильке-младшая, смущенно заглядывая мне в глаза, уже более получаса перечисляла причины, заставившие ее переселить маму в дом престарелых.

А я представляла себя на месте мамы.

Много лет прожила в уютной двухкомнатной квартирке. Дети давно выросли, муж умер, друзья... растворились в прошлом... и телефон молчит.

Я давно предоставлена самой себе. Встаю, когда захочется, а если не хочется — вообще не встаю. Есть настроение — вымоюсь, прилично оденусь, а нет — прохожу целый день немойтой и в грязном халате. Да, он давно покрылся темными пятнами от пролитого на него кофе и супа. Ну и что? Никто не видит, а мне в нем тепло и уютно.

Когда я последний раз готовила себе полноценный обед? Не помню, но думаю, давно. А зачем готовить, когда есть все равно не хочется? Хотя иногда, чаще под вечер... вдруг наплывает острое чувство голода, как черным туманом обволакивает. Даже руки трясутся. Но это не страшно, наоборот — приятно. В такие моменты кусок хлеба, огрызок сыра или колбасы кажутся неземным наслаждением. А так... чаю попила, и хорошо.

Иногда, нарушая ставшее привычным одиночество, вихрем влетает моя неугомонная дочь, переворачивает все вверх дном и без передышки ругается:

— Опять распахала грязное белье по углам! Неужели так трудно засунуть его в стиральную машину и нажать на кнопку?

Должна ли я объяснять, что сейчас мне все трудно. Трудно делать то, чего не хочется делать. Я всю жизнь прожила под прицелом слова «надо», а сейчас... А сейчас я вычеркнула это дурацкое слово из своего лексикона, оставив в нем только «хочу» или «не хочу».

Стирать белье не хочу.

Но дочь еще не достигла моего уровня понимания жизни. Для нее существует только проклятое «надо». Вот пусть и бегают.

Я пытаюсь порасспросить о внуках, о работе, но она, не обращая внимания на вопросы, продолжает отчитывать за беспорядок:

— У тебя в холодильнике половина продуктов протухла. Неужели не чувствуешь, как воняет? Господи, а на полках-то что делается! Того и гляди, мыши с тараканами разведутся!

Я продолжаю молчать, а она... Она обреченно садится на стул, смотрит на меня печальными глазами и безнадежно вздыхает:

— Мамочка, ну что мне с тобой делать? Если бы не работала, приходила бы ежедневно и помогала по хозяйству, а так...

После одного из таких разносов дочь, мигая круглыми виноватыми глазами, погрузила мой скромный багаж в машину и перевезла в дом престарелых.

Вильке-младшая прерывает мои размышления назойливым вопросом:

— Ну что мне оставалось делать? Закрывать глаза на ее тотальное саморазрушение?

Перед кем она оправдывается? Передо мной или перед собой? Неужели даже перед самими собой нам всегда хочется быть правыми? Она приняла решение, значит, так было нужно, и не мне судить. Я сочувствовала обеим женщинам.

В первые недели госпожа Вильке редко выходила из комнаты и по возможности избегала общения с остальными дамами.

Мы по обязанности приглашали ее на ежедневные развлекательные мероприятия, но... вежливо посидев в кругу минут двадцать, она, сказавшись на головную боль или занятость, удалялась к себе. Книги и телевизор интересовали ее гораздо больше, чем болтовня и самоутверждение соседок.

Что касается соседок... Информация для сплетен о новенькой быстро иссякла, и, потеряв интерес, дамы о ней забыли.

Прошел месяц, и состояние госпожи Вильке резко ухудшилось. В спокойных, погруженных в себя глазах зажглось возбуждение. Она добровольно и энергично начала устанавливать контакты. Но как! Выйдя из комнаты, настороженно оглядывалась по сторонам и, выбрав одинокую жертву, присаживалась рядом, тесно прижималась бедром и, шумно дыша в ухо, шептала:

— Нас всех скоро отравят или зарежут. Неужели не понимаете, мы — заложники? Надо бежать, пока не поздно.

Одни дамы впадали в панику, другие начинали ругаться и гнать ее прочь. Но что означали эти предупреждения? Кем она была в данный момент? Тайным агентом-провокатором или жертвой, почуввавшей шестым чувством, что преследователь уже наступает на пятки?

Откуда взялась эта роль? Может, со времен нацистской Германии или коммунистического подполья?

В голове крутились догадки, связанные с прошлым Германии и с еврейским геноцидом. Неужели Грета — одна из чудом уцелевших жертв? Неужели побывала в концлагере или, как Анна Франк, пряталась несколько лет на чердаке чужого дома? Неужели насильственное переселение в дом престарелых, разбудив в ее ослабевшем мозгу страхи из прошлого, обернулось для несчастной женщины не менее жуткой реальностью?

Врач, к которому обратилась неделю спустя, посоветовал поговорить с дочерью.

— Выясните, о чем идет речь — о галлюцинациях или реальных переживаниях.

Вильке-младшая категорически отвергла связь с прошлым:

— Этого не может быть. Это я точно знаю. Ее никто и никогда не преследовал. Мама была всегда далека от политики, а что касается геноцида... Лет десять назад она увлеклась составлением генеалогического дерева. Достоверно доказано, что у нас в роду только чистокровные немцы. Никто из предков не имел ничего общего ни с коммунистами, ни с евреями, ни с фашистами.

В этот момент дочь почему-то смутилась и совершенно не к месту добавила:

— А отец вообще не воевал. Он — инвалид с детства. Переболел детским полиомиелитом. Сами понимаете, что это такое. Маму всегда боготворил, а она его жалела.

Вопрос о происхождении навязчивых идей остался открытым, хотя чувствовалась во всем этом определенная недосказанность. Похоже, была все же в жизни семьи какая-то тайна, о которой дочь не хотела говорить. И не надо. Нужно ли ворошить скелеты в чужих шкафах?

Вскоре госпожа Вильке удивила нас новым симптомом.

Раздавая обед, я положила на тарелку ее любимое лакомство — покрытую золотистой хрустящей корочкой куриную ножку.

Она, с отвращением сморщив нос, указала на прекрасно пропеченное чудо:

— Уберите, пожалуйста. Смотреть противно.

С этого дня она превратилась в убежденную вегетарианку: шницеля, котлеты, рыба в тесте отодвигались на край тарелки. Съедался только гарнир, да и то наполовину.

Новым симптомам врач нашел только одно объяснение: переселение в незнакомую среду отрицательно сказалось на мозговой деятельности.

Зато у соседок появилось достаточно пищи для сплетен и нелюбви к новенькой. Нелюбви, перешедшей вскоре в откровенную ненависть.

Рождество, подарки, исполнение желаний и пожеланий было не за горами. Мы коротали время за застольной беседой на тему «Чего бы мне хотелось?».

Одни желали здоровья себе и своим близким, другие — новую сумку, третьи — поездку в кругосветное путешествие, а четвертые — бриллиантовое кольцо. Грета Вильке, в упор посмотрев на сидящую напротив госпожу Рихтер, четко произнесла:

— А я бы хотела, чтобы меня поцеловал мужчина.

Дамы, потеряв дар речи, изумленно взирали на Грету. Первой опомнилась Алиса Кауфманн. Умильно округлив губы в бледно-розовый овал, она пришла на помощь потерявшей рассудок мечтательнице:

— Милочка, вы хотите сказать, что скучаете по мужу? Как я вас понимаю! Мне моего, особенно под Рождество, тоже очень не хватает.

Упрямая Грета, переведя взгляд на вездесущую Алису, твердо повторила свое желание:

— Я хочу, чтобы меня поцеловал мужчина.

Столь настойчиво повторенное желание было самым злостным нарушением местных традиций. По немой договоренности за этим столом сидели только счастливые жены. Каждой удалось в свое время поймать в сети настоящего принца и прожить с ним долгую беззаботную жизнь. И каждый из принцев публично объявлялся не только героем, но и красавцем. На всех прикроватных тумбочках стояли семейные фотографии с детьми, внуками, но прежде всего с мужьями. Ох уж и насмотрелась я на этих красавцев!

Имена безвременно ушедших из жизни героев произносились с печалью и нежностью. Каждый из них не дожил всего нескольких дней до великой даты. Одни скончались за три дня до золотой свадьбы, другие — испугавшись собственного восьмидесятилетия, а третьи... третьи просто не дотянули двух-трех дней до Ново-

го года. Переступи они злополучную черту... не пришлось бы одиноким вдовам мыкаться в доме для престарелых. Преданные мужья оградили бы их от всех болезней и печалей. Эти рассказы стали вступительным паролем в Клуб Счастливых Жен.

За нашим столом проживалась не жизнь, а ее легенда. Понятия «мужчина» не существовало. Были только лучшие в мире мужья. А тут... такое безобразие.

Женщины возмущались, корили нарушительницу традиций, а она, так и не раскаявшись, спокойно поднялась со стула и удалилась к себе в комнату.

Вечером меня позвала к себе госпожа Рихтер. Жаловалась на тошноту и головокружение. Давление, правда, было нормальным. Невзирая на плохое самочувствие, она, вооружившись лупой, рассматривала старую, потертую фотографию.

— Вот посмотрите. Ведь это точно она. Недаром ее лицо мне сразу показалось знакомым.

Не поняв, о ком идет речь, я тупо переспросила:

— Кто «она»?

— Да эта. Что до сих пор о мужчинах мечтает. Ваша Вильке. Вот она, мерзавка. Всю жизнь такой гадиной и прожила.

И обозленно ткнула пальцем в лицо на фотографии.

— Неужели не узнаете?

Что можно разглядеть на снимке сорокалетней давности? Женщина, сидящая на коленях у плотного, лысого мужчины. Темные волосы, уложенные в модную по тому времени прическу, и стройная нога в остроносой туфле, умышленно выставленная напоказ.

— Кто она и почему мерзавка?

— Мерзавка и шлюха. Сбила с пути моего мужа. Я, дура, дома сидела. Убирала, готовила, стирала, детей воспитывала, а он... Придет домой, наденет хрустящую рубашку, набрызгается одеколоном и... поминай как звали. Да что говорить. Старая, банальная история.

Госпожа Рихтер... уж какой там Черный Кардинал... по-бабьи шмыгнула носом и прикрыла трясущиеся губы рукой.

— Меня с собой, как ни просилась, не брал. «Зачем тебе. Только скучать будешь. Мы с мужиками то в шахматы перекинемся, то правительству кости помоем». Вот они, шахматы... с полуголым ферзем на коленях.

— А откуда у вас эта фотография?

— Да какой-то доброжелатель по почте прислал.

Сунула лупу мне в руку:

— Вы взгляните... взгляните. Неужели не узнаете?

Лупа показала профиль грешницы крупным планом. Трудно сказать, принадлежал ли он Грете Вильке или нет. Но нос... крупный, слегка изогнувшийся к верхней губе, и смеющийся рот, напоминающий крылья лебедя, приготовившегося ко взлету.

Я разглядывала лицо женщины, до сих пор мечтающей о поцелуях мужчины. Женщины, бывшей замужем за инвалидом, которого только жалела. Женщины, замирающей от страха перед приближающимся Страшным судом, когда каждый расплачивается за совершенные при жизни грехи. Неужели это она?

А госпожа Рихтер, отложив в сторону очки, вытирала мутно сочащиеся из глаз слезы.

Я задавала вопросы, примеряя ситуацию на себя:

— Но почему не развелась? Может, лучше остаться одной, чем так мучиться.

Пожилая дама медленно возвращалась в привычную форму уверенного в себе

благополучия. Тонкие веки опустились на покрасневшие от слез глаза, а пальцы сомкнулись в замок, надавив на поблекшие камни старинных колец.

— А куда деться с двумя детьми? Тогда времена были другие. И мораль другая. Это сейчас женщины стали самостоятельными, а тогда... Вдова — это одно, а брошенная жена... от них все как черт от ладана шарахались. Потенциальная соперница. И потом... — Она оборвала себя на полуслове, помолчала с минуту, а потом, решительно подняв на меня глаза, продолжила: — Проблемы с сыном начались. Он по стопам отца пошел: карты, вино, а потом и наркотики. Уже не до мужа и его любовниц было. Боролась за сына до последнего, правда, так и не справилась.

Это уже абсолютно выпадало из жизненной легенды госпожи Рихтер. До сих пор о сыне рассказывалось как о звезде. Но я не перебивала. Значит, сегодня ей нужно высказаться.

— Елена, вы знаете, как больно безнадежно ждать? Ждать без надежды, что когда-нибудь дождешься? А я знаю. Потому что всю жизнь прожила в ожидании, да и до сих пор только и делаю, что жду.

— А сейчас чего ждете?

Госпожа Рихтер тоскливо взглянула в окно.

— Сына. Год назад был у меня в последний раз. Пришел денег просить. Отдала все, что было. Он поцеловал на прощание, обещал в ближайшее время вернуть и... скрылся вон в той подворотне. А обратно не выходил. Уже год сижу целыми днями у окна и жду, когда выйдет. Не говорите ничего. Сама знаю, этот двор проходной.

Мутные глаза вновь прилипли к оконному стеклу, а я, не желая мешать, тихонько вышла из комнаты.

Ну и выдержка у этой женщины, ну и манеры! А ведь маска абсолютного благополучия и достатка так хорошо и естественно сидела на ее лице.

Да, бог с ней, с маской. Ситуация грозила катастрофой для госпожи Вильке. Уже сегодня информация о ее неблагоприятном прошлом поползет по тайным кардинальским каналам. День-другой, и каждая дама из клуба «Счастливые жены» будет в ярости рвать на части злосчастную блудницу. Что делать?

Я рассчитывала на два дня срока, но уже через два часа раздался сигнал срочного вызова. На этот раз призывала на помощь Алиса Кауфманн. Вид второй аристократки поверг меня в шок. Алиса расплзлась по креслу сдувшимся шаром. Домашние тапки на босу ногу, криво застегнутые полы халата, и лоб, перевязанный полотенцем. Господи, а с этой что приключилось?

— Елена, помогите, мне очень плохо.

— Сидите спокойно. Сейчас померю давление и вызову «скорую».

— Не надо «скорой». И давление у меня нормальное. Душа болит.

Алиса поправила сползшее на глаза полотенце и приступила к исповеди:

— Во всем ваша Вильке виновата. Испортила мне всю жизнь. Не случайно в первый же день ее лицо показалось мне знакомым.

Я ушам своим не поверила. Неужели и у нее из-за Греты были проблемы с высокопоставленным мужем, о котором всегда говорила с восторгом и обожанием? И почему опять Вильке?

— Да. Она проработала у него лет восемь стенографисткой. Сопровождала всюду и везде. Иногда исчезал с ней на целую неделю. Это называлось встречей с партнерами.

Я чувствовала, что расследование начинает затягиваться. Почти по Агате Кристи. Все участники преступления, совершенного лет тридцать назад, собрались почему-то в один день и в одном месте. До мисс Марпл мне безусловно далековато, но вопросы сыпались сами по себе, как из рога изобилия.

— А вы ее когда-нибудь видели, эту стенографистку?

Лицо госпожи Кауфманн передернулось отвращением.

— Несколько раз. На больших торжествах. Вела себя просто вызывающе. Приходила с мужчиной, которого называла мужем. Они целый вечер напоказ танцевали. Выверты, повороты... Говорили, три раза в неделю посещают школу танцев, и регулярно завоевывают призы на состязаниях международного значения. Врали, конечно. Он-то еще ничего, но она... двигалась настолько развратно, что приз могла получить только на конкурсе стриптизерш.

— А вы не пробовали открыто поговорить с мужем?

Алиса с досадой сорвала полотенце со лба и откинулась на спинку кресла.

— Устроить скандал, а потом развестись? И коротать жизнь в одиночестве? Ведь она, мерзавка, его гонореей заразила. И я от него. От болезни со временем вылечилась, а детей родить не смогла. Ненавижу!

Мне оставалось только удивляться. Госпожа Вильке не могла танцевать с мужем-инвалидом. Значит, школу танцев посещала с кем-то другим. Как ухитрилась эта женщина, мать двоих детей, вести такую забубенную жизнь? Что-то все же в этой истории не складывается.

— А это было здесь, в Ганновере, или уже в Париже?

— Нет, в Париж он ее с собой не взял. После гонореей сразу уволил. Во Франции у него новая появилась.

Госпожа Кауфманн вернула полотенце на прежнее место, попыталась разгладить полу халата, так и не поняв, что он криво застегнут. Вытерла капельки пота, выступившие от волнения на верхней губе, и продолжила размышления вслух:

— Понимаете, женщины делятся на две категории. Пчелки и жвачные коровы. Пчелки, как Вильке, присядут на цветок, полакомятся сладким нектаром и летят дальше. К следующему. Так всю жизнь и проводят в полете. А мы, коровы, стоим год за годом в стойле и жуем прошлогоднее сено.

Картинка получилась весьма впечатляющей. Хотя... Возражение выскочило само по себе:

— Но зачем тогда на них злиться? У каждой женщины есть выбор, кем стать — пчелкой или коровой.

Алиса посмотрела на меня, как на маленького ребенка, лопочущего наивные глупости.

— Эту ерунду о свободе выбора пропагандируют по телевизору современные психологи. Какой выбор! Нам вначале намертво вобьют в голову законы, мораль и церковные заповеди, а потом пригрозят: «Будешь их соблюдать — при жизни тюрьмы избежишь, а после смерти — адского котла, а не будешь... Право выбора за тобой, но помни — Бог все видит. За каждый, даже самый маленький грех тебя рано или поздно настигнет наказание». Вот вам и вся свобода. Родители мои католиками были. Можете представить, как воспитали.

Аргумент заставил задуматься. И все же есть оно, это право. Право выбора между наказанием за грехи или вознаграждением за безгрешность. Грех — это всегда риск, но и шанс. Шанс накопить воспоминания о кураже и азарте. Сокровища, которые потом, сидя в инвалидной коляске, можно пересчитывать день за днем, год за годом. Может, в этом и есть определенный смысл: жить так, чтобы было о чем вспомнить? Если так, то женщинам-пчелкам веселее стареть.

Все эти мысли я оставила при себе. Вряд ли госпожа Кауфманн была расположена к философской дискуссии.

Но, похоже, Алиса уловила их отголоски. Развернула фотографию мужа к себе лицом и, саркастически улыбнувшись, отомстила герою, вдребезги растоптав его мужское достоинство:

— Правда, не знаю, много ли радости твои любовницы от тебя имели, — ехидно проскандировала обманутая жена и, разведя большой и указательный пальцы на два сантиметра, добавила: — Потому что и было-то в тебе этой самой радости вот сколько.

Жест не аристократический, но очень информативный.

Пригоршня презрения, открыто брошенная мужу в лицо, пошла Алисе на пользу: в глазах заплясали чертики, а на щечках заиграл румянец. Все же месть сладка. Пусть даже запоздалая. И погрешит против правды тот, кто вздумает это отрицать.

Как и следовало ожидать, вскоре последовал звонок госпожи Блюме.

Постучавшись, я вошла в комнату. Маргита сидела, уперев локти в расплывшиеся по краю кровати бедра. Спина, обтянутая тонкой ночной сорочкой, пышным куполом вздымалась на фоне кружевной занавески окна. Не поднимая глаз, она затянула уже знакомую песню:

— Это она во всем виновата. Из-за нее я стала жалкой калекой. То-то думала, лицо уж больно знакомо.

Мне не нужно было задавать наводящих вопросов, потому что и без них было ясно, о ком идет речь.

— Они познакомились в теннисном клубе. Мерзавка была несколько старше моего гражданского мужа, но... говорили, в теннис играла превосходно. Носилась по корту, как оглашенная. Юбочка едва задницу прикрывала, а под ней... полупрозрачные кружевные трусики. Это мне по дружбе доносили. А зимой поехали всей компанией в Австрию на лыжах кататься.

Маргита печально кивнула на болтающиеся на лодыжках ортопедические ботинки.

— Проклятая хромота! Какая из меня конкурентка! После Австрии забежал на четверть часа домой, вещички собрал и был таков.

Далее более получаса продолжались стоны вперемешку с грязными, не поддающимися повторению проклятиями.

Третий рассказ, дав новый виток, вывел историю на грань абсурда. Где вы, мисс Марпл? Помогите!

В последующие два дня процесс разоблачения мужей принял характер стихийного бедствия. Нет смысла описывать каждую отдельную трагедию, потому что суть их едина: принцы оказались голыми королями, а счастливые жены — униженными и оскорбленными страдальцами.

Я покорно выслушивала новые легенды, а перед глазами маячил старый радиоприемник. Настроил ручку на одну волну — и льется в уши томный сентиментальный романс. Душа плавится в нежности и сладкой печали. Повернул ее на два оборота — и рвутся из адской машины аккорды, пропитанные горечью и злобой.

Так случилось и с дамами за нашим круглым столом. Вильке неловким движением сбила настройку, разрушив защитную стену, возведенную женщинами вокруг своего прошлого. И им было нестерпимо больно.

Но даже отринув старые легенды, они остались едины. Иначе и быть не могло. В большом цивилизованном государстве права на инакомыслие значительно больше, чем в маленьком, замкнутом коллективе. Тут каждый на виду. Кто не поет в хоре со всеми, будет забит, заклеван, обглодан до косточек и выброшен на помойку.

Кое-кто из женщин, подключившись к хоровому пению, не поносили своих му-

жей вслух. Просто, поджав губы, горько вздыхали и выразительно подносили к глазам кружевные платочки. Разве трудно найти причину для грусти? Они тоже были не всегда счастливы.

На этот раз вдов объединяла ненависть к беззаботным пчелкам. Эти негодяйки, воруя чужую мужскую силу, оставляют преданным женам жалкие объедки с барского стола: подагры, инсульты, воспаленные простаты, пьяные скандалы и половое бессилие бывших лихих скакунов.

Вспоминая о проглоченных унижениях, дамы дружно сходились в одном: «Хорошо, что наши „голые короли“ вовремя переселились в иной мир. Дали хоть пару лет пожить для себя». Так накануне Рождества клуб «Счастливые жены» был переименован в клуб «Свободные вдовы».

А что делала наша «пчелка», одной неосторожной фразой перевернув мир наизнанку? Она, окончательно изгнанная из коллектива, заперлась у себя в комнате. Выходила только к завтраку, обеду и ужину, пожиная в эти короткие промежутки горькие плоды презрения за былые грехи. Вот оно, право на выбор, на преступление и наказание.

Дочь, насильно переселившая мать в дом престарелых, мучилась совестью и терзала меня:

— Это я во всем виновата. Дома ее хотя бы никто не травил и не унижал. Но я не понимаю за что. Она всегда прекрасно ладила с людьми.

Задумавшись, дочь машинально перебирала фотографии в семейном альбоме, лежавшем на столе.

— Отец был врачом-ортопедом, а она — медсестрой-физиотерапевтом. Начала работать еще до войны. Они почти тридцать лет вели свой ортопедический практикус. Лучший во всем районе. К ним запись была за полгода. Родители никогда не закрывались вовремя. Работали, пока всех больных не примут. А маму пациенты просто обожали. Она на регистратуре чудеса творила: для каждого, когда срочно, время выкраивала. А уж как процедуры делала! Все говорили, у нее золотые руки.

Я ушам своим не верила. Что-то дочка путает. Или не договаривает. Когда же ее мама танцевать, играть в теннис да к мужчинам на колени прыгать успевала? Но вопрос задала совсем иначе:

— А когда ваша мама успевала вас с братом воспитывать да хозяйством заниматься?

— Да так и успевала. В практике они отдельную комнату выделили. Даже с кухонькой. Мы после школы там уроки делали. Обед мама из дома приносила. На кухне только разогревали. А стирки, уборки, глажки... все вместе, по выходным. Так и жили. Как я сейчас понимаю, у родителей, кроме работы, других интересов и не было. Но зато их весь район знал и очень любил. Ведь спины и суставы у всех болят.

Уж больно уныло смотрится картина, нарисованная Вильке-младшей.

— Неужели у ваших родителей никаких увлечений не было?

— Были. Папа очень любил оперу, а мама — любовные романы. Даже сюда свою библиотеку притащила. Но ей все мало. Я должна каждую неделю новые покупать.

В моей голове крутились противоречивые обрывки свидетельских показаний. По одним — подозреваемая была стенографисткой, любительницей фривольных танцев, тенниса и рассадницей гонорей. По другим — полуголым ферзем на мужских коленях. По третьим — верной женой инвалида, прилежной труженицей, засыпавшей в обнимку с сентиментальным романом.

Но это еще не все. Что за страхи мучили ее до сих пор? Страхи в сочетании с лицом моих еврейских тетушек из Одессы при чисто арийском происхождении? Подозреваемая работала медсестрой еще до войны? Где? Может, в одной из психиатрических больниц? Была соучастницей или свидетельницей эвтаназии? И какое отношение это имеет к жареной куриной ножке?

Мисс Марпл, вы разобрались бы в этой шараде в считанные секунды, но мне она, к сожалению, не под силу.

Пару дней спустя по какому-то делу зашла в комнату к госпоже Вильке. Увлеченная телевизионной передачей, она даже не повернула головы в мою сторону. На столике лежал очередной сентиментальный роман. Машинально взглянула на обложку.

Молодой соблазнитель, копия Жана Море в молодости, призывно склонился к кареглазой красавице, томно разметавшей каштановые кудри на его полуобнаженном богатырском плече. Прелестный пейзаж: горы в золотистом тумане заходящего солнца, плывущие в облаках зыбкие башенки замка и птичка...

Резкий окрик госпожи Вильке вернул на землю улетевшие в сказочную страну фантазии:

— Что, вам он тоже приглянулся? Нечего заглядываться. Это мой мужчина. Видите, как нам хорошо.

Ревнивица вырвала книгу у меня из рук и, пряча под подушку, продолжала отчитывать:

— Думала, вы — серьезная женщина, а оказывается, одна из тех бесстыдниц, что пялят глаза на чужих мужчин! Ненавижу этих бабочек-однодневок, перелетающих всю жизнь с цветка на цветок.

Я чуть не задохнулась от возмущения. Кто бы говорил. Сама-то... Впрочем... каждая из нас постоянно выступает в двух ролях. Дома, в родном стойле, мы мельтешим непричесанной головой перед глазами мужа, упрекаем, ругаемся и шаркаем стоптанными домашними тапочками. Он, утомленный домашним побоищем, выскакивает за дверь и... попадает в волшебный мир пестрокрылых бабочек, порхающих в шлейфе тончайших духов по своим особым, полным возбуждающей тайны делам. Кто они, эти чаровницы? А это опять мы, только на этот раз — чужие жены. Причесанные, накрашенные, модно одетые, с пониманием относящиеся к мужским слабостям. С пониманием, потому что эти слабости отравляют жизнь не нам. Кстати, мужчины точно так же двулики.

Да, госпожа Вильке, вне дома мы все бабочки-чаровницы, но... Потрясающая догадка прервала мои размышления на полуслове. Неужели о поцелуе нарисованного на обложке мужчины мечтала Грета, обвиненная в преступлениях против законных жен?

Неужели романтическая труженица, вдова ортопеда, сбежав на минуту от постылой реальности в мечту, поверила в нее, увлеклась, а потом, проболтавшись за общим столом, расплатилась за несовершенные ею грехи? А лицо ее всем показалось знакомым, потому что годами, посещая праксис, доверяли свои защемленные спины ее чудодейственным рукам?

Пусть я не мисс Марпл, но задачу, похоже, решила.

На следующий день, прихватив пару фотографий из семейного альбома без вины виноватой, отправилась к главному свидетелю обвинения — к Черному Кардиналу. Госпожа Рихтер по-прежнему сидела у окна, уткнув глаза в подворотню соседнего дома.

— Вы часто рассказывали, что страдали от болей в спине. Не помните, у какого врача лечились?

Свидетельница, наморщив лоб, мучительно попыталась вспомнить страдания прошлых лет:

— Ну и вопросы вы мне задаете! Столько лет прошло. Впрочем... Конечно же... У нас в районе был изумительный доктор. Мы все к нему бегали. Как же его звали? Нет, память совсем дырявой стала.

Я вытащила из колоды первого туза — фотографию главного входа в праксис с витиеватой вывеской крупным планом.

— К этому врачу?

Свидетельница, вооружившись лупой, силилась прочесть имя на вывеске.

— Доктор Вильке. Конечно же, это он. Сам хромым был, потому и к нашим бедам особое понимание имел. Врач, как говорится, от Бога.

Метнула на стол второго туза — совместную фотографию врача и его верной соратницы.

— А его помощницу помните?

Госпожа Рихтер просияла счастливой улыбкой:

— Так это его жена. Удивительная женщина! И руки золотые. После ее процедуры мы все как на крыльях летали. Можно сказать, из гроба всех поднимала и на ноги ставила.

На стол лег последний, козырной туз — современная фотография Вильке, снятая с дверей ее комнаты.

— А эту женщину узнаете?

Что тут началось! Черный Кардинал в панике переводил глаза с лица своего кумира на лицо полуголого ферзя, удобно устроившегося на коленях господина Рихтера.

— Ничего не понимаю. А это тогда кто? Да кто сказал, что они похожи? Совершенно разные лица! Ну да бог с ней, с этой негодяжкой. Пусть горит в аду безымянной. Как же я так оплошала!

Последующие десять минут заполнились причитаниями, сожалениями и покаяниями.

Я вернула тузы в колоду и удалилась. Игра закончена. Мне не нужно обходить остальные комнаты. Информация потечет тонкими ручейками по надежно проложенным кардинальским каналам. Не позднее завтрашнего утра все будут осведомлены надлежащим образом.

За обедом ничего не подозревавшая Грета Вильке была ошарашена бурным приветствием возбужденных, по-праздничному разодетых дам. Знакомая картина. Вчерашний враг народа вздымается восхищенной толпой на пьедестал, чтобы завтра опять лететь лицом вниз в близлежащую лужу. Так было и так будет всегда.

Бывшие пациентки представлялись не именами, а диагнозами:

— Помните мою спину? Приползла к вам почти на четвереньках, а уходила вприпрыжку стройным кипарисом.

— А мое плечо. Руки не могла поднять...

— А мое колено. Думала, после операции никогда не согнется...

Дамы жужжали пчелиным роем, наперегонки расхваливая чудеса былого исцеления, а Грета тоскливо поглядывала на дверь своей комнаты, где на прикроватной тумбочке ее терпеливо ждал кареглазый мужчина с обложки сентиментального романа.

— Миленькая, да что же вам на тарелку положили совсем бледненькую ножку? Возьмите мою. Посмотрите, как изумительно зарумянена.

Лицо Греты передернулось отвращением и страхом.

— Как вы можете есть эту гадость! Неужели никто из вас не смотрит телевизор! Этих куриц в инкубаторе откармливают всякой дрянью и медицинскими препаратами, чтобы быстрее вес набирали, а потом забивают.

Перепуганно оглянувшись в мою сторону, госпожа Вильке понизила голос до шепота и закончила страшное предсказание:

— Ведь и мы с вами сидим в таком инкубаторе. Три раза в день медикаменты, еды на убой, и взвешивают каждую неделю. Скоро нас всех отправят на бойню. Бежать надо.

За столом воцарилось молчание. Мы все привыкли безоговорочно верить медицинским авторитетам. Ведь они по сути своей — заместники Бога на земле. Если бы кто другой глупость сморозил, а тут госпожа Вильке... Она всегда славилась особой интуицией на правильные диагнозы и болевые точки.

Алиса Кауфманн, наморщив лоб, задумчиво произнесла:

— А и правда — бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Излишнее благополучие должно настораживать.

А госпожа Рихтер, бросив прощальный взгляд на румяную куриную ножку, отодвинула тарелку в сторону.

Я почти разгадала загадку. Осталось ответить лишь на последний вопрос: почему смущалась и чего не договаривала Вильке-младшая?

Разгадка забрезжила только к вечеру. Послевоенное поколение немецкой молодежи! Об этом рассказывали мои коллеги. Они выросли в атмосфере стыда и вины за деяния отцов и дедов. Многие до сих пор, желая отмежеваться от этих деяний, клянутся, будто именно их отцы никогда не состояли в партии и не участвовали в холокосте.

Кто я для Вильке-младшей? Эмигрантка из России с явно выраженным неславянским лицом. Думаю, именно этот скелет звякал костями в ее шкафу во время разговора об инвалиде отце, который никогда не воевал.

И все же я не мисс Марпл. Разгадала шараду, но от этого не стало легче. Она находила ответ, ставила точку, и наступал мир, а у меня... У меня, похоже, назревает массовая голодовка в доме для престарелых!

Любовь ФЕЛЬДШЕР

* * *

Я многое увижу по-другому,
Разглядывая прошлое свое.
Разбиты стены низенького дома.
Над старым садом кружит воронье.
Меня губили те, кого любила.
Случайных ран не перечесть теперь.
Я ничего, к несчастью, не забыла,
Поэтому стучусь сегодня в дверь.

Быть может, приоткроется, впуская
Меня туда, где близкие и свет.
Сегодня я себя не понимаю.
Той девочки на свете больше нет.
А зеркало являет мне седины.
И легкие морщинки на лице —
Как паутина на кустах малины,
Как тонкие зарубки на кольце.

* * *

Чужих жалею, а с родными спорю.
Иду по краю бездны огневой.
Такого счастья и такого горя
На две судьбы хватило бы с лихвой.
Два камешка на маминой могиле.
Она бы объяснила мне сейчас,
Кого и почему я так любила,
Куда, зачем и почему рвалась.
Но нет укора в траурном молчанье.
Нет судей, выносящих приговор.
Все та же глубина в моей печали.
Все тех же голосов далекий спор.

* * *

Психоанализа клубки.
Синдромы, комплексы, симптомы.
А сумерки опять легки,
И полнится закат истомой.
Пошли мне, Господи, печаль
И радость, что проходит мимо.
И тающего чувства даль,
Которое необъяснимо.

Любовь Александровна Фельдшер родилась в городе Флорешты (Молдова). В 1979 году окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Публиковала стихи и переводы в молдавской и российской периодике. В Израиле с 1990 года. Десять лет была редактором женского журнала «Силуэт» — приложения к «Новостям недели». Автор трех сборников лирики: «Почерк дождя», «Украина», «Синий цветок».

* * *

Печка медленно чадит.
Снег меняет блики света.
Бабушка со мной сидит.
Говорит о жизни в гетто.
Грустно, сказочно, темно.
Я понять ее пытаюсь.
А родители в кино,
С нею я одна осталась.
Свечку на столе зажгу,
Загрущу не без причины.
Вспомню бабушку свою,
Горькую ее кручину.

* * *

Зачем я в прошлое звоню,
Минутной блажи потакая?
И вновь потом себя корю,
И вновь себя не понимаю...
Должно быть, переключка душ —
Коварный вымысел поэта.
Я не ищу любви. К тому ж
Не жалею, не жду совета.
Что в имени твоём сейчас —
Ни прежней тайны, ни соблазна...
Но что-то связывает нас —
То, что рассудку неподвластно.

* * *

Не стряхнуть ее, пыль местечка.
На ресницах дрожит она.
Потемнели домов крылечки.
Поселилась в них тишина.
Зачерпну воды из колодца.
Посмотрю на чужих людей...
И давнишняя боль проснется
В закоулках души моей.

* * *

Ты гасишь свет, как робкую свечу.
С обычным днем прощаешься устало.
Я посижу на кухне, помолчу
О том, как мне покоя не хватало.
Друзья все дальше. Страсти все бледней.
За окнами деревьев силуэты.
И я прошу лишь счастья для детей
На грани дня и ночи, тьмы и света.

Леонид ФИШМАН

ИМИТАЦИЯ МИССИИ

В последнее время в связи с украинскими событиями вновь обрели популярность рассуждения о миссии России.

Многие охранители теперь пишут, что Россия наконец начала действительно подниматься с колен, что она обретает смысл и правильное самосознание, что начинает осознавать свою историческую миссию и т. д. Наступает время России, нация всемирного уровня пробуждается и вот-вот готова выдвинуть «собственный русский объединительный проект», который «гораздо шире логики «евразийства» и объектом своего воздействия имеет весь мир. О. Одинцовский пишет, что в скором будущем «речь пойдет об идее нации, совмещенной с идеями веры и справедливости. В любом случае мы сейчас, похоже, только нащупываем эту идею, осзаем ее контуры и векторы. Но она уже присутствует в нашей жизни как фактор, определяющий жизнь нации и пути ее развития. „Русская кома“ закончилась — приветствуем „Русское пробуждение“, которое может пробудить и человечество от его „золотого сна“»¹.

От относительно умеренных подобные суждения поднимаются до заоблачного пафоса, как у Р. Носикова: «Историческая миссия России — не только положить конец античеловеческому проекту, но и вернуть культуру и человечность жертвам этого эксперимента»². Или даже так: «Вот-вот прозвучат во вселенной первые ноты новой русской симфонии. Она сорвет все маски, она проветрит и обновит весь мир — душа за душой. Она не оставит ничего затхлым и старым. Она сотворит все новое. Она прогремит как гроза, она пронесется по миру как буря, она потрясет незыблемое и развеет в пыль то, что казалось вечным. А пока — на мир пришла русская тишина. Слушайте тишину»³.

Умеренно-опасливые оценки происходящего порой также даются с учетом того, что Россия теперь несет миру свет пусть и сомнительного но «откровения». Признается, например, что вторую «холодную войну» Запад проиграл, а современная Россия, наоборот, «явила потрясающую эффективность в своей новой антизападной ипостаси. Способность отказать от навязанных Западом правил, толерантно-

Леонид Гершевич Фишман родился в 1971 году в г. Свердловске, окончил факультет социологии и политологии Уральского государственного университета им. А. М. Горького, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник института философии и права УрО РАН. Основные публикации-монографии: Фантастика и гражданское общество. Екатеринбург: УрО РАН, 2002; Постмодернистская ловушка: путь туда и обратно. Екатеринбург: УрО РАН, 2004; В ожидании Птолемея. Трансформация метапарадигмы социально-политических наук. Екатеринбург: УрО РАН, 2004; Происхождение демократии («Бог» из военной машины). Екатеринбург. 2011; 5. Фишман Л. Г., Мартьянов В. С. Россия в поисках утопий. От морального коллапса к моральной революции. М.: Весь мир, 2010.

¹ Одинцовский О. «Русская весна» будит мир. — <http://www.km.ru/world/2014/05/14/mezhdunarodnaya-politika/739892-russkaya-vesna-budit-mir>

² Носиков Р. Война миров. — <http://www.odnako.org/blogs/voyna-mirov-u/>

³ Носиков Р. Слушайте русское молчание. — <http://www.odnako.org/blogs/slushayte-russkoe-molchanie/>

сти и транспарентности, и сыграть „в чапая“ на мировой шахматной доске (эта мысль не моя, но я с ней глубоко согласен) — дорогого стоит. И, в общем-то, претендует на Откровение. Свет Новой Истины нашел своих последователей даже на Западе. Таких, как, например, Дмитрий Саймс или Марин Ле Пен, прочно поселившихся на страницах российской прессы»⁴.

Как бы ни относиться к подобного рода высказываниям, следует признать, что миссии надо внутренне соответствовать. По крайней мере, у себя дома желательно избегать внутренней душевной противоречивости. Осознающим себя носителями миссии неплохо бы обладать некоторой психологической уверенностью и достаточно четким представлением об этой миссии. Может ли Россия этим похвастаться?

Самое общее представление о миссии России нередко заключается о ней как о защитнице глобальной справедливости. Но на протяжении долгих лет у нас дома торжествовала несправедливость. Неолиберальная политика с ее глубоко реакционным духом культивирования неравенства сделала свое дело. В итоге большинство граждан (около 80 %), по данным социологических опросов, вовсе не считают наше общество справедливым, скорее наоборот⁵.

Но это, хотя и важно, не главное. Гораздо большие опасения вызывает другое. Можно ли считать пригодными к высокой глобальной миссии поколения, которым на протяжении многих лет с разных сторон внушалось чувство вины и неполноценности?

Очевидно, что нет. Какова бы ни была эта миссия (если только это не миссия искупления собственных грехов), ее исполнение, напротив, подразумевает избавление от чувства вины и неполноценности. У нас, увы, дело с этими чувствами обстоит весьма печально.

Вначале постарались неолибералы, постоянно выдвигавшие неисполнимые требования по отношению к тем, кого нужно держать на нижних ступенях иерархии. Наши «либералы» обвиняли большинство народа в неуспешности (сами ленивые, тупые, некультурные) и делали из этого вывод, что народ не достоин участия в управлении, разве только на формальных ролях голосовальщиков. Тех, кто с либералами не соглашался по разным причинам, обвиняли в наследственной склонности к тоталитаризму и в фашизме. Большинство народа оказывалось безнадежно виноваты просто потому, что ему не повезло родиться в «этой стране», с давних пор оказывающейся на «неправильной стороне истории». Избывть вину невозможно, не перестав являться самим собой.

Акцент на чувстве вины — вовсе не стратегия одних только патентованных российских (нео)либералов. За неолибералами в полном с ними согласии следовала нынешняя власть, которая, собственно, и создала нечто похожее на любимую ими элитарную демократию. По мере того, как выяснилось, что экономическая политика постепенно заводит страну в тупик, что рецессии не избежать, режим ужесточал риторику. Сейчас он начинает искать врагов во все больших количествах, апеллировать хоть к какой-то идентичности (национальной и культурной) и, наконец, в свою очередь выдвигает объективно неисполнимые требования, в том числе и в ценностной сфере. Потому что для современного общества, экономически и ценностно связанного с Западом, требование руководствоваться «традиционными ценностями» объективно неисполнимо. А значит, вся эта риторика призвана создать

⁴ Митрофанов С. Вторая холодная война проиграна Западом. — http://www.chaskor.ru/article/vtoraya_holodnaya_vojna_proigrana_zapadom_35857.

⁵ Возможно заработать честно. — <http://www.delo-kira.ru/news-voronezh-russia-world/47-politika/1101-vozmozhno-zarabotat-chestno>.

новую систему иерархий и неравенств на потребу режима: стигматизировать тех, кого выгодно представить опасными меньшинствами. Парадокс в том, что по мере того, как находятся все новые и новые недовольные, таких меньшинств становится все больше — в итоге чувство вины, похоже, будет навязано всем. Политика государства на протяжении последних десятилетий сводится к тому, чтобы сделать большинство людей виновными или потенциально виновными в чем-то. Один за другим принимаются законы, по которым едва ли не каждый скоро окажется в чем-то виноватым или «несоответствующим».

Впрочем, это для России — обычное дело. Уже давным-давно и отнюдь не нашему поколению стало ясно, что в России невозможно жить, не нарушая каких-то законов, то есть не оказываясь в чем-то виновным. «Можно сказать, — пишет С. Кордонский, — что государство и гражданское общество пересекаются в области, описываемой Уголовным кодексом, так как практически любую гражданскую активность можно при желании следователей интерпретировать как нарушение законов и превратить в эпизод уголовного дела. ... Ведь в самом обычном и повседневном взаимодействии гражданина и нашего государства можно изыскать состав преступления: по указанию начальства или просто для улучшения отчетности»⁶.

В течение последних десятилетий появились законы, по которым можно было неожиданно для себя оказаться «экстремистом», читающим литературу, содержащую пропаганду «социальной и национальной розни» (а ее можно обнаружить немало у классиков науки и культуры прошлого, да и настоящего). Дело «Пусси райт» повлекло принятие закона, по которому любой может оказаться виноватым в «оскорблении чувств верующих». Закон, приравнивающий популярных блогеров к СМИ, должен заставить их сотрудничать со спецслужбами и хранить в течение полугода метаданные о деятельности в Интернете. Недавно был принят мемориальный закон, согласно которому под предлогом борьбы с реабилитацией нацизма научное изучение, преподавание, а также свободное публичное обсуждение истории Второй мировой войны становится невозможным, поскольку любая негодная властям точка зрения подпадает под формулировку «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР».

На подходе и другие законы аналогичного характера. В рамках борьбы с террористической угрозой в школах предлагается введение мониторинга за учениками и преподавателями. Сотрудники школы, отвечающие за безопасность, должны будут проверять, не посещают ли ученики или учителя сайты экстремистской направленности, что дети и педагоги пишут в своих блогах и с кем дружат в социальных сетях и т. д. Учитывая всю расплывчатость понятия экстремизма в нашем законодательстве, следует ожидать, что количество потенциально (а также неожиданно для себя) виноватых резко возрастет.

Но пальму первенства в насаждении тотальной виновности на сегодняшний день, безусловно, получает проект закона о культурной политике. В нем определяются духовные и ценностные основы русской цивилизации, констатируется отход от них, объясняется, как и с помощью каких инструментов обеспечить консервативный националистический переворот в культуре и т. д. В итоге возникает предельно широко понимаемая виновность — виновность несоответствия идентичности. Таким образом, «любой протест может быть расценен как «предательство» и игра на руку «пятой колонне».

Культивирование у граждан чувства вины и неполноценности — стратегия манипуляции, используемая теми, кто хочет над тобой властвовать. Когда своего

⁶ Кордонский С. Государство, гражданское общество и коррупция // Отечественные записки. 2005. № 6.

рода «сфера виновности» взрывным образом расширяется — это означает, что над тобою хотят властвовать безраздельно.

Но не обходится без парадоксов. Выше мы писали, что исполнение глобальной миссии невозможно без избавления ощущения неполноценности и виноватости. Что же мы видим сегодня? В то же самое время, когда сфера виновности расширяется, провластные идеологи и пропагандисты занимаются разоблачением стратегий, способствующих культивированию этой самой виновности. Разоблачают «западные» и либеральные стратегии вменения нашему народу *исторической* вины и неполноценности. Разоблачаются разного рода «мифы о России». Отвергается всякая вина за прегрешения перед другими народами у нашего народа в целом. Резко отрицательно встречаются предложения о «десталинизации» и т. д. Либералам, так долго изводившим нас невыполнимыми без потери национально-культурной идентичности требованиями, быстро научились отвечать тем же, обратив на них же любимый ими ярлык «фашистов». Подобного рода виноватящие нас субъекты воспринимаются как внешние (виноватят нас европейцы, американцы и служащая им «пятая колонна»).

В России любой, делающий все то же самое, что и политически активный гражданин Крыма, Донецка и Луганска, непременно был бы сурово наказан. «В России всех этих руссо-фашистов (их ныне метко называют рашистами) гнобят и сажают по статье за экстремизм», — ехидно замечает по этому поводу А. Никонов⁷. Применительно к близкой по культуре, языку и национальному составу загранице действия таких же русских людей комментируются с явным сочувствием. В конечном счете все эти противоречия не могут не накапливаться, и существует вероятность того, что в какой-то момент «манипуляции безумного испытателя будут должным образом оценены как лишённые всякой последовательности попытки обосновать свое собственное господство и оправдать любые действия»⁸.

Власть не может не понимать, что для нее история и разум не сделают исключения. В такой ситуации кто может гарантировать, что ее демифологизаторские практики пропагандистов бюрократии не будут в один прекрасный момент обращены против нее же? Вопросы американского журналиста по отношению к зарубежным СМИ — В какой момент собравшиеся демонстранты становятся «толпой»? Когда политические активисты превращаются в «сброд»? Когда политический гнев становится «истерией», а штурм правительственных зданий людьми, мнение которых игнорируют чиновники, — «вандализмом»?⁹ — в определенный момент могут быть обращены и к нынешней власти.

Реакция отрицания тотальной и неизбывной вины — это проявление гражданского чувства. Парадоксальным образом она теперь в общественном сознании переплетается с традиционной стратегией власти, которая одной рукой насаждает у людей ощущение вины по самым разным поводам, постепенно складывающимся в одну большую виновность несоответствия какому-то туманному представлению власти о народе или, к примеру, о его культуре, а другой — показывает, как разоблачать стратегию подобных насаждателей.

Почему так происходит, откуда такая противоречивость?

Ответы на эти вопросы, как представляется, отчасти можно найти в рамках концепции «русской модели управления». Эта модель может быть кратко охарактеризована как система отношений между централизованной властью и обще-

⁷ Никонов А. Не про Украину. — <http://rufabula.com/articles/2014/05/30/not-about-ukraine>.

⁸ Игнатенко В. Делить или не делить? — <http://rabkor.ru/debate/2014/05/12/divide>.

⁹ О Нил Б. Двойные стандарты Запада пали еще ниже. — <http://www.km.ru/world/2014/05/13/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/739812-dvoynye-standarty-zapada-pali-eshche-nizh>

ством, разделенным на первичные социальные ячейки (кластеры). Власть непосредственно не руководит жизнью кластеров, а только спускает им сверху свои приказы, которые выполняются «внизу» с огромной долей самостоятельности. Русская модель управления — система неправовая. Кластеры внутри себя законами не регулируются. Государственная власть также соблюдает законы постольку поскольку. Однако законов принимается много, в том числе при попытках принудить кластеры делать что-то необходимое государству. Законы обычно не исполняются по молчаливому соглашению между властью и обществом. Но потенциально каждый может быть уличен в неисполнении закона или несоответствии идеологии (религии) и взят за шкуру. Ситуация потенциальной виновности всех и каждого поэтому обычное дело для так называемой «русской модели управления», в которой государство изначально воспринимается и действует как нечто *внешнее* по отношению к обществу.

Русская модель управления может функционировать в двух режимах — застоя и мобилизации. И сегодня, похоже, мы имеем дело с попыткой перевода «русской системы управления» в мобилизационный режим, применяемый для решения каких-то актуальных исторических задач. Иными словами, власти хотят, чтобы стало так: «Когда система управления становится жесткой и агрессивной, те же самые люди, которые еще вчера защищали своих коллег и товарищей, сегодня уже пишут на них доносы, «сдают» их репрессивным органам, помогают посадить в тюрьму или расквасить, чтобы воспользоваться их имуществом и должностным положением»¹⁰.

Но риторика страха, войны, поиска предателей и изменников — все это остается только ритуалом, если общество на такие жертвы идти не намерено и нет соответствующей идеологии. О неудаче в поисках такой идеологии свидетельствует то, что русская система управления не имеет перед собой ясно поставленной цели, а потому не может или не хочет перейти в режим мобилизации. Объективно происходит так: «Система делает вид, что она по-прежнему выполняет управленческие функции в полном объеме, то есть функционирует якобы в аварийном, нестабильном режиме, а исполнители подыгрывают и делают вид, что они соблюдают все эти непомерные требования — демонстрируют энтузиазм, покорность, согласие с тем, что все обстоит как прежде, хотя на самом деле большую часть своих обязанностей они уже игнорируют, выполняют только внешний ритуал»¹¹.

К соблюдению ритуала в нашей ситуации относятся выдвижения еще какого-то количества неисполнимых требований, взятия нереализуемых обязательств и т. д. как актов ритуальной верности «внешнему» начальству. Отсюда — вал законов, делающих всех потенциально виновными. Но само принятие этих законов пока является собой характерную для русской модели управления тактику бюрократического забалтывания попыток перевести систему управления в режим мобилизации. Бюрократия и общество в целом не торопятся оказаться в ситуации, когда множество потенциальных виновностей станут актуальными. Уж слишком большой мы имеем в этом деле исторический опыт и достаточно хорошо представляем все издержки такого перехода. В то же время внешнеполитическая ситуация требует от желающих мобилизации заниматься разоблачением очень сходных «виноватящих» практик, чьи агенты находятся тоже извне, но по-другому, нежели начальство. Сегодня государство само учит защищаться от идеологии внешних врагов, настаивающих на нашей виновности и неполноценности, но это также в долговре-

¹⁰ Прохоров А. П. Русская модель управления. М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 2002. С. 160.

¹¹ Там же. С. 212.

менном смысле и защита от стратегий власти по переводу системы в мобилизационный режим.

Сейчас наша страна в духовном, мировоззренческом, социально-психологическом смысле переживает очередную фазу неопределенности. Мировой порядок действительно изменяется и Россия, как замечает В. Колташов, вопреки желанию ее правящего класса и бюрократии оказалась в новой исторической роли. Проблема, однако, в том, что «сыграть ее она не в состоянии, пока политика ее в экономике остается либеральной и ориентированной главным образом на сырьевой вывоз»¹². Власть, опираясь на исторический опыт, вынуждена ради соответствия новой роли России изображать желание провести очередную мобилизацию. Потому что так у нас бывало неоднократно и приводило к успеху. Но миссия, соответствующая этой роли, толком не ясна. Озвученная президентом защита консервативных ценностей в глобальном масштабе в лучшем случае выглядит «эрзац-миссией». Эрзац-миссии соответствует эрзац-мобилизация со всеми ее ритуальными жестами по возложению на себя все новых и новых невыполнимых требований, которые объективно ведут только к увеличению общего груза вины на каждом из нас. Вместо мобилизации миссией получается имитация мобилизации — виной. Возможно, миссия от вины и неотделима полностью... но вина уже есть и растет, а миссии по-прежнему нет. Теперь с удовольствием воспринимается всякий отпор Америке и Европе. Но, кажется, это происходит потому, что так мы сублимируем отрицание вины перед собственным начальством, которое также воспринимается как внешнее и всячески стремящееся нас завиноватить по поводу «эрзац-миссии» и от которой народ научился защищаться разными способами. Сублимировать же можно долго, но не бесконечно.

¹² Колташов В. Евразийская революция Украины. — <http://rabkor.ru/opinion/2014/05/14/eurasian>.

Дмитрий КАРАЛИС

Не ЮБИЛЕЙНАЯ РЕЧЬ

Из писем московскому другу

1.

Привет тебе, дорогой житель Первопрестольной!

Спешу поделиться с тобой двумя новостями — хорошей и плохой. Начну с хорошей. Вашему/нашему Юрию Полякову исполнилось шестьдесят, и он находится в прекрасной творческой и физической форме! Свидетельствую, вернувшись из Москвы, где проходил юбилейный марафон, до финиша которого добрался лишь наш юбиляр — участники сходили с дистанции пачками и по утрам мычали по переделкинским дачам, в то время как наш бегун был как огурчик, хрустел по утрам на лыжах свежавыпавшим подмосковным снегом и страницами нового десятитомного собрания сочинений.

Плохая: я взялся писать его жизнеописание для «молодогвардейской» серии «Биография продолжается» и не написал. Вернее, написал, но очень сухо — так пишут справку для полного собрания сочинений ушедшего классика.

...Когда мы говорили с издателем о будущей книге, мне казалось, что о моем любимом Полякове я напишу со свистом: открою читателям подробности его личной жизни, загляну в его творческую лабораторию, дам трактовку отдельных произведений, остановлюсь на удивительном качестве его письма, процитирую его многочисленные неологизмы и афоризмы и вообще — расскажу, как паренек из рабочего общежития назло всем обстоятельствам стал большим национальным писателем и драматургом, вернул народу знаменитую «Литературную газету», похищенную либеральной командой Ходорковского «про запас», на случай патриотического реванша...

И вот прекрасная обстоятельная книга о Евг. Евтушенко в этой серии вышла¹, а моя — о Полякове — задерживается. Единственное утешение, что труд о Е. А. Е. тоже вышел не к восьмидесятилетию, которое поэт отмечал в 2012 году, а на два года позже — возможно, ее автор Илья Фаликов попал в ту же засаду, что и я: чем дальше в лес, тем больше дров. И вообще, большая творческая фигура простой системой уравнений описана быть не может... Оказывается, за скромным признанием твоего героя «ну, были кое-какие трудности» стоят настоящие айсберги неприятностей, и как следствие — градус авторского интереса повышается, а расследование удлиняется. И таких неожиданных открытий в биографии невозмутимого Юрия Михайловича оказалось немало.

Дмитрий Николаевич Каралис родился в Ленинграде в 1949 году. Автор книг прозы: «Мы строим дом», «Игра по-крупному», «Ненайденный клад», «Самоварь графа Толстого», «Роман с героиней», «Чикагский блюз», «Записки ретроразведчика», «В поисках утраченных предков», «Петербургские хроники», «Очевидец, или Кто остался в дураках?» и др. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Илья Фаликов. Евгений Евтушенко. Love story. М.: Молодая гвардия, 2014. 702 с.: ил. (ЖЗЛ: «Биография продолжается...»).

Что, например, ты знаешь о вхождении Полякова в литературу? Как мальчик из рабочей семьи, потомок рязанских крестьян стал большим русским писателем с отчетливым национальным самосознанием? Это сейчас он писатель номер один в России, тиражи его книг зашкалили за шесть миллионов, пьесы идут с аншлагами по всей стране, экранизировано все, написанное им, да и сам он частый гость в острых телевизионных передачах; одних интервью у него берут по два десятка в год... Это он, Юрий Поляков, расширил русский литературный язык, обогатив его неологизмами, показал пишущим и читающим, сколь действительно могуч наш родной русский... Его высочайшей художественной пробы публицистика дала нравственную оценку всему, что происходило в России начиная с конца 80-х, и продолжает давать по сей день... Я уже писал тебе, что любое произведение Юрия Полякова — как напоминание о вкусе натурального молока, который мы забыли за яркими коробками порошковых суррогатов — всех этих веселых молочников и бабушкиных домиков в деревне. Пьешь-читаешь и припоминаешь молоко своего детства — парное или холодненькое, но неизменно натуральное, коровье, а не из европейского порошка по евро за килограмм, из которого в каждой керосиновой лавке-издательстве насобачились разливать в красивые упаковки-обложки непременно «бестселлерные» молочные напитки-романы.

С чем сравнить нынешнего успешного литератора Полякова, главного редактора «Литературной газеты», известного общественного деятеля и просто отличного, душевного парня? С симфоническим оркестром, который способен сыграть любую мелодию? С государством в государстве, живущим по неизменяемым нравственным законам, в котором черное по-прежнему называется черным, а белое — белым? С государством, в котором нет кривых зеркал политической конъюнктуры и двойных стандартов? Да. Сейчас он — величина, утес, член Президентского совета по культуре, блестящий прозаик, тонкий драматург, бесспорный лидер русского мира, к мнению которого не просто прислушиваются, а сверяют по нему свою собственную позицию — и друзья, и враги.

Вообще, мне интересно разобраться, как из одного одаренного человека созревает талант, а из другого, не менее одаренного, ничего путного не выходит; а третий, который превосходил обоих в отпущенной природой, со свистом катится на дно...

Ты можешь сказать: талант всегда пробьется! Э, нет, дорогой друг! Мы с тобой знаем, что удачных литературных стартов всегда было значительно больше, чем удачных финишей. И вообще: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами!» Разве это не о нашей литературной среде сказано?..

Мне кажется, дело не только в отпущенных природой возможностях, но и в чертах характера, складе психики, умении управлять собой, не размениваясь на мелочи и пустяки. Как заметил классик, для того, чтобы управлять талантом, нужен еще больший талант.

И этот талант управления талантом, воля, целеустремленность интересуют меня в писательской судьбе Полякова более всего.

2.

Скажем прямо: детство нашего героя не предвещало ничего хорошего. Ни тебе профессорской семьи с няньками, ни торгового-аптечного советского блата, ни папы-мамы с махровыми административно-партийными корнями, ни даже нормальной жилплощади советского служащего или рабочего-передовика. Вот что Юрий Михайлович рассказал, когда в начале теплого сырого августа я гостил у него в Переделкине:

«Из роддома меня привезли в дом на Маросейке, рядом с памятником героям Плевны, в десятиметровую комнату без окон, только в потолке было пыльное окошко, выходившее на чердак.

Младенческая память сохранила цветастую занавеску, отделявшую наш семейный угол, и это запыленное окно в потолке, по которому время от времени металась тень. Большая тень — кошка, маленькая — мышка. Так тогда жило большинство москвичей. В этих условиях осмеянные „хрущевки“ казались дворцами.

В 1956 году родители получили комнатку в заводском общежитии маргаринового завода (Балакиревский переулок, 1), рядом с товарными путями Казанской железной дороги — Казанки. Это — Немецкая слобода, ограниченная Казанской железной дорогой, далее Яузой — Рубцовской набережной, далее — Разгуляем. Там прошло все начало моей жизни.

Заводское общежитие (это был особняк с парадной лестницей, мозаичными полами, остатками наборного паркета, лепниной на потолке, каминами) находилось во дворе, вход в который закрывали огромные, как в рыцарском замке, железные ворота с метровым засовом. Для игры в рыцарей (как раз прошел фильм „Крестоносцы“) оставалось только вырезать шлемы и латы из жестяных коробов, в которых на завод привозили китайский яичный порошок, необходимый для производства майонеза. Особняк описан в стихотворении „Заводское общежитие“ и „Коммуналка“. Очередь в туалет и к умывальнику была обычным делом, а когда нам дали комнату побольше, со своим умывальником, — это казалось головокружительным комфортом...»

Не пугайся, мой друг, не пугайся! Я не собираюсь пересказывать в письме биографию любимого нами писателя. Но некоторыми фактами из его жизни и соображениями о его писательской судьбе поделюсь. Пробежимся по некоторым годам его жизни, которая — по большому секрету! — вдруг стала напоминать мне жизнь любимого мною Николая Сергеевича Лескова.

Например, я упомянул дачный писательский городок Переделкино, в котором семья Поляковых обитает с 2002 года. Чтобы укрепить будущих писателей в правильности выбранного пути, я бы привозил студентов Литературного института на экскурсию в дом Юрия Полякова. Пусть видят, как может жить человек, не разменявший себя на мелочи и сохранивший верность литературе. Кстати сказать, в 50-е годы прошлого столетия в Переделкине было общежитие для студентов Литинститута, и творческая молодежь, прохаживаясь мимо дач советских классиков, видела, какого уровня достатка можно достичь литературными заработками. О чем я и сказал Юрию Михайловичу:

— Каждый шуруп в твоём доме — запятая, каждый гвоздь — точка, доска — предложение, ступенька — абзац, веранда — повесть, гараж — пьеса, а сам дом — сценарий фильма. Например, «Ворошиловский стрелок»...

Поляков только с улыбкой покивал:

— Если я расскажу студентам, сколько раз переделывался какой-нибудь абзац-ступенька или переписывалась пьеса-веранда да покажу чемоданы черновиков, то на следующий день Литинститут не досчитается целого курса...

А вообще, скажу тебе по большому секрету: Поляков живет по фальшивым документам! Родился он на самом деле не 12-го, а ранним утром 13 ноября. Но мать Лидия Ильинична, вопреки своей партийности, была суеверна, дала санитарке три рубля, и мальчика записали на вечер 12-го. Как признавался Юра, однажды поэтесса Лариса Васильева составляла его нумерологический портрет и удивлялась, что ничего не сходится. А когда он предложил положить в основу вычислений 13 ноября, она воскликнула: «Да, теперь это — ты!»» Документы, может, и «фальшивые», но творчество настоящее, не так ли?

3.

Юра с детства проявлял черты человека думающего и анализирующего, его спокойная веселость и общительность бросались в глаза. Веселый, жизнерадостный мальчик дружит с книгой, тянется к знаниям.

Если коротко описать школьные годы Юры Полякова, то придется употребить устойчивое словосочетание советского периода: активно занимается самообразованием. Ищет себя. В Доме пионеров, расположенном неподалеку от общежития маргаринового завода, любознательный Юра перепробовал в детстве все возможные кружки. Пять лет занимался в ИЗО-студии, которой руководил художник Олег Осин, один из представителей «мягкого советского авангарда». Учился играть на балалайке и духовых, посещал фотокружок, театральный кружок, Клуб юных архитекторов (это уже при Доме архитекторов), занимался в секциях бокса, фехтования, легкой атлетики — тренер Г. Рудерман, племянник автора знаменитой «Тачанки». И даже окончил курсы клуба юных искусствоведов при Музее им. Пушкина, куда приходилось ездить на перекладных.

Некоторые подробности детства и юности Юры Полякова привожу по диктофонной записи, сделанной в Переделкине летом 2013 года:

«Меня никто за ручку не водил, я всё сам. Некоторых нарядных детей родители со скрипками ждали — видно, что еще на одни занятия поведут. Я ходил в зеленом свитере, который мне связала тетя, и в брюках, пошитых из офицерского отреза.

...Семь месяцев я занимался боксом, пока меня не поставили с парнем, который года полтора занимался. А перчатки были старые, выбитые. И он мне так засветил между глаз, что у меня в голове аж вспыхнуло, затошнило. Я не ходил неделю, у меня жутко болела голова. А когда пришел, тренер спрашивает: почему тебя не было? Болел, что ли? Я говорю, голова болела после того спарринга, когда удар пропустил. „У тебя что, после ОДНОГО удара неделю голова болела?“ Да, киваю. „Вот что, Юра, это не твой вид спорта. Сдавай капу, получи свои сорок семь копеек и занимайся чем-нибудь другим“.

— Да, Юра, детство и юность у тебя были не сахар, не мед и даже не масло... Маргариновое, можно сказать, детство, как у большинства ребят нашего поколения. А когда обнаружили способности к литературе?

— Еще в начальной школе учительница литературы Ирина Анатольевна Осокина сказала матери: обратите внимание, ваш Юра находит очень интересные выражения. Мы писали изложение про первомайскую демонстрацию. Я использовал сравнение праздничных людей, уже не помню с чем, но учительница сказала: сколько лет преподаю, но такого не видела, — советую обратить внимание...»

Позднее Юрий Поляков в эссе «Как я был поэтом» (рекомендую найти и прочитать целиком!) вспоминал свои первые поэтические опыты: «Кто хоть раз пытался высказать трепет сердца в поэтических строчках, тот знает, как это испепеляюще трудно. Такое ощущение, словно пытаешься сработать античную камею с помощью отбойного молотка. Хочется сказать про любимого человека нечто особенное, небывалое — и юный, удрученный заурядностью повседневных слов поэт начинает выражаться метафорически. А это не просто.

...С коварством метафоры я столкнулся очень рано. Классе в пятом мне очень нравилась девочка по имени Шура Казаковцева. В особый трепет меня приводили ее глаза — большие, карие. И вот как-то на уроке пения я решил поведать о своих чувствах. Набрался храбрости и шепнул ей на ушко: „Знаешь... А у тебя глаза как шарики с Казанки...“ Ответом мне был взор, полный негодования. Объясню: мы, мальчишки, таскали с товарной станции Казанской железной дороги, проходившей недалеко от нашей школы, стеклянные шарики диаметром сантиметра три.

Шарики были двух цветов — зеленого и медово-янтарного. Очень красивые! Каково было назначение этих шариков, до сих пор не знаю, но наряду с марками, этикетками и прочей мальчишеской важной чепухой они являлись стихийной валютой моего детства. Наверное, именно тогда, окаченный ледяным взглядом Шуры Казаковцевой, я понял, что для глубокого поэтического сравнения одного внешнего сходства далеко не достаточно. Кому же понравится, если твои глаза сравнивают с какими-то там стекляшками с Казанки?..»

Общительного и доброжелательного Юру Полякова избирают председателем совета пионерского отряда — с этого начинается, говоря языком биографий, многообразная общественная деятельность. И в девятом классе Юра становится секретарем комитета ВЛКСМ школы и капитаном школьной команды КВН.

По признанию Юрия Полякова, школа сыграла в его жизни роль самую положительную. «Собственно, благодаря школе я, мальчик из заводского общежития, из семьи, где поначалу имелась одна-единственная книга „О вкусной и здоровой пище“, смог развиваться в мыслящего человека и подготовиться к поступлению на литфак пединститута». (Мои воспоминания о школе носят значительно менее комплиментарный характер...)

4.

Школу Юра заканчивает со средним балом 4,7. Это случается в безоблачном 1971 году, когда в Кремле уже пятый год сидит большой добродушный Брежнев, аппарат «Луноход-1» проложил первую колею по лунной поверхности, запущены тысячи новых предприятий, построены сотни новых городов, Евгений Евтушенко разъезжает по всему миру как посол русской культуры, а семья Поляковых уже несколько лет как перебралась из рабочего общежития в отдельную квартиру.

Если судить по стихам, которые десятиклассник Юрий Поляков сочинил и прочел на выпускном вечере, то это был советский юноша в лучшем смысле этого слова — оптимистично и патриотично настроенный к будущей жизни:

Сегодня мы зрелы! У нас аттестаты!
Мы рады, мы даже как будто крылаты.
И словно огромные сильные крылья
Нам в жизни просторы, дорогу открыли.

(Можно, конечно, предположить, что стихи написаны из конъюнктурных соображений, молодой человек держал нос по ветру, но не будем наводить тень на юношеский плетень, и поверим в искренность чувств и мыслей, как верили в них во времена расцвета советской цивилизации.)

Через сорок лет Юрий Поляков вложит эти строчки в уста героя пьесы «Одноклассница», поэта-бомжа Феди Строчкова, а тогда, в 1971-м, он собирается поступать в Московский областной педагогический институт на литературный факультет.

«У меня не было никаких связей и блата, но были советские отношения, и моя учительница Ирина Анатольевна совершенно бескорыстно готовила меня к поступлению на литфак, а конкурс тогда достигал, между прочим, двадцати человек на место! Директор школы Анна Марковна Ноткина ходила со мной на вступительные экзамены, чтобы меня, не дай Бог, не обидели, потому что я был гордостью школы».

Но почему на факультет русского языка и литературы? Ведь собирался, между нами говоря, стать архитектором — ходил на подготовительные курсы, клеил ма-

кеты зданий, изучал историю и теорию архитектуры... А потому, что самокритично отнесся к своим рисовальным способностям, ключевым в архитектуре: «Рисуем в студии натуру. Я смотрю — у всех получается мрамор, а у меня — чугун!»

А вот к искусству слова задатки обнаружились явные.

«Благодаря КВНу выяснилось, что у меня определенный талант к веселому сочинительству. Кто-то пыжится и сделать не может, а у меня идет легко: сюжетные повороты, сценарии, приветствия с забавными ходами, общая драматургия... Можно сказать, что я начинал именно с иронических стихов кавээнного типа. Потом писал пародии и лишь затем — лирику. И спустя много лет я вернулся к этому пародийному началу, но уже в прозе. А начинал именно с иронических стихов, с того, что потом вдруг оказалось новаторством — все эти Тимуры Кибировы и тому подобный концептуализм, которым мы развлекались в школе, не считая серьезной поэзией».

Кстати сказать, Тимур Кибиров, носивший тогда фамилию Запоев, учился вместе с Юрием на одном факультете... «Когда я узнал, что он сменил свою изумительную, Богом данную фамилию на рахат-лукумный псевдоним Кибиров, то был поражен...» — признавался Юрий, публиковавший всю жизнь под своей природной фамилией Поляков. (Возможно, Запоев взял псевдоним, чтобы не заставлять краснеть отца — большого интендантского начальника, которому перед каждой сессией приходилось посылать в институт гонцов с дарами, чтобы избежать отчисления прогульщика сына.)

Я тебя еще не утомят биографией нашего Юрия Михайловича?

Тогда слушай дальше про этого удивительного молодого человека, который с первого курса занимается научной работой и пишет диплом по поэзии Брюсова — с дальнейшим прицелом на диссертационную работу. Просто с ума сойти, какой Юра был усидчивый, терпеливый и правильный!

5.

«Поскольку я вырос в семье с невысоким достатком и никаких связей у меня не было, я смотрел на свое будущее без иллюзий. Я понимал, что успех в литературе совсем не обязательный. Рассчитывать на то, что ты пишешь стихи и вдруг проснешься знаменитым, нельзя. Я взял установку в качестве базы сделать научную работу. С самого первого курса я начал заниматься научной работой и писать диплом».

Такое объяснение характеризует молодого тогда Юрия как человека обстоятельного, осторожного и дальновидного. Не правда ли?

И дальнейший шаг он делает согласно всем нормам и правилам советского общества. Мечтаешь стать поэтом, кропаешь по ночам стишки? Милости просим в литературное объединение, которых в стране полно — они шумят при каждой районной газете, при каждом доме культуры, при институте и даже пожарной части...

В 1973 году Юрий поступает в Литературную студию при Московской писательской организации и МГК ВЛКСМ. Семинары ведут крупнейшие писатели: Межиров, Слуцкий, Винокуров...

«Я попал в семинар Вадима Витальевича Сикорского — поэта, может быть, и не знаменитого, но чрезвычайно профессионального и образованного. Он был из литературной семьи, дружил с сыном Марины Цветаевой Муром, пропавшим на войне. Ему же судьба назначила вынимать в Елабуге из петли великую Марину»².

² Эссе «Как я был поэтом».

Потом свой путь в поэзию он подробно опишет в уже цитированном эссе «Как я был поэтом», полный текст которого я советую прочитать всем, имеющим отношение к поэзии. Начинающим стихотворцам — для науки и твердости духа; поэтам состоявшимся — для легкой ностальгической слезы и улыбки.

Девятнадцатилетний Юра с кавээнновской школой за плечами в те годы отдает предпочтение пародиям и стихотворному юмору; например, таким строкам:

Теперь дома особенные строят:
Я слышу, как внизу бифштекс горит,
Как наверху кого-то чем-то кроют
И как «звезда с звездой говорит»...

«Кстати, подражание, переходящее в пародирование, — нормальный путь стихотворного ученичества. Ибо, смеясь, с прошлым расстается не только общество. Смеясь, пародируя, ерничая, молодой поэт расстается со школярством, с зависимостью от литературных авторитетов. Да, Некрасов писал: «И скучно и грустно, и некого в карты надуть...» Дурачился. Но ведь он еще написал и «Русских женщин», и «Кому на Руси жить хорошо»... Если бы мне кто-нибудь тогда, в студенческие годы, предсказал, что игра со знаменитыми цитатами лет через двадцать станет основным содержанием русской поэзии и будет называться «постмодернистской интертекстуальностью», я бы просто рассмеялся. В начале минувшего столетия поэзия явилась полноправным участником и даже организатором грандиозного цивилизационного слома. В конце XX века не менее грандиозный катаклизм она (не вся, конечно, но тем не менее) проихихикала и пробалагурила. Неисповедимы пути Слова! Можно, конечно, упрекать поэтов. Но с другой стороны: а если «иронизм» — на самом деле не что иное, как не осознанная ими самими реакция на чуждость, ненужность нот катаклизма нашей российской государственности и культуре? Не знаю... Думаю».

И вот так всегда у Полякова: думал, думаю, буду думать... А жить-то когда? Когда совершать глупости?! Драться, объясняться девушкам в любви, рвать цветы, валяться на траве и кричать про развал в стране и задранные штаны в беге за комсомолом...

Впрочем, количество глупостей, суммарно отпущенных молодым людям, ограничено. И если одни думают, другие в это время безобразничают за себя и за думающего парня. Достаточно вспомнить нашу буйную *бездумную* (в отличие от Полякова) молодость!.. Сколько времени упущено, сколько сил растрачено, сколько глупостей наворочено! Жуть!

А упомянутый чуть выше комсомол, к которому мы с тобой относились как к пережитку прошлого и школе карьеристов, Юрия пока не раздражает. А может, и раздражает, но правила игры он соблюдает.

6.

В марте 1974-го в газете «Московский комсомолец» выходит подборка стихов молодых поэтов с предисловием Вадима Сикорского. У Юрия — одно стихотворение — «Февраль». Первая поэтическая публикация! Юрию Полякову еще нет двадцати.

Мой дорогой друг, ты помнишь свою первую публикацию? Я помню. Она случилась не в девятнадцать лет, как у Юры, а в двадцать; но мы же — прозаики, а не скороспелые поэты. Впрочем, сейчас это не имеет значения.

И опять эссе «Как я был поэтом»: «О, первая публикация! Она незабываема, как первая женщина! Тогда Москва была усеяна газетными стендами, чего теперь нет и в помине. Возле стендов всегда стояли люди. Странно — ведь газета стоила всего две копейки. Вроде бы купи — и читай. Но нет: стояли и читали. Я шел по Москве, высматривая стенды „Московского комсомольца“, и пристраивался рядышком с каким-нибудь углубившимся в газету гражданином в надежде, что он в этот миг упивается именно моими стихами. Но граждане читали в основном про спорт...»

В двадцать один год Юрий обретает свою вторую половинку: в морозном январе 1975 года вступает в брак с Натальей Посталюк, дочерью полковника ВВС, летчика-испытателя.

Тут важно не то, что он вступил в брак, а то, что не вышел из него и по сей день. Явление довольно редкое в нашем многобрачном литературном мире.

До чего Наталья и Юрий хороши на свадебной фотографии! Я видел много свадебных фотографий и дагерротипов, и лишь единицы из них поражают светом любви с пожизненным запасом. Так и хочется сказать: их Господь поцеловал! Хотя брак по советским временам и не был венчанным. Но мне кажется, Венчание еще состоится, и внуки Егорка и Любочка будут нести шлейф венчального платья бабушки...

И, забегая вперед, к литературным успехам Юрия, скажу: хорошо писать можно только в любви. Без любви проза ущербна, как неполная семья для ребенка. А поэзия без любви ущербна в квадрате — в лучшем случае ее место занимает эссеистика, рифмованная ворчливой ненавистью к стране и людям.

В июне 1976-го происходят два знаменательных события. Первое. В газете «Московский комсомолец» публикуется большая подборка стихов Юрия Полякова «Время прибытия» с предисловием-клеимом классика Владимира Соколова. Второе. Юрий с *отлигием* защищает диплом на тему «Послеоктябрьское творчество В. Брюсова».

Не знаю, как тебе последний факт, но меня такие передовики всегда раздражали! Вот не пьется им, не гуляется, не пляшется, не фулиганится в свои молодые годы! Вынь и положи им красный диплом... Нам, не отличникам, это дико. А им — первое дело! Н-да...

То, что Юрий сделал прицел на аспирантуру, мне понятно: кому же охота загреметь от молодой жены в родную советскую армию! Вся жизнь может вдребезги разлететься за армейский год. У меня был подобный ход конем — я тоже подался в аспирантуру, чтобы за три года написать роман. Представляешь степень моего нахальства и авантюризма? От коротких рассказиков — к роману! Ни романа, ни диссертации я за три аспирантских года не написал, но делов натворил! Мы — таланты! Мы печатаемся! Нам повезет! Безудержная жажда жить здесь и сейчас плюс «хорошая» компания, от которой остались лишь горькие воспоминания и кладбищенские кресты...

...Юрий же работает учителем словесности в школе рабочей молодежи на Разгуляе. Уроки ведет легко, импровизирует, ходит по организациям, борется за посещаемость своих учеников... (О, боже, какая скука! Разве истинный талант станет заниматься в молодые годы такой ерундой, как преподавание словесности в вечерней школе! Истинные таланты сидели тогда в пивных барах, наливаясь пивом и собственной значительностью, дрались, посылали на три буквы не читавших Булгакова и Цветаеву, хватали девушек за коленки и обещали перевернуть литературный мир. Что нам ваша Государственная премия! Нас ждет Нобелевская, не меньше! Только где они теперь, истинные таланты? Один из них пишет тебе письмо о чужих успехах..)

Вскоре молодая семья Поляковых стараниями родителей обретает двухкомнатную квартиру в кооперативном доме в Орехово-Борисове, на Шипиловском проезде. У молодого поэта Юрия Полякова — свой кабинет! Представляешь себе — кабинет в двадцать два года! (Ровно в те годы я сменил верстак электрика на письменный стол техника и прыгал от радости: смогу оставаться на работе и писать!) У Юры — отдельная квартира и красавица жена! Жизнь удалась! Бегом в магазин, и на все денежки — сухого, ванилин, лимоны! Глинтвейн, гости до утра! Стихи — свои и чужие! Танцы с молодыми женами — своими и чужими. За занавесками — мельканье рук...

Но нет. Все не так, ребята. Юра с Наташей ходят по выставкам и театрам. Впрочем, тогда в театрах было что посмотреть. И мы, грешные, в своем Питере не только пили-гуляли, но и ходили в театры. Например, в БДТ имени Горького — на «Третью стражу», «Холстомера», «Энергичных людей»...

Кстати, не знаешь, почему БДТ носит теперь имя главного режиссера Товстоногова, а не изначальное — русского писателя Горького? Неужели режиссер Товстоногов, тридцать лет руководивший театром, более значительная фигура, нежели великий русский писатель и драматург с мировым именем Горький? Что сделал для русской культуры (став частью ее самое) писатель Горький и что сделал главный режиссер театра Товстоногов? Даже сравнивать неудобно. Есть в таких поспешных переименованиях что-то местечковое. А если через десяток лет кому-то захочется дать театру имя следующего директора или главного режиссера, какого-нибудь Дремучего или Писучего?

(Юрий Поляков, став главным редактором «Литературной газеты», вернул-таки сброшенный либеральным предшественником профиль Максима Горького на логотип издания. Надеюсь, и с БДТ это произойдет.)

7.

...Н-да. Но жизнь как шкура зебры. И после светлых полос (свадьба, красный диплом, кабинет в отдельной квартире, крупная публикация в «Московском комсомольце», театральные премьеры и выставки) следует черная: обещанная аспирантура срывается.

«В аспирантуру меня рекомендовал ученый совет, но — „мест нет“. Меня пригласил проректор П. Лекант, сказал, что очень сожалеет, но обещает — после того, как я схожу в армию, уже точно будет место».

Во весь рост встает перед Юрием Поляковым «легендарная и непобедимая», о которой он думает совсем в других эмоциональных категориях. Но идет. А куда денешься?

...Осенью 1976 года учитель русского языка и литературы с красным дипломом Юрий Поляков призывается на год в Советскую армию — солдатом.

В армию

Обноски отцовы,
Затертый мешок вещевого.
Последнее слово
С улыбкой: «Останусь живой!»
А все-таки горько —
Стремительно, в шесть без пяти,

Бог знает на сколько
Из теплого дома уйти.
Уйти спозаранку
И знать, что иначе нельзя,
Кусочек «гражданки»
С собою в мешке унося.
Мы ведаем смала
Про долг свой и Родину-мать.
Мой долг для начала —
С колонною в ногу шагать.

«Я уходил в абсолютной уверенности, что возвращусь и поступлю в аспирантуру. Мне научная руководительница писала в армию, что, дескать, не волнуйся, место есть, мы его держим, служи спокойно...» Первые полгода Юрий служил в артиллерийском полку под Берлином, заряжающим с грунта при гаубичном комплексе «Акация»; задача полка — в случае военных действий продержаться пять минут. Позднее, узнав, что он поэт, его переводят в редакцию дивизионной газеты «Слава», расположенной в Олимпийской деревне. В письмах жене Юра признается, что переводу в газету он обязан не столько поэтическим заслугам, сколько умением печатать на машинке... В армии Поляков принципиально не ругается матом — его даже приглашают в разные компании, чтобы вспомнить нормальную доармейскую речь.

За год службы в армии Юрий Поляков пишет суровые стихи, трогательные письма жене и прочитывает гору книг — в воинской части собрана отменная библиотека.

Идеалистическое представление о Советской армии довольно скоро разбивается о неуставные отношения, о которых не пишут в газетах и книгах и которым нет места в кинокартинах. Но они есть! Вот они — каждый день, каждый час, каждую минуту.

Там, под Берлином, Юрий задумывает повесть, названную впоследствии «Сто дней до приказа». В письмах жене он пишет о своем желании вступить кандидатом в члены КПСС и делится соображениями о возможных рекомендациях. И пишет стихи.

«В армии, несмотря на все трудности, я неожиданно расписался. Давно ведь замечено, что несвобода окрыляет. <...> Кстати, я уходил и армию, страдая совершенно типичным для столичного образованца недугом — насмешливой неприязнью к своей стране. Это был непрременный атрибут тогдашнего интеллектуала, вроде нынешней серьги в ухе гея. После института мне нужно было попасть в Германию, хлебнуть армейской жизни, чтобы

...сразу подобреть душой,
Душой понять однажды утром сизым,
Что пишут слово „Родина“ с большой
Не по орфографическим капризам...»

8.

Из армии Юрий вернулся со стихами об армии и горячим желанием писать прозу. Его стихи произвели впечатление откровения, потому что об армии писали или «чернуху», негодную для печати, или рифмованные военные отчеты, а тут нор-

мальные человеческие стихи! Стихи Полякова попали в представление тогдашней власти о том, какой должна быть современная литература. Она должна быть чуть-чуть дерзкая, но без фиги в кармане. Ну, например:

Солдатский сон

Мне снится сон!
Уже в который раз:
Осенняя листва в морозной пыли,
Приспело увольнение в запас,
Друзья ушли,
 а про меня забыли!
Наверно, писарь — батальонный бог —
Меня не внес в какой-то главный список.
А «дембель» близок, бесконечно близок,
Как тот, из поговорки, локоток.
Я вновь шагаю по скрипучим лужам
На ужин
 строевым, плечо к плечу.
Смеется старшина: «Еще послужим!
А! Поляков?!»
Киваю и молчу...

1978

Итак, Юра возвращается из армии. Жена Наташа ждет. А вот другая привлекательная дама — Аспирантура — не дождалась, она прошла мимо, покачивая бедрами блатной девочки, которую взяли на место Полякова по телефонному звонку. «Обман начальства так разозлил, что я решил: назло врагам напишу диссертацию и защищу ее! Пошел устраиваться на работу в свою школу рабочей молодежи, и там мое место занято! — середина учебного года...»

Юра выходит из школы, едва не хлопнув дверью. На гражданке всё против него! Или почти всё! Он грустно шагает по родному району и нос к носу сталкивается с секретарем Бауманского райкома комсомола Галиной Никаноровой. Она помнит его еще как комсомольского секретаря 348-й школы. Узнав о его горе, Никанорова весело зовет Юру на работу в райком, курировать учительские комсомольские организации. И Юра соглашается — комсомол ему знаком!

«...Впечатление от райкомовской жизни было странное. С одной стороны, деловой энтузиазм и множество хороших дел, не только для галочки, но и для души. Сегодня Гребенщиков или Макаревич будут повествовать о своей неравной борьбе с „империей зла“, а тогда они доили комсомольскую волчицу с таким азартом, что у той сосцы отваливались. Я состоял членом совета творческой молодежи при ЦК ВЛКСМ и хорошо это знаю. На другой же чаше весов были ежедневная изнуряющая аппаратная борьба, интриги, а главной ценностью считалось преодоление следующей ступени на карьерной лестнице. Но в газетах об этом не писали, да и литература такие сюжеты обходила стороной».

В райкоме Юрий проработает год — по декабрь 1978-го. Надо ли говорить, что знакомство с аппаратной жизнью через несколько лет выльется в повесть «Райком», названную при издании «ЧП районного масштаба» и увидевшую свет в 1985-м. Как говорится, Пушкину только пуля Дантеса была некстати.

Свою первую четверть века Юрий заканчивает вполне успешно. В его активе — полторы сотни стихов, публикации в газетах, армия, красавица жена, квартира,

живость характера и умение сходить с людьми. И работоспособность! Он пашет, как новенький трактор, и продолжает заниматься самообразованием: много читает и продолжает ходить, как на работу, по театрам и выставкам. Свою тягу к искусству он объяснит потом просто: «Я добирал то, чего не смог получить в своей рабочей семье, в социуме заводского общежития...»

Вспомни, дружище, что было в активе у нас к нашему 25-летию? Одни замыслы... Еще не мужики, но уже и не юноши. Мирное небо над головой, веселая толкотня в винных отделах, дым коромыслом в пивных барах... Что еще надо? Жизнь прекрасна и удивительна! Мы еще напишем, мы еще удивим мир! Просто пока писать не о чем! Не писать же производственные повести и романы с партийно-комсомольскими положительными героями! Кто-то уходил в юмор, сатиру, кто-то в алкоголь. Кому-то удавалось недолго сочетать эти два разных направления. Выпивка в те годы считалась доблестью, алкоголизм как диагноз никого не страшил, все самое смешное и интересное, о чем можно было вспоминать, происходило по пьяному делу. Страна пила, формируя бюджет пьяными деньгами, и вместе со всеми пили мы. Разве не так? Так...

Пил ли Поляков? Читаем:

«Не знаю, как сложилась бы моя литературная судьба, но в 1978 году я внезапно стал секретарем комсомольской организации Московского отделения Союза писателей. Организация была маленькая — сорок-сорок пять человек. Членов СП всего несколько, так как средний возраст членов СП был тогда шестьдесят семь лет. Писателей, которым перевалило за сто, было больше, чем тех, кому до тридцати. Остальные — сотрудники аппарата СП и литературные секретари, в основном дочки писателей, пристроенные отцами к друзьям. Работа на общественных началах. Но комсомольские организации творческих союзов были на особом счету. Почему старшие товарищи остановили выбор именно на мне? Полагаю, потому, что я, единственный из всех молодых литераторов, имел некоторый опыт райкомовской работы и вдобавок после употребления спиртных напитков в буфете ЦДЛ не буянил...»

Выпить и не побуянить в наших кругах считалось дурным тоном. Думаю, если бы в те годы наша веселая бригада нарвалась на компанию Полякова, трепка вышла бы изрядная. Комсомольцев мы любили с нерастраченным чувством молодой ненависти. А печатавшихся комсомольцев — особенно!

«...Кстати, это „комсомольское“ обстоятельство первичного вхождения в литературу мне с ехидством припоминают до сих пор, — продолжает Поляков. — А вот про участие одного молодого поэта в групповом изнасиловании, шумно обсуждавшемся в те годы, давным-давно все позабыли. Странно, если задуматься...»

Вскоре Юру Полякова берут на должность младшего корреспондента многотиражки «Московский литератор».

Да это просто баловень судьбы! Не виданная для молодого поэта удача — должность корреспондента в *писательской* (курсив мой. — Д. К.) газете «Московский литератор»! Кто подсадил его на этот счастливый эскалатор?

Помню, как мне, уже печатавшемуся автору, пожелавшему быть поближе к литературе, предложили в журнале «Нева» должность курьера — носить на почту письма и бандероли. Все уверяли, что место чрезвычайно перспективное для литературной карьеры... Я остался работать в гараже, свято веря, что хороший текст сам себе проложит дорогу... И оказался прав. Но дорогу пришлось именно прокладывать, прорубать, в то время как рядом по литературным шоссе сновали-катились мои сверстники, сотрудники журналов и издательств. У них шансов опубликоваться было несравненно больше. (Другое дело, что большинство из них потом бесследно сгинуло, не оставив следа ни в литературе, ни в журналистике.)

Завидую ли я Полякову? Конечно, завидую. И должности в писательской газете, которая помогла спрямить путь в литературу, и его талантливости и целеустремленности. Но под ручку с завистью ходит запоздалое раскаяние за свое разгильдяйство и снобизм. Что мешало мне, как только проклюнулся росток первой публикации, пойти в литературное объединение, коих в моем Питера была тьма-тьмушая? Гордыня... «Как это, — рассуждал я, — кто-то будет обсуждать мои рассказы! Я и сам знаю, что хорошо, а что плохо. И вообще, меня печатают в центральных газетах и даже в одном центральном журнале!»

Снобизм и зазнайство отвернули меня от прямого пути в литературу — через естественное обсуждение в кругу тебе подобных, через литературную компанию, без которой очень легко сбиться в другую компанию — прожигателей жизни.

9.

А что у Полякова? А он — сама целеустремленность! Вот как вспоминает Сергей Мнацаканян пришедшего в 1979 году нового сотрудника «Московского литератора»: «Внимательный, аккуратный, трудолюбивый молодой человек — наверное, это правильная характеристика двадцатипятилетнего поэта. Уже тогда проявились несколько его человеческих качеств — верность дружбе, хотя друзья подводили и предавали его в течение десятилетий, настойчивость и *необыкновенная работоспособность* (курсив мой. — Д. К.)». (Лев Николаевич говорил, что вдохновение — это пустой звук, работайте, и оно придет; а гениев определял как состоящих на 99 % из труда и лишь на 1% — из отпущенного природой.)

Сам Юрий в задушевной беседе под маринованную питерскую корюшку и московскую водочку так рассуждал о своем удачном литературном старте.

Юрий Поляков (ЮП): Я достаточно быстро прошел путь от ученичества до вполне профессиональных стихов. Начал писать стихи в школе, всерьез занялся поэзией в институте, в 1973 году вступил в литобъединение, где прозанимался четыре года, до армии. В 1976-м ушел в армию — неволя, так сказать, окрылила, — в 1977-м вернулся с кучей стихов. С 1978-го начались систематические публикации, в 1980-м вышла первая книжка стихов. Весь путь занял шесть лет.

Для поэта — это нормально, большинство так и проходило от ученичества до первой книги. Блок, Брюсов еще быстрее прошли. И сейчас, когда я смотрю собрания сочинений поэтов, которых советская власть не выпускала, читаю их ранние стихи, становится понятно, почему их не выпускали: они просто не профессиональны. Это стихи несформировавшихся поэтов — не эстетически, мировоззренчески, а чисто версификаторски, технически. Человек еще путается в словах, он не может сбить всё в одно. Мысль, чувство, рифму, ритм. Мой старт сложился вполне удачно. Это потом начались серьезные препятствия...

Дмитрий Каралис (ДК): Интересно складывается. Во-первых, ты человек неконфликтный...

ЮП. Да, в повседневной жизни я осторожный и неконфликтный человек.

ДК. Второе, у тебя не было внутреннего конфликта, тебя не раздирали потаенные страсти, с которыми нужно бороться. Вот бывает же раннее пианство....

ЮП. Или раннее б... Или проблема национальной самоидентификации, в которой запутались многие мои знакомые. Некое недовольство собой, непонимание, к какой культуре ты принадлежишь. Недовольство экспонировалось на страну, которая виновата в том, что твой папа-казах женился на местечковой еврейке. При чем здесь советская власть? Это был его выбор.

ДК. У Довлатова, по-моему, были такие сомнения.

ЮП. У многих были...

ДК. И ты не разрывался, по какому пути пойти — духовному или материальному? На овощную базу товароведом или стихи писать. Не было такого?

ЮП. Не было. Но я сознательно этого избежал: пошел в педагогический, стал заниматься наукой. Я понимал, что первые годы не смогу зарабатывать литературой, но и совсем не литературой заниматься нельзя — это сильно уносит. Некоторые так отвлеклись, что только после сорока вернулись в литературу. В этом тоже не была виновата советская власть. Вопрос: кто ж тебя заставлял идти прорабом? А мне, дескать, надо было построить кооперативную квартиру.

ДК. Получается, ты, человек цельный и правильный?

ЮП. Да. Получается. У меня никогда не было каши в голове. Меня еще в детском садике называли старичком, потому что я всегда всё обдумывал. И, став писателем, всегда говорил, что думать — мое ремесло.

ДК. Ты никому не хотел зла, фиг в кармане не держал...

ЮП. Да, ни к каким группам не присоединялся... Я помню, как Римма Казакова, которая прекрасно ко мне относилась, пока не начались разделительные дела, сказала, выпив после обсуждения моих стихов на всесоюзном совещании: «Вот посмотрите на этого мальчика, это сидит наш будущий Георгий Мокеевич Марков»³. А я действительно подходил по всем статьям: из рабочей семьи, стихи хорошие, абсолютно выдержанные, кандидат в члены КПСС. Член общественной организации. Мечта советской власти! И реальные организационные способности, что редкость для писателя. Шел 1980-й. Мне было двадцать пять лет...

ДК. Ты был искренен в своих желаниях и честен с окружающими. Я говорю об этом с некоторым изумлением, потому что у большинства людей нашего круга сплошной наворот противоречий.

ЮП. Это интересно, потому что все стоят на том, что у *них* были непонятки, и принципиальные. Но никто не может объяснить, на чем они основывались. И чем высокопоставленнее у них были родители, тем больше было претензий. Я писал в своем эссе «Как я был колебателем основ», что когда я, паренек из заводского общежития, сочинявший стихи, впервые оказался на поэтической пирушке, устроенной в огромной цековской квартире на Сивцевом Вражке, я поразился тому, как ее обитатели, в особенности молодые, не любят советскую власть. Стол ломился от невиданной снеди из распределителя, на полках стояли почти недоступные рядовым гражданам книги, а разговор шел в основном о том, какие «коммуняки» сволочи. Много позже я понял смысл этого недовольства. Люди в ондатровых шапках уже не хотели быть номенклатурой, зависящей от колебаний политической конъюнктуры, они хотели быть незыблемым правящим классом. Отцы еще привычно осторожничали в выражениях, а дети с юным задором лепили направо. Тот же Е. Гайдар вырос, между прочим, в семье члена редколлегии газеты «Правда»...

ДК. Ты просто влетел в литературу! Тебя вскоре назовут писателем вертикального взлета...

ЮП: Да, в литературу я вошел очень легко... Я не испытывал сопротивление системы, наоборот, система всеми существовавшими тогда структурами мне помогала. Вот тебе студия по работе с молодыми, вместо Литинститута, где я прошел у Вадима Сикорского всю первичную школу молодого поэта. Вот тебе творческие командировки! Вот тебе, пожалуйста, Всесоюзное совещание молодых литераторов в 1979 году, где после участия в семинаре Риммы Казаковой и Вадима Кузнецова меня рекомендовали на первую книгу. Вот тебе и книга в 1980 году в серии «Моло-

³ Тогдашний председатель Союза писателей СССР.

дые голоса». В СП меня рекомендовали после второй книги в 1981-м — В. Соколов и К. Ваншенкин. Меня как бы подхватила эта волна и внесла в литературу.

Трудности начались потом...

10.

Они начались с прозой, к которой, вернувшись из армии, обратился Поляков. В 1979-м «афганском» году он начинает повесть «Сто дней до приказа», которую заканчивает в олимпийском 1980-м.

«Надо ли говорить, что она абсолютно не укладывалась в тогдашний канон „военно-издатовской прозы“. Возможно, вырасти я в среде московской научно-чиновной интеллигенции с ее маниакальным западничеством и диссидентскими симпатиями, я передал бы эту явно „диссидентскую“ вещь на Запад — и моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Но я, повторяюсь, был настоящим советским человеком, верящим в конечную справедливость системы, а потому простодушно принялся носить повесть по журналам — „Юность“, „Знамя“, „Дружба народов“, „Новый мир“, „Наш современник“... Сотрудники этих изданий, люди чрезвычайно инакомыслящие, смотрели на меня как на придурка, нарушившего всеобщее благочиние неприличной выходкой. То, о чем они шептались на кухнях, я не только написал, но и еще (вместо того чтобы ограничиться тихими самиздатовскими радостями) притащил в советский журнал. Ну не идиот ли!» (эссе «Как я был колебателем основ»).

В нашей беседе Юрий добавил: «Помню, как в журнале „Знамя“ ныне либеральный критик Наталья Иванова, дочка заместителя главного редактора журнала „Огонек“, кричала, что это провокация, вы специально принесли эту повесть, чтобы подставить нашего замечательного главного редактора Вадима Кожевникова!»

Понятно, что после такой огласки и скандалов рукопись довольно быстро была переправлена куда следует, и Юрия начали приглашать в инстанции.

Его не запугивали, не угрожали, а просто объясняли, что повесть хорошая, но может нанести вред обществу. «Как же правда может быть вредной?» — интересовался Юра. Может! «И что интересно, многие опасения, которые высказывались мне в КГБ и в ЦК, стопроцентно подтвердились, когда началась антиармейская истерия 1988–1990 годов. Власть в плане социальных последствий оказалась более прозорлива, чем я. Потому что я видел только свою писательскую задачу: сказать правду, донести ее до читателя. А они меня спросили, что будет потом, когда я ее донесу. Я пожал плечами: это ваши проблемы. А оказались-то они нашими проблемами. И моими в том числе.

И уже как прозаик, столкнувшись с запретом на публикации, я все равно воспринимал это как нормальное сопротивление. Если писатель хочет сказать что-то новое, табуированное обществом, — он встретит сопротивление. Кстати говоря, на этой необходимости преодолеть сопротивление поднялись практически все наши писатели. Это все преодолевали и Солоухин, и Трифонов, и Распутин, и Белов. Это потом диссидентская мифология стала восприниматься как противостояние какой-то темной силе. Я уверен — останься Довлатов, и он бы печатался. Останься Солженицын — в каком-то виде и его вещи вышли.

Да, на втором этапе вхождения в литературу начались проблемы с моими публикациями. Но они не были антагонистическими, это было столкновение разных точек зрения. Я переживал, расстраивался, но не воспринимал как атаку против меня лично. Я понимал, что коснулся темы, которая кажется государству неправильной. А настоящее сопротивление началось гораздо позже...

Настоящее сопротивление с замалчиванием, с вымарыванием, с маргинализа-

цией началось, когда произошел раздел писателей на государственного, патриотического, направления и на либералов-западников, которым в принципе наплевать, чем это закончится. Вот тогда началось реальное сопротивление. А до этого я был полон сил, полон молодежного оптимизма, и это было, так сказать, триумфальное вхождение в литературу, несмотря на временные запреты моих повестей...»

Удивительная ситуация сложилась после вступления Юрия Полякова в Союз писателей — он стал прозаиком, произведения которого запрещены. Ни одна чудо-повесть Юрия Полякова не вышла в свет без запретов и многолетнего цензурного выдерживания: «Сто дней до приказа» ждала публикации семь лет, «ЧП районного масштаба» — четыре года и т. д.

Недоброежелатели прозвали Полякова Комсомольцем. Я бы назвал его Ледоколом, кабы не ассоциации с известной книгой Суворова/Резуна. Он вспарывал своей прозой ледяное поле официального курса. Но шел не обреченным тараном, а ледоколом, который дает задний ход и вновь наваливается на ледяную спайку всем своим весом... Реверс — полный вперед, реверс — полный вперед! И так до пункта назначения!

11.

1981 год стал для Юрия Полякова звездным. «Мне было двадцать шесть лет. Это был удивительный год! Меня приняли в Союз писателей, я защитил диссертацию и вступил в партию. Но все это было оплачено работой. И только».

К тому времени Юрий Поляков уже год как главный редактор писательской газеты «Московский комсомолец» — он сменил Сергея Мнацаканяна, ушедшего учиться на Высшие литературные курсы.

Вот как Сергей Мигранович описывает свой уход: «В те годы „МЛ“ был по-настоящему популярной писательской газетой. Его читали все московские писатели и обсуждали каждую неправильно поставленную запятую. Помню, однажды мы поздравили с 99-летием одну когда-то известную, но лет сто назад забытую поэтессу. Оказалось, что уже год как она покинула нашу поэтическую планету. Был скандал. Но все почему-то смеялись... Мы отметили этот скандал в нашей подвальной редакции на улице Качалова (сегодня это Малая Никитская улица) распитием двух бутылок хорошей советской водки. После моего ухода на Высшие литературные курсы (это была моя тайная, но внешне достойная капитуляция) главным редактором газеты стал Юра».

Веселой была газета «Московский литератор» — Булгаков отдыхает!

Итак, Юрий принят в Союз писателей СССР! Насколько могущественной была эта организация, насчитывающая десять тысяч членов, хорошо известно каждому, кто жил в советские времена. Своего рода орден меченосцев, посвящение в который давалось не только талантом и трудолюбием, но и преданностью государственной идеологии.

С распадом Советского Союза многие писатели стали утверждать, что придерживались социалистических идей по грустной необходимости, а на самом деле каждый настоящий писатель с детских времен недолюбливал советскую власть, и наиболее отчаянные, еще сидя на детсадовском горшке, плевали из трубочек в портреты вождей, ощущая в себе тягу к будущим реформам и свободомыслию. Эдакие диссиденты на горшках. Но факты не подтверждают повальное диссидентство советских писателей. Наоборот. Те, кто задним числом записал себя в инакомысля-

щие, на поверку оказывались либо искренними солдатами-добровольцами идеологического фронта, либо ремесленниками-контрактниками, выполнявшими по договорам с государством щедро оплачиваемый социальный заказ. Чудаков, открыто ломившихся в ворота с надписью «Диссидентство», можно по пальцам пересчитать, и почти у каждого была хорошая поддержка зарубежных СМИ или своей диаспоры. Истинное отношение писателя к социализму-коммунизму можно проследить по его отношению к этим течениям в постсоветское время. Тех, кто остался верен левым идеям, немного, но тем ценнее их постоянство. Поляков — из их числа.

А вообще, мой друг, мы с тобой знаем, что вся мировая Литература сочувствует простому человеку, а не олигархам, и окрас ее — розовый, а местами и красный... И уж так повелось, что сердце писателя сжимается от слезинки бедного человека. Богатые же плачут либо от смеха, либо в бразильских сериалах...

Через три десятка лет бывший ректор Литературного института Сергей Есин будет вспоминать изумление, с которым «литературная общественность» встретила в те годы появление Юрия в первых рядах: «Выскочил и вдруг принялся играть первые роли. Да и кто ожидал этого, когда по Дому литераторов бродили юноши из вполне интеллигентных семей, а тут счастливый выскочка с рабочей окраины!»

«Юрий Поляков — интеллигент в первом поколении, хотя, зная его сегодняшнего, в это трудно поверить. Кажется, этот человек стремительно сделал сам себя, не в первый раз подтверждая ту истину, что талантливый русский, если он не лежит на печке, а имеет вкус к работе, способен на огромные рывки в своем развитии», — напишет в послесловии к двухтомнику «Избранного», вышедшему в 1994 году, литературный критик В. Куницын.

...В тридцать лет Юрий Поляков испытал то, что называется литературной славой. В чрезвычайно популярном журнале «Юность» была опубликована его повесть «ЧП районного масштаба».

«В один из январских дней 1985 года (теперь уже не помню, в какой именно) я проснулся, извините за прямоту, знаменитым. Уснул слегка известным поэтом, а проснулся знаменитым прозаиком. Случилось это в тот день, когда январский номер „Юности“ очутился в почтовых ящиках трех миллионов подписчиков» (эссе «Как я был колебателем основ»).

Повесть имеет огромный успех у читателей — по стране проходят сотни читательских конференций и бесчисленные комсомольские собрания, на которых обсуждается публикация. Журнал рвут из рук в руки, в библиотеках — очереди из желающих прочитать. Все печатные органы, включая партийную «Правду», откликнулись на «ЧП» резко критическими, мягко разгромными или сурово поощрительными рецензиями. Живущий на другом континенте В. Аксенов по «Голосу Америки» радостно оценивает повесть как предвестник крушения советской власти.

...Речь в повести, как ты помнишь, идет о краже спортивного кубка из райкома комсомола — сильный по тем временам заход! Но сильнее сюжетного захода, на мой взгляд, сам стиль прозаика Полякова, с которым он вышел к читателю в далеком уже 1985-м. Читая недавно повесть, я испытывал наслаждение от скупого, но чуть щеголеватого текста, и чувствовал, что молодой автор сдерживал себя, чтобы не мазнуть слишком ярко, не увлечься чрезмерной художественностью, балансировал на грани металогической и автологической манер письма.

Красивая бабочка прозаика Полякова вылезала из поэтического кокона...

Юрий Поляков, названный каким-то журналистом одним из «буревестников» начавшейся перестройки, внял совету старшего литературного товарища и вместо того, чтобы «гордо и гонорарно реять над руинами», пишет новую повесть «Работа над ошибками».

12.

В 1987 году в престижном издательстве «Советский писатель» выходит поэтический сборник «Личный опыт». Откроем и проникнемся личным опытом молодого поэта, отца, мужа, прозаика и общественного деятеля:

Одиночество

Мне нравится быть одиноким —
Зайти в переполненный бар
И, выпив чего-нибудь с соком,
Поймать удивление пар,
Их недоуменные взгляды:
«Откуда такой нелюдим?
А ведь „упакован“
 как надо
И молод.
 И все же один!»
А после
 под стереовопли,
Под грохот танцующих ног
Грустить,
 что ботинки промокли,
Что осень,
 что я одинок,
Что вся эта радость хмельная
И девушки в джинсах тугих —
Как будто планета другая,
Доступная лишь для других.
А я уж чего-нибудь с соком
Еще на дорожку попью.
...Вот я и побыл одиноким —
Пора возвращаться в семью.

В пионерском лагере

Ныряет месяц в небе мгlistом.
И тишина, как звон цикад,
Дрожит над гипсовым горнистом,
Плывет над крышами палат,
Колблет ветер занавески.
Все как один,
 по-пионерски,
Уставшие ребята спят..
А там, за стеночкой дощатой,
Друг друга любят,
 затая

Дыханье,
 молодой вожатый
 И юная вожатая...
 Всей нежностью, что есть на свете,
 Июльский воздух напоен!
 Ах, как же так?
 Ведь рядом дети!
 Она сдержать не в силах стон...
 Ах, как же так!
 Но снова тихо.
 И очи клонятся к очам...
 И беспокоится врачиха,
 Что дети стонут по ночам...

Известный литературный критик Владимир Куницын напишет через несколько лет о стихах Юрия: «Вникая в стихи Юрия Полякова, я ловлю себя на мысли, что это стихи не поэта, а прозаика Полякова. Стихи его, как я уже говорил, очень простые по форме, безыскусны, напоминают рифмованное изложение впечатлений, бытовых зарисовок, какой-то дорогой автору мысли. Это развернутые в поэтической форме вехи „личного опыта“, как точно назвал сам поэт свой последний сборник. Но при всем том, эти стихи настолько открыты по лирическому чувству, так обезоруживающе искренни, что поднимаются до поэтического факта. В конце концов, у нас так много поднаторевших в эстетических хитростях поэтов, но зачастую пробиться к душе и сердцу этих поэтов, к их истинным, человеческим ощущениям, замаскированным сложными метафорами и ритмами, столь бывает трудно, что такая распахнутая, как у Полякова, душа лирического героя иной раз кажется просто благодатью».

Согласимся с такой оценкой. Как и с утверждением критика, что по стихам Полякова, как по клавиатуре, можно пробежать всю его биографию и приметить все основные вехи духовного мужания. По ним, пусть и задним числом, можно догадаться об истоках его прозы, увидеть знакомые по этой прозе ситуации и бытовые сюжеты.

Я был инструктором райкома,
 Райкома ВЛКСМ.
 Я был в райкоме словно дома,
 Знал всех и был известен всем.

Или:

Молоденький учитель,
 Я у доски страдал,
 А ученик-мучитель
 Вопросы задавал.

Лично мне нравятся такие стихи. Вспоминаются К. Симонов, А. Твардовский... Опоэтизированная жизнь мне ближе недожеванной поэзии и филологических водорослей (последнее выражение. — Ю. П.).

А между тем, вылежавшись под сукном цензуры, в майском номере «Юности» за 1989 год публикуется журнальный вариант повести «Апофегей». Текст повести превращается в источник цитирования в прессе и быту. Неологизм «апофегей» входит в общенародный язык.

Ведущие журналы относятся к повести и ее автору настороженно. Патриотическим изданиям взгляды писателя кажутся слишком демократическими; «либералов» настораживает критическое отношение автора к «перестроечному неольшевизму» и сатирическое изображение Б. Ельцина в образе БМП.

Ельцин во время встреч с общественностью неоднократно подвергает повесть резкой критике или отмахивается: «Происки партократии!»

В том же году выходит на экраны фильм «Работа над ошибками» по одноименной повести Полякова (студия им. Довженко, 1989, режиссер А. Бенкендорф).

Прорвало? Да, Юрия Полякова публикуют. Цензура еще не отменена, но главы изданий действуют на свой страх и риск.

Задаю себе вопрос: как могло получиться, что повести Юрия Полякова прошли мимо меня? И пытаюсь найти ответ в своих дневниках.

Петербургские хроники⁴

1 января 1988 г. Дома.

...Смотрю на писателей и думаю: когда же они достанут из столов заветное и опубликуют? В журналах — возвращенная и лагерная проза; много воспоминаний; множество обличительной публицистики. О Ленине, Сталине, Жданове, Молотове, Кагановиче, Хрущеве, Троцком, Бухарине, Пятакове, Рыкове, Радеке, Ежове, Берии и проч. Читается запоем. И пока эта волна не пройдет, пока не скажется вся правда, современная литература не появится в журналах. Так я думаю. У нее сейчас вынужденный тайм-аут. Не хватает ей журнальных площадей.

Или самой литературы не хватает?..

Отвечаю же в нынешнем времени. Повести Полякова шли по разряду разоблачительной прозы, и я не клюнул на них. Упоминание армии, комсомола или школы не вызывали во мне радостного волнения — более того, отвращали, и крепкие в художественном смысле книги просвистели мимо. Продвигаясь в литературу, я шел в кильватере Конецкого, Житинского, Шефнера, с наслаждением катал на языке фразы Владимира Орлова, Валентина Пикуля, Булгакова, Ассорина, Юрия Казакова, Трифонова... А вот почему к высокохудожественным повестям нашего героя был прилеплен социальный ярлык, сейчас уже понятно — страна трещала по швам, и кому-то хотелось, чтобы она с грохотом развалилась.

Позволю себе еще освежить в памяти реалии тех дней по своему роману-дневнику «Петербургские хроники»:

20 марта 1989 г. Дома, перед телевизором.

У Казанского собора был митинг ДС — Демократического союза. Ребята залезли на памятник Кутузову и развернули трехцветное русское знамя. Восемьдесят человек арестованы за нарушение общественного порядка.

Ходили с Ольгой на «Зойкину квартиру» в Театр комедии. Мне не понравилось: действие затянато.

17 июня 1989 г. Зеленогорск.

<...> На чай, мыло и стиральный порошок с 1 июня ввели карточки. Это вдобавок к карточкам на сахар, которые действуют уже год. Хорошо живем...

⁴ Д. Каралис. Петербургские хроники: роман-дневник. 1983–2010. СПб.: Коло, 2011. 544 с.

30 августа 1989 г. Зеленогорск.

<...> В магазинах день ото дня хуже. И такое ощущение, словно кто-то неведомый и могущественный злорадно потирает руки: «Вы хотели демократии, перестройки? А вот вам демократия — получите!»

Так долго продолжаться не может: рабочие недовольны кооперативами, начальством, снабжением и еще тысячами мелких и крупных составляющих нашего бытия. Плохо с водкой, пропали сигареты. В магазинах лежат только папиросы — «Любительские» и «Беломор».

Прошли забастовки в Кузбассе, Донбассе, Воркуте. Бурлят Прибалтика, Молдавия, Закавказье. Фергана ужаснула жестокостью. Партийный аппарат, похоже, в растерянности, и по старой российской традиции скоро будут искать виноватых. И найдут. Ими окажутся кооператоры и евреи. Пройдут очередные перестановки в Политбюро, а обозленный народ натравят на «виноватых». В Москве уже ходили слухи о еврейских погромах, намечаемых на какие-то августовские числа, и «Аргументы и факты» давали устами милиции опровержение. Что, естественно, настораживает обеспокоенный народ еще больше: «Знаем мы эти опровержения!» Звонил Аркадий Спичка, заводил разговор на эту неприятную для него тему. (Я думал, что он украинец.) Я пошутил, успокоил, сказал, что дам ему политическое убежище — будет жить у меня на даче, варить самогон и квасить капусту. Поговорили о самогоне и капусте. Аркадий — большой спец в этих вопросах.

<...> «Отягощенные злом» еще прочитал — братьев Стругацких. Не так просты братья, как кажутся. Братья-христиане должны на них обидеться. Лично я обиделся.

8 ноября 1989 г. Дома.

Ноябрьские демонстрации в Ленинграде, Москве и др. городах имели альтернативные. О них заранее оповещали приглашения в почтовых ящиках.

Народный фронт, ДС и т. п. Лозунги были интересные: «Партия ест и будет есть!», «Нам нужна не гласность, а свобода слова!», «Защитим перестройку от Горбачева и Лигачева!» (Москва), «Диктатура — это насилие!» (сам видел по ТВ, когда показывали официальную демонстрацию на Дворцовой площади).

8 декабря 1989 г. Дома.

Грозятся снять Горбачева. Завтра внеочередной Пленум ЦК. 12 декабря открывается II съезд Советов. Идут митинги. <...>

Разговор в Союзе писателей:

— Ты записался в «Содружество»?

— Мне писать надо, а не записываться.

...В конце года, 30 декабря, в таджикской газете «Комсомолец» публикуется интервью Юрия Полякова, где среди прочего он подтверждает, что он — коммунист, и не видит в этом ничего дурного, отказываться от этого звания не намерен; но при многопартийной системе был бы, скорее всего, беспартийным — литератор должен заниматься литературой! «И сегодня на многократные предложения баллотироваться в Верховный Совет РСФСР я отвечаю благодарностью и... отказываюсь».

13.

В том же 1989 году «Литературная газета» публикует беседу Юрия Полякова и Николая Шмелева под заголовком «Здравый смысл». Публикацию предваряют цитаты-утверждения собеседников:

Ю. Поляков: «Наше человеческое благополучие ставится в зависимость от прочности политической власти, а ведь по уму-то надо наоборот!»

Н. Шмелев: «Мне кажется, на данном этапе лучший нравственный лекарь — это полный прилавок магазина».

Беседа двух консерваторов, принадлежащих к разным поколениям, идет уважительно и радует читателя точностью суждений и образностью мысли.

Юрий Поляков: «Меня, честно говоря, беспокоит отстраненное отношение наших сегодняшних лидеров к предлагаемым проектам оздоровления общества. <...> Падению дома Романовых, на мой взгляд, немало способствовала слепая вера в народбогоносец — не может он, видите ли, поднять руку на помазанника... Сердце замирает от собственной смелости, но не кажется ли вам, Николай Петрович, что кое-кому сегодня трезво взглянуть на реальность мешает вера в народ-партиеносец?»

Предсказал? Или «накаркал»? Или как в воду глядел? Не столь важно, какой дефиницией воспользоваться для определения провидческого дара Юрия Полякова, но этот дар несомненно присутствует. И скорая отмена 6-й статьи Конституции и последующий роспуск КПСС, насчитывающей двадцать миллионов членов, тому подтверждение. Кстати! Прекрасный критик Владимир Бондаренко чуть позднее назовет Юрия нашим литературным Нострадамусом. Имея в виду и другие сбывшиеся прогнозы писателя. Например, по Украине...

А в «Московском комсомольце» выходит интервью Ю. Полякова «Возможно, я ошибаюсь»⁵, где среди прочего он открыто называет себя русофилом. Интервьюер — главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев — старинный приятель Юрия еще по работе в комсомоле и половинный прообраз Шумилина из «Апофегея», дает возможность в рамках интервью коснуться самых разных тем.

<...>

Павел Гусев (ПГ). Насколько я понял, ваши отношения с критикой... не сложились... Это так? Или, может быть, вы на нее обижены?

Юрий Поляков (ЮП). Скорее она на меня... Знаете, многие критики напоминают мне обидчивых свях, которые очень сердчат, если взаимная склонность между писателем и читателем возникла без их посредничества. Появляется ощущение собственной ненужности, а кто же это простит...

ПГ. Неужели нет хороших критиков?

ЮП. Есть. Не просто критики, а глубокие исследователи литературного процесса и общественной мысли, но сегодня их явно оттеснили горластые литературные поединщики.

ПГ. Да, в литературных войсках сегодня идет ожесточенная война. Это показали писательские пленумы, съезды. Какова ваша позиция, тем более что вы — секретарь правления Союза писателей России?

— Был. До VII съезда⁶.

— У вас разногласия с руководством СП РСФСР?

— Нет. Скорее взаимное недоумение.

.....

— А как вы относитесь к русофилам?

— Нормально отношусь, я и сам русофил.

— В каком смысле?

— В прямом. Живя в России, говоря по-русски, воспитываясь на русской культуре, не быть русофилом так же странно, как, живя, скажем, на Мальвинских ост-

⁵ «Возможно, я ошибаюсь» // МК. 19.01.1991. Автор интервью — Павел Гусев, главный редактор.

⁶ Юрий Поляков был секретарем по работе с молодыми авторами Союза писателей РСФСР.

ровах, быть им. Хотя, конечно, случается всякое. Но я твердо убежден в одном: нельзя из своего русофильства (как и любого другого «фильства») делать профессию. Человек, извлекающий выгоду из любви к своему племени, мне так же не симпатичен, как человек, сдающий сперму за деньги. И будучи «филом» в отношении к своему народу, совершенно необязательно быть «фобом» в отношении к другим. <...>

В конце 80-х Поляков словно срывается в творческий запой — пишет, как говорится, со страшной силой. Когда он пьет горькую, чтобы прочистить мозги: тайна, покрытая мраком. Это нам еще предстоит выяснить. В литературной среде ходит присказка: «Если писатель не пьет запоями, то это не русский писатель...» А Поляков русский писатель, совершенно русский...

В летних номерах «Юности» за 1991 год выходит полный текст повести «Парижская любовь Кости Гуманкова», который редакция напечатала с неохотой, ожидая от автора не иронической лирики, а зубодробительной остроты. А как же иначе — жить и читать газеты интереснее, чем писать. Западные инъекции и советы, о которых мы потом узнаем, сродни вливанию чужой группы крови... Страна бурлит, и мы бурлим вместе со страной.

...Несмотря на большой читательский успех, «Парижская любовь...» практически игнорируется либеральной и патриотической критикой. Либералам не нравятся любовно-ностальгические мотивы по отношению к советской эпохе; «патриотов» коробит от места издания повести — журнал «Юность» считается у них чужой территорией.

Удивительно смешную и грустную повесть, над которой хохочут и смахивают слезы в метро, стараются не замечать оба враждующих лагеря.

14.

Писатель оказывается на нейтральной полосе, именуемой Литература, по которой, чтобы не привлечь внимание к мастерски выписанной повести, не решаются стрелять ни либералы, ни патриоты. Стиль Полякова, его творческая походка вызывают завистливое молчание. (Вспомним Н. С. Лескова!)

Лишь несколько унылых голосов в «Литературной газете» и «Литературном обозрении» пытаются принизить художественное значение повестей Юрия Полякова. «Его повести были явлением не столько литературы, сколько литературно-общественной жизни...» — уверенно наклеивает ярлык Е. Иваницкая в статье «К вопросу о...», опубликованной в журнале «Литературное обозрение» (1992, № 3–4). И добавляет: «А пока я пишу это, приходит номер „Литературной газеты“, где Б. Кузьминский в статье „Прокрустов престол“ язвит журнал „Юность“ за публикацию „Парижской любви“, включая Полякова в обойму „уважаемых не за качество текста, а за прежние заслуги“...»

Кумирами либеральной критики к тому времени становятся писатели-разоблачители советского образа жизни, чьи имена сейчас не сразу вспомнишь и с поллитром популярного в народе напитка. Эстетическая оценка произведений подгонялась под свои политические вкусы, вызревшие как грибы после перестроечного ливня: никакого сочувствия прошлому! о покойнике либо плохо, либо ничего!

Критика почвенническо-патриотического толка все подозрительнее смотрит на фигуру Ю. Полякова, не ложащуюся в колоду угрюмого реализма. Характерен вопрос, заданный однажды в Доме творчества «Переделкино» Валентином Распутиным: «Юра, почему вы все время иронизируете? Россию не любите?» — «Гоголь тоже

иронизировал», — пожал плечами Поляков. «Но вы же не Гоголь...» — напомнил Распутин. «К сожалению... Если бы я не любил Россию, я бы не иронизировал, а издевался...» — согласился Поляков.

...Стойкий читательский интерес к повести, которую можно читать и цитировать с любого места («Не пугайте человека родиной!»; «Ему плохо?» — «Ему хорошо!» и т. д.), шел вразрез с приговором либеральной критики: расплывшиеся в радостных улыбках лица против сдвинутых бровей и сжатых губ. Позднее, когда повесть будет переиздана в двухтомнике «Избранного» (1994), критик В. Куницын назовет «Парижскую любовь Кости Гуманкова» вершиной автора по выработке своего стиля. «Уж не знаю, какой у автора юмор — галльский, раешный, лукавый, но читал я эту повесть о нашей дурацкой жизни, ни разу не оторвавшись и смеясь порой до слез. Аналогов ей в современной прозе, работающей в похожем жанре, по-моему, нет», — напишет он в послесловии к двухтомнику. И разберет по филологическим косточкам стиль сорокалетнего автора: как пишет, о чем пишет и почему не оторваться от его книг...

А ведь дал нам, пишущим, Поляков прикурить этой повестью! Увы — это понимаешь только сейчас, ибо тогда повесть утонула или ее сознательно притопили в мутном потоке разоблачительно-ернической прессы. Каких только «сатир» и «разоблачений» не написали в то время молодые и старые авторы! А как неугасимо коптил на вахте «Огонек» Виталия Коротича, прошедшего, как потом выяснилось, в США детальную подготовку по созданию управляемого информационного хаоса, как дымил, объясняя, что истинный свет идет с Запада!

«Парижская любовь...» экранизирована несколько лет назад и смотрится как старая добрая комедия, как классика жанра, как «Служебный роман» или «Ирония судьбы». А повесть читается сейчас с любого места — открой, попробуй.

И почему бы четверть века назад мне не встретиться с книгами Полякова!

Или Москва и Ленинград перестали к тому времени быть сообщающимися культурными сосудами? Или не в тех компаниях вращался?

Каким бы радостным ознобом покрылся я при чтении «Апофегея», но кто в те годы говорил о нем в Ленинграде?

Ни в студии молодой прозы при Союзе писателей, которую вел крепкий прозаик Евг. Кутузов, ни в семинаре фантастики Бориса Стругацкого имя Полякова не упоминали — словно его и не было. Оба литературных лагеря по совершенно непонятной причине игнорировали мощное дарование. Почему? Или сами не знали о его существовании? В этом тоже хотелось бы разобраться... А много полезного могли бы почерпнуть начинающие петербургские прозаики у московского коллеги! Как важны были в те уродливые годы, когда все трещало по швам и бородатые хрипуны в открытую смеялись над Павликом Морозовым и Александром Матросовым, форма, стиль и авторская позиция, столь четко выраженные у Полякова.

15.

...Я уже писал тебе, что Поляков интересен мне и материалом, на котором он строит свою прозу, и стилем. Жизнь в его произведениях — высочайшей достоверности: руку протяни, и дотронешься! И в то же время — это не скучная подробностями реальная жизнь, а «выдуманная правда» — так называет искусство псевдогерой Полякова Сен-Жон Перс. Или, если хочешь: литература выше жизни на величину таланта.

При этом собственную установку «Занимательность — вежливость писателя» Поляков выполняет неукоснительно, и сюжет всегда упруг и динамичен. И тут хочу

сказать несколько слов о еще одной составляющей прозы Полякова — о ее афористичности.

Как ты знаешь, цитируемость художественного произведения — неглавный, но важный показатель состоятельности текста.

Что мы помним из наших классиков? Толстой: «Все счастливые семьи...», «Все смешалось в доме Облонских», несколько нравоучительных рассуждений о счастье, которое внутри нас, о добре и т. д. Горький: «Всему хорошему в себе я обязан книгам»... Тургенев? Абзац о великом и могучем русском языке, который мы учили в школе. Гоголь — отдельные реплики героев, вроде «Давненько я не брал в руки шашек!», «Только после вас!», «Курьеры, курьеры, десять тысяч одних курьеров!» и авторские сентенции о птице-тройке, широте Днепра, русском товариществе и еще с десяток-другой запомнившихся из школьной программы фраз. Пушкин, Лермонтов — в основном поэзия. Из прозы Пушкина — отдельные реплики («Тише, Маша, я Дубровский!») и кое-что из публицистики: о сокрушительной силе типографского снаряда, об отношении к истории своей страны и т. д. Чехов — множество нравоучительных цитат, вроде «Культура не в том, чтобы не пролить соус, а в том, чтобы не заметить, как это сделали другие», «В человеке все должно быть прекрасно...». Булгаков: «Аннушка уже разлила масло...», «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...», «Было не жарко, а именно тепло...», «С обоими не согласен!».

Вот что вспоминается из русской классики, которую — хочу напомнить! — мы изучали в школе. Это было и остается частью культурного кода нескольких поколений русских людей. Что дальше будет закодировано и раскодировано, покажет время. Кстати, ты заметил, что выдержки из еще недавно бешено цитируемых Ильфа–Петрова сходят на нет вместе с поколениями? Последние, кто замечен в знании лексикона Остапа Бендера и его окружения — наши дети, рожденные в 70–80-е. Дальше — слова и словечки из американских фильмов и фантастических романов: «Дурак дураку рознь», «Мы его теряем» и т. п. говорилки...

Так вот, афористичность произведений Полякова. В Москве вышла книга под названием «Бахрома жизни. Афоризмы, мысли, извлечения для раздумий и для развлечения». В ней прилежный составитель Николай Казаков разместил по тематическим кучкам выдержки из всего написанного Юрием Поляковым, что можно выдать за афоризм, оригинальное умозаключение или меткое слово. Как часто писатель может рождать изречение, претендующее на афоризм? Например, у В. Войновича, В. Аксенова и Л. Петрушевской «одно обобщающее высказывание» приходится на двадцать одну, двадцать и восемнадцать страниц текста соответственно; у Виктории Токаревой — одно на три страницы; у Юрия Полякова в среднем один афоризм на одну страницу!

Чтобы не втягиваться в рассуждения о качестве афоризмов, мыслей и извлечений, приведу некоторые — собственно авторские — сентенции или вложенные автором в уста своих героев (не всегда положительных, не всегда разделяемые самим автором). «Человеку, влюбленному в Кандинского, я бы не доверил должности шпалокладчика». «Русский человек последователен — он должен напиться до ненависти к водке». «Как же искусен, хитер и затейлив может быть человек крадущий!» «Две вещи в жизни человека необъяснимы: почему он пьет и почему он пишет стихи». «Автомобиль — как жена. Недостатки можно выявить только в процессе эксплуатации». «Деньги — самый лучший заменитель смысла жизни». «Богатство — это узаконенное преступление». «Женское одиночество — это Клондайк для мужчин». «Космополитизм начинается там, где деньги, а патриотизм заканчивается там, где деньги». Или такие штучки: «Сувенирное государство», «Остекле-

невшие от честности глаза», «Капиталистический коммунизм», «Постельное сообщество», «Судьболомная женщина», «Жизнецепкие пенсионеры», «Филологические водоросли», «История — это всего лишь слухи, попавшие в учебники», «Художник, сохраняющий верность жене, изменяет Искусству!», «Жаждают ночных женщин, а любят утренних!», «Все рано или поздно осознают свою бездарность. Главное, не делать из этого поспешные выводы».

Герои Полякова с первых повестей говорят так, что хочется запомнить и даже записать. И от произведения к произведению их язык все гуще и афористичнее, и создание надтекстового афористического пространства у Полякова прогрессирует. Если в «Ста днях до приказа», написанных в 1980 году, один афоризм приходился на 2,67 страницы текста, то в произведениях 90-х годов («Демгородок», «Козленок в молоке», «Небо падших», «Замыслил я побег») этот забавный частотный показатель достигает феноменальных значений: 1,91–1,50–1,31–1,44!

«В России множество малых народов, но нет мелких» (это из записных книжек).

«В России никогда не встречали и не провозжали по форме носа или цвету волос, а только — по уму и верной службе Отечеству».

«Такой терпимый к иным племенам и незлопамятный народ, как наш, еще поискать!»

«Вырвать страницу из учебника истории — еще не значит разрушить связь времен».

О правосудии. «На Верховный суд надеются только идиоты и бандиты». «Когда не хватило доказательств, это означает только одно: у подозреваемого хватило денег». «Если в России всех, кто нарушает закон, посадить в тюрьму, никого не останется, чтобы передачи носить...» «Мы живем в стране торжествующего зла, которое возможно лишь при добром Уголовном кодексе. У нас нежнейший Уголовный кодекс, его, наверное, долгими тюремными ночами писали рецидивисты-интеллектуалы». «Вы что, не знаете наших судов? Там, если проплатить, женщине дадут срок за мужеложство!» «Адвокаты аморальны по роду деятельности. Сегодня защищают мать Терезу, завтра — Чикатило. Причем с одинаковым усердием». «Деньги не нужны только мертвым».

«Советское не значит худшее». «Европа не любит Россию, как уродливая коротышка — рослую красавицу».

И вот такое из записной книжки, созвучное моим ощущениям:

«Чем хуже дела у России, тем острее я чувствую себя русским».

«Во времена моего детства вздрагивали при слове „еврей“. Сегодня вздрагивают при слове „русский“».

«Тот, кто не говорит „я русский“ из боязни быть осмеянным, очень скоро не сможет говорить „я русский“ из страха быть убитым».

«Общечеловеческие и национальные ценности противостоять друг другу не могут. Если они противостоят, то какая-то из ценностей фальшива...»

«Отходчив русский человек, непростительно отходчив...»

Я мог бы и дальше предъявлять тебе словесные жемчуга из произведений Юрия Полякова, но лучше почитай сам. Оно того стоит.

И призадумайся: кто классик? Тот, кого интересно цитировать, или тот, кого назначает группка литературных мальков во главе с таким же мальком? Ах, Пригов, ах, карточно-фуршетный Губерман со своими «гариками», ах... Восклицаний много, но от них мальки осетрами не становятся!

Литературоведы называют стиль Полякова гротескным реализмом. Хотя начинал он как твердый реалист с небольшими шуточными завихрениями: «ЧП», «Сто дней», «Апофегей»...

16.

А теперь вернусь к таланту управления талантом. В «Гипсовом трубаче», «романе в четырех частях с эпилогом», обворожительная и загадочная Наталья Павловна, при появлении которой у мужчин-читателей почему-то усиливается кровообращение в разных частях тела, рассуждает так:

«— ...Но русские люди безалаберны. Они могут воспользоваться своим талантом лишь в том случае, если талант больше их безалаберности. А такой талант дается редко. Собирают же крошечные способности в кулак, словно кузнечиков, русские не умеют.

— Почему — словно кузнечиков?

— А вы в детстве никогда не собирали кузнечиков в кулак? Вы ловите, а они выпрыгивают, вы ловите, а они выпрыгивают. Большинство людей живет именно так...»

...И пусть это покажется немного мелким по отношению к большому таланту Полякова, но свои мысли-кузнечики он ежедневно запикивает в телефонный диктофон и раз в неделю выпускает и описывает. Без малого не бывает большого.

17.

И еще. О комсомольском прошлом Юрия Полякова, навеянном его недавним юбилеем. Глядя на выступавших комсомольских соратников — тучных дядек, добротню поучаствовавших в различных приватизациях, я понимал, что Юрий с его связями и знакомствами мог легко ухватить на волне растаскивания народной собственности какой-нибудь банк, издательство, гараж, санаторий, НИИ, завод или тот же маргаринный завод, на котором трудились его родители и который по сей день успешно дымит в Балакиревом переулке. Но не ухватил! Кому-то комсомол помог сделать карьеру финансовую. Юрию — литературно-творческую. Как говорит сам Поляков, за бизнес и творчество отвечают одни и те же области мозга. Либо деньги — либо художественные образы. И это обстоятельство наполняет меня неизбывной симпатией к Полякову. Есть вещи поважней, чем деньги!

Я понимаю, что ты не спросишь задумчиво-удивленно на манер бизнесменов: «Это какие же?», и потому назову сам. Например, собственные убеждения, которые Поляков не меняет, как перчатки или виды спорта в зависимости от фамилии президента.

Вот Поляков собирает свои публицистические статьи за много лет и печатает их книгой — без всяких изменений!

Сильно? Еще бы! Кто из писателей, претендовавших на роль духовных лидеров, а то и просто засветившихся в политике, рискнет сейчас без купюр опубликовать все свои статьи, открытые письма и прочие призывы, вроде «Раздавить гадину!», сделанные за последние годы?

Тот же Евтушенко, выпускающая в 1990 году томище «Политика — привилегия всех. Книга публицистика» (М.: Изд-во АПН, 1990. 624 с.), признавался в предисловии, что беспощадно вымарывал из статей «то, что считаю сейчас устаревшим, а такого в них много. <...> Составляя эту книгу, я безжалостно старался отшелушить все ложно романтическое, что сейчас мне кажется или преступно наивным, или высокопарно смешным».

И в этом нет ничего удивительного или зазорного: писатель — не сапер, он имеет право на ошибку. Если в выборе пути ошиблись двадцать миллионов коммунистов, то что взять с одинокого писателя! Если человек искренне верил в светлое будущее, помогал согражданам стихами, песнями или романами строить самое справедливое

на земле общество, а когда страна потерпела поражение в «холодной войне», когда государственный строй изменился, и со всех трибун и трибунок стали кричать, что мы зашли в тупик, истинное солнце светит с Запада, и над прошлым стали хихикать и фыркать, вот тут и наступил момент истины для писателей. Вот тут и обнаружилось, чем были для большинства литераторов их производственные романы, бодрые стихи, повести о пламенных революционерах и трилогии о строительстве социализма в отдельно взятой республике. Честные и совестливые, потупив очи, пытались разобраться в себе и эпохе. Лгуны и проходимцы принялись верещать, что они всегда, с детсадовских времен, осуждали власть, а социальный заказ выполняли лишь, чтобы не сдохнуть с голоду и проездиться за счет Союза писателей по заграницам, посмотреть, как живет свободное общество свободных людей. И вот она — «Лезгинка на Лобном месте», книга избранной публицистики с конца 80-х по наши дни.

Читай, дорогой, она есть в ваших московских магазинах. О ней поговорим в другой раз!

Твой Дмитрий Каралис

***Редакция журнала «Нева» поздравляет Юрия Полякова
с 60-летием со дня рождения***



Год культуры

Григорий ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ

БИДОНЫ на ПЛАТФОРМЕ

В 1955 году нашим советским гражданам совершенно неожиданно разрешили выезжать за границу в составе туристических групп. «Неожиданно», потому что на протяжении почти сорока лет нельзя было не только подумать о возможности поехать за границу, но и вообще установить контакт с каким-нибудь иностранцем или, не дай Бог, вступить с ним в переписку.

Я вспоминаю, как мы смеялись, слушая Жванецкого, над его фразой: «Мне в Париж по делу».

Это сейчас в Париж едут, когда хотят, кто угодно и по делу, и без дела, а тогда это звучало смешно из-за полной абсурдности.

Я вспоминаю, как за несколько лет до появления этого разрешения мы с моей женой Викой отдыхали летом на берегу Финского залива в Доме творчества художников. Как раз тогда произошло событие, которое произвело на нас сильное впечатление и в которое мы поверили с трудом.

Расскажу об этом подробнее.

Я был обладателем автомашины «Москвич-401», которую купил, простояв около года в очереди в Гостином дворе. Деньги на покупку мы одолжили по рекомендации моего формовщика у его приятельницы, продавщицы в пышечной на углу Желябова (ныне улице возвращено историческое название: Большая Конюшенная) и Невского.

Когда я сказал ей о моей просьбе, она вытащила из ящика толстую пачку денег, отсчитала восемьсот рублей и передала мне их без всякой расписки и без обязательных сроков, когда мне их надо будет вернуть.

Григорий Данилович Ястребенецкий — скульптор, народный художник России, заслуженный деятель культуры Польши, член-корреспондент Российской академии художеств. Родился в 1923 году. Произведения скульптора находятся во многих российских музеях: в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, в собраниях Министерства культуры, Союза художников, Российской академии художеств; в музеях и частных собраниях Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции, США.

Когда я через год принес ей мой долг, она забыла, что давала мне деньги, и небрежно швырнула эти восемьсот рублей в ящик. А это были большие деньги.

Как раз столько стоила машина, о которой я давно мечтал.

«Москвич-401» был небольшой, не очень красивый автомобиль — одна из двух моделей машин, которые продавались населению. Второй была «победа», которая стоила более тысячи рублей. В «москвиче» не было, если можно так сказать, никаких излишеств: были две педали — тормоз и сцепление — и руль. Только самое необходимое. Ни указателей поворотов, ни отопления, ни других удобств и приспособлений, к которым мы так сегодня привыкли и без которых немислима ни одна современная машина.

Для того чтобы показать, что я собираюсь повернуть налево, мне надо было несколько раз прокрутить ручку, открывающую левое стекло, высунуть руку в окно и показать пальцем, что я поворачиваю налево. Если же мне надо было повернуть в правую сторону, я должен был согнуть руку в локте и над крышей машины показать пальцем, что я поворачиваю направо.

Правда, в городе машин было очень мало, и эти упражнения приходилось делать редко.

В троллейбусном парке, где у меня оказался знакомый, я купил по блату списанную электрическую печку. Она заняла почти все пространство пола перед правым сиденьем, плохо грела и жутко грохотала во время езды.

Тем не менее я был счастлив, и мы с Викой часто отправлялись в Прибалтику, покупая там какие-то вкусные конфеты и пирожные, иногда привозили оттуда обои и другие строительные материалы, которых в Ленинграде не было.

Один раз вместе с нашими приятелями мы совершили дальнейшее путешествие в Закарпатье. На ночь мы, как правило, останавливались где-нибудь в лесу, вытаскивали все вещи из багажника и укладывали их под машину, снимали спинку заднего сиденья, опускали вниз спинки передних сидений, которые я предварительно переделал, и ложились спать, положив головы на руль и засунув ноги в пустой багажник. Удивительно, но в те годы не было ни малейшего беспокойства, что вещи из-под машины могут украсть или нас просто прихлопнут и угонят машину.

В общем, я очень любил мой «москвич». Сам ремонтировал его, регулировал сходимость и развал колес. Другими словами, очень заботился о нем.

На нем я и приехал на отдых в Дом творчества.

В те годы Художественному фонду принадлежало большое количество домов творчества. Они были разбросаны по всей стране — были в Хосте, в Пицунде, в Гурзуфе, под Москвой, в Паланге, под Ленинградом в Комарово и в других, в основном курортных местах. Некоторые занимали старинные экспроприированные после революции особняки, некоторые ютились в деревянных домиках. В Паланге, например, Дом творчества помещался на берегу Балтийского моря в здании, ранее принадлежавшем Тышкевичу.

Дом творчества в Комарово был одним из наиболее скромных. По удобствам он напоминал мой любимый «москвич».

Мы с Викой жили в так называемом «пенале». Это было одноэтажное длинное деревянное здание, как мне кажется, стоявшее без фундамента прямо на земле. Непосредственно из сада мы входили в комнату без окна. В ней помещались две железные кровати, и между ними тумбочка. И всего таких комнат было восемь или девять. В них в основном жила молодежь.

Умываться мы ходили в другое двухэтажное, тоже деревянное здание, в котором находилась и столовая, а на втором этаже жили более солидные художники по двое в одной комнате.

В том году в Доме творчества отдыхали Натан Альтман, Александра Васильевна Щекатикина-Потоцкая, профессор Синайский, Борис Пророков и высокий, элегантный художник театра и кино Александр Эдуардович Блэк. Он жил в комнате с одним старым художником.

— Живу, как в джунглях, — жаловался нам Блэк. — По ночам с соседней кровати раздаётся рев диких животных, а иногда слышны одиночные выстрелы.

В соседнем с нами «пенале» жил мой друг, искусствовед Каганович, обладатель такого же «москвича», как мой.

Как-то в Дом творчества приехал наш приятель, милый и симпатичный человек, живописец Толя Васильев. Толя был высоким голубоглазым блондином, очень контактным и веселым. Я уже окончил Институт им. Репина, а он остался преподавать на кафедре живописи и был избран секретарем парторганизации института.

Он рассказал нам с Кагановичем, что он только что вернулся из Чехословакии, куда его послали на Первый международный фестиваль молодежи и студентов. Наверное, сыграла свою роль хорошая внешность Толи как представителя Советского Союза, но самым важным было, конечно, то, что он был секретарем партбюро.

Толя был первым из моих знакомых, который побывал за границей. В те годы, как я уже говорил, это казалось сказкой.

Толя вернулся из Чехословакии потрясенным. Он ни о чем другом не мог говорить и только рассказывал о чудесных старых городах, которые повидал, о симпатичных ребятах, собравшихся в Праге со всего мира, с которыми он запросто общался, о невиданном изобилии в продаже всевозможных предметов и туалетов, о роскошных витринах, наполненных вкусными продуктами, о маленьких кафе с вежливыми официантами.

Ему как представителю Советского Союза доверили открывать заключительный бал фестиваля, и он танцевал с прелестной чешкой.

Мы слушали, затаив дыхание, и, естественно, завидовали ему.

Потом Толя сказал, что ему стало известно, что скоро наше правительство разрешит советским людям туристические поездки в Прагу. Стоимость одной поездки будет примерно восемьсот рублей.

Мы с Кагановичем переглянулись. Это было как раз столько, сколько стоили наши «москвичи», и мы решили, что как только будет опубликовано сообщение о разрешении зарубежных поездок — продаем наши любимые машины и едем в Прагу, чтобы хоть один раз увидеть, что это такое — заграница.

Ждали терпеливо и долго. Увы, наши надежды не оправдались.

В свое оправдание скажу, что меня не столько привлекали роскошные витрины и вкусная еда, как возможность познакомиться с тем, что собой представляет неизвестная нам жизнь за рубежом, походить по знаменитым музеям, увидеть старые европейские города и окунуться в атмосферу, знакомую мне только по небольшому количеству зарубежной литературы, которая у нас публиковалась.

Теперь я возвращаюсь к тому, с чего начал.

Прошло четыре года, и вдруг оказалось, что действительно есть реальная возможность поехать в составе туристической группы в Финляндию. Причем для этого даже не надо продавать машину. Двадцать один день пребывания в Финляндии стоил совсем немного и был доступен любому советскому служащему с зарплатой сто двадцать рублей в месяц.

Я жутко захотел воспользоваться этой возможностью, а Вика была категорически против. Она боялась, что после такой поездки обязательно возникнут какие-нибудь неприятности, поскольку такие вещи даром не проходят.

В какой-то степени она оказалась права.

Мое же желание подкреплялось еще и тем, что незадолго до этого в Ленинград приехал известный финский художник, и тогдашнее руководство Союза художников попросило меня сопровождать его и показать ему город.

Моя кандидатура возникла потому, что я прилично знаю немецкий язык, а среди членов Союза художников Ленинграда, а их было около тысячи человек, знающих иностранные языки почти никого не было.

И действительно, зачем изучать какие-то языки, когда ездить за рубеж нельзя, общаться с иностранцами — тоже нельзя? Напрасная трата времени.

Я же в шесть лет попал в немецкую школу, где все предметы преподавали немцы Поволжья на своем родном языке. В обычные школы брали с семи лет, а в немецкую с шести, и родители с удовольствием спихнули меня туда.

Финский художник оказался пожилым человеком небольшого роста, вполне контактным и свободно говорящим на немецком и английском языках. Мне понравилось, что он по-настоящему увлекался искусством, с интересом ходил во все наши музеи и на все выставки, которые в то время были открыты в Ленинграде. После посещения Эрмитажа он пришел в восторг и сказал мне, что тот не уступает самым знаменитым музеям мира. Мне это было очень приятно слышать.

— Как вы считаете, — спросил он меня, — Эрмитаж по собраниям шедевров сильно уступает Уффици?

Я сказал, что не могу судить, потому что не был в Италии и не посещал Уффици.

— А в каких странах вы бывали? — спросил он с интересом.

Я стал что-то лепетать о том, что я не был еще во многих городах и музеях Советского Союза, что мне надо объездить нашу страну, а потом я уже отправлюсь за границу.

Он криво усмехнулся, но дал мне на всякий случай номер своего телефона в Хельсинки и пригласил меня в гости после того, как я объезжу Советский Союз и поеду в Европу.

— Правда, я живу, — сказал он, — в коммунальной квартире, но я буду рад вас видеть.

То, что он «живет в коммунальной квартире», меня как-то смирило с ним, поскольку мы оба жили в неудобствах.

И вот я вдруг могу поехать за рубеж и как раз в Финляндию. Поеду и докажу ему, что я тоже нормальный человек и живу в нормальной стране.

В общем, несмотря на Викины возражения, я подал заявление и через неделю получил ответ, что меня включили в состав группы из двадцати человек, отъезжающих в Финляндию.

Группа оказалась очень пестрой. Знакомых никого не было, и даже не было никого, кого я бы запомнил. Пожалуй, запомнил я только одну женщину по фамилии Сундукова (может быть, потому и запомнил). Она все двадцать один день нашего путешествия проходила в одном темно-коричневом платье с громадными красными бархатными аппликациями на обширной груди.

Пишу об этом вовсе не для осуждения, а просто потому, что тогда нельзя было женщине купить несколько туалетов для поездки за границу, так как полки магазинов были пусты или заполнены ширпотребом. Частных же портных практически не было, так как частная практика преследовалась по закону.

Руководителем нашей группы был молодой человек небольшого роста с незапоминающимся лицом, но с запоминающимся именем. Его звали Юрий Иринархович. К концу поездки, когда он нам изрядно надоел, мы начали называть его иначе, переделывая отчество на неприличный лад. При всем при этом он хорошо знал финский язык и помогал нам прилично вести себя в незнакомой обстановке.

Перед поездкой всю нашу группу собрали и провели подробный инструктаж, объясняя, что можно и что нельзя делать за границей. Например: нельзя ходить по городу в одиночку, а только вдвоем (в исключительных случаях) или группой. Нельзя разговаривать с посторонними ни в гостинице, ни на улице. Почему-то объясняли, что нельзя носить белое кашне, поскольку финны надевают его только на похороны. Ни у кого из нашей группы белого кашне не было, но об этом говорили очень долго.

И многое другое было нельзя. Я уже забыл, что именно.

Итак, мы сели в обычный поезд с обычным купе на четырех человек и тронулись в сторону неизвестности, в какой-то степени таинственной для нас страны Финляндии.

От Финляндского вокзала в Ленинграде до границы ехать недолго — несколько часов. В ожидании пересечения границы мы прилипли к окнам, вглядываясь в густые, абсолютно безлюдные заросли с поваленными кое-где деревьями нашей географической полосы.

Через некоторое время в вагон вошли наши и финские пограничники, проверили документы, поставили штампы в паспортах, поезд тронулся дальше и въехал в финскую погранзону. Финская погранзона заметно отличалась от нашей. Это были чистенькие, светлые поселки с хорошими дорогами, по которым мчались незнакомые нам иномарки. По поселкам свободно ходили пешеходы. Никаких военных или других признаков близкой границы нигде не было.

На невысоких деревянных платформах, установленных вдоль железной дороги, стояли большие бидоны, наверное, с молоком. Никто их не охранял.

Поразило нас и то, что на первой железнодорожной станции на пустынном перроне просто так стояли два чемодана. Никого из хозяев этих чемоданов видно не было.

Я вспомнил историю, которую мне как-то рассказывали, о том, что Илья Ефимович Репин, живший последние годы в Финляндии, решил вернуться в Советский Союз для того, чтобы умереть на родине. Якобы он послал в Ленинград сына на переговоры о своем возвращении. Как только сын вышел из поезда на перрон Финляндского вокзала с вещами, у него сразу же украли чемодан. После этого вопрос о возвращении Репина на родину отпал сам по себе.

В Хельсинки нас поместили в хорошей гостинице в центре города. По утрам был «шведский стол» на завтрак. Что такое «шведский стол», никто из нас не знал. Возможность накладывать на тарелку любую закуску в неограниченном количестве привела в неумный восторг членов нашей группы, что вызвало некоторое недомогание других посетителей ресторана, которые при этом присутствовали.

Еще одним приятным развлечением для нас оказались игровые автоматы, установленные в холле нашей гостиницы. Правила игры были очень простыми. Надо было опустить в прорезь мелкую финскую монету и ждать, когда, подпрыгивая на каких-то препятствиях, попадет в одну из прозрачных вертикальных стоек. Если монета попадала туда, куда надо, то все монеты, находящиеся в этой стойке, высыпались вниз и доставались удачливому игроку.

Я почему-то не играл в эту азартную игру, но члены нашей группы быстро сообразили, что наша советская пятнадцатикопеечная монета точно соответствует финской марке, и часами стояли возле автоматов, опуская нашу мелочь и тем самым не рискуя проиграть иностранную валюту, которой у нас, конечно, было очень мало. Мы берегли каждую иностранную копейку для того, чтобы порадовать близких и привезти хоть какую-нибудь приятную мелочь из-за границы.

Я помню, как однажды — правда, это было через несколько дней после начала

нашей поездки — мы оказались в маленьком городке. Вечером небольшая часть нашей группы решила перед сном погулять по городу. Мы забрели в здание пустующего вокзала этого городка. И тут неожиданно одному из членов нашей компании потребовалось пойти в туалет. Туалет на вокзале был платным. Надо было опустить в прорезь замка мелкую монету, и после этого дверь открывалась. Но тот, кому потребовался туалет, сделал большую ошибку: ему показалось, что он неплотно прикрыл дверь, поэтому он приоткрыл ее и захлопнул еще раз. Этого как раз нельзя было делать, потому что теперь, для того чтобы выйти из туалета, требовалось опустить еще одну монету. Но сделать это можно было только снаружи!

— Ребята! — услышали мы из туалета жалобный голос пострадавшего. — Опустите монетку, откройте дверь, выпустите меня.

Желающих пожертвовать монетку не нашлось.

— Подсунь монету под дверь, тогда мы откроем, — отвечали ему.

— Тут нет никакой щели, это не наши двери, — слышали мы в ответ в пустующем вокзальном здании.

Конечно же, мы под честное слово, что он вернет деньги, выпустили его на свободу. Нас, естественно, развеселила эта ситуация, но мне показалось, что нежелание пожертвовать финской монетой было вполне серьезным...

Случилось так, что после поездки по стране мы перед возвращением на родину попали в ту же гостиницу в Хельсинки. И я решил «под занавес» попытать счастья в игровом автомате. Я вытащил из кошелька последнюю финскую монету, опустил ее в прорезь автомата и стал наблюдать, как она перепрыгивает через препятствия.

Неожиданно монета попала туда, куда надо, и мне в ладонь высыпалась гора монет. К моему удивлению, все они были нашими пятнадцатью копейками, которые наши ребята опускали в автомат в первые дни нашего пребывания в Хельсинки.

В самом начале нашего путешествия я попросил нашего Юрия Иринарховича позвонить моему знакомому художнику, с которым познакомился не так давно во время его визита в Ленинград. Сам я звонить не рискнул, памятуя требования не вступать в контакты с иностранцами. Мой знакомый попросил передать трубку мне, сразу же сообщил свой адрес и сказал, что вечером ждет меня в гости.

Немного смущаясь, я спросил его: ничего, если со мной придут два моих друга?

Он не возражал.

Квартира, в которой жил художник, была действительно коммунальной, но, видимо, в финском понимании этого слова. В четырех огромных, прекрасно обставленных комнатах он, как выяснилось, жил со своей взрослой дочерью и очень страдал от этого.

Мы мило провели вечер, попивая незнакомое вкусное вино и разговаривая на разные темы. Он интересно рассказывал о финских обычаях. В частности, говорил о том, что существующая легенда о финской честности якобы связана с тем, что за воровство отрубали правую руку.

— Это чистое вранье, — говорил он. — За всю историю существования Финляндии не было ни одного упоминания о подобном случае. Просто финны — честные люди.

Мы так и не поняли, как, если им не отрубали руки, они стали честными людьми...

Затем мы осмотрели прекрасную коллекцию мелкой пластики, которую он собирал много лет, путешествуя по разным странам.

— К сожалению, — сказал он, — в Советском Союзе я нигде не мог купить какое-нибудь небольшое произведение скульптуры.

Я пообещал ему прислать чугунную пластину каслинского литья, которое можно

было у нас купить официально. Он слышал о каслинском литье, но в его коллекции таких образцов не имелось.

Через некоторое время, вернувшись в Ленинград, я выполнил свое обещание. Это едва не испортило моих дружеских отношений с Кагановичем, который ехал в Финляндию через короткое время с очередной группой туристов на такой же срок — двадцать один день. Я привез ему на вокзал для передачи финну двухфигурную чугунную композицию примерно сорока сантиметровой в высоту и очень тяжелую.

— Приедешь в Хельсинки, и сразу же в первый же день он приедет в гостиницу и заберет скульптуру, — сказал я Кагановичу.

Оказалось, что программа этой группы была построена иначе, чем наша. В Хельсинки они попали только в самом конце поездки, перед возвращением домой. И мой друг, проклиная меня, три недели таскал с собой мой чугунный сувенир.

Вика оказалась права в своих опасениях по поводу моей поездки за границу. Видимо, мой визит к финскому художнику, несмотря на то, что я получил разрешение нашего руководителя, да и он сам присутствовал на этой встрече и вместе со мной пил вкусное вино, вызвало недовольство у каких-то «органов», и меня после этого шесть лет не выпускали за границу. Все уже ездили с туристическими группами повсюду — и в Германию, и во Францию, и в другие страны, а мне постоянно отказывали, возвращая мое заявление с просьбой включить меня в качестве туриста в состав группы, отъезжающей в какую-нибудь страну.

Только в 1961 году мне неожиданно разрешили поехать в Англию. Это было удивительное путешествие, пожалуй, одно из самых запоминающихся и интересных.

Но это уже совсем другая история, о которой я подробно писал в книге «Интервью автора с самим собой».

Рассказывать сегодня подробно о Финляндии совершенно бессмысленно, поскольку эта страна стала хорошо известной благодаря громадному числу туристов, посещающих Хельсинки и другие города, большому количеству людей, совершающих деловые поездки, и просто обычных граждан, особенно петербуржцев, которые ездят в Финляндию на один-два дня, чтобы купить какие-то продукты или туалеты, которые там дешевле и лучше, чем у нас, на автобусах, такси или на личных автомобилях. А в тот первый приезд нам все казалось необыкновенно интересным и непривычным. Конечно же, побывали в каких-то музеях, и неожиданно для себя в одном из них в Хельсинки я обнаружил абсолютно незнакомые мне произведения Репина, которые он написал, видимо, уже находясь в Финляндии.

Мы посетили маленькие города, поразившие нас чистотой, ухоженностью, порядком и полным отсутствием пьяных.

По просьбе Вики я зашел в большой универмаг, чтобы купить для нее какую-то ткань, которая у нас не продавалась. На халатиках продавщиц были пришиты значки, обозначающие иностранные языки, на которых они говорят. Говорящих по-русски, естественно, еще не было. Я нашел ту, которая говорила по-немецки, и попросил показать нужную мне ткань. Она любезно показала мне несколько образцов, отличающихся по расцветке. Я же в основном смотрел не на ткань, а на цену и понял, что эта покупка не для меня. Продавщица была настолько любезна и внимательна ко мне, так старалась, чтобы я обязательно купил то, что мне нужно, что я совсем растерялся. Я вспомнил пустые полки наших магазинов, мрачных, неприветливых продавцов, но в данном случае мне надо было придумать какой-то повод, чтобы ретироваться.

— Спасибо, — сказал я, — но мне эти расцветки не подходят, мне нужна ткань такая же, но в желтую и красную клетку. Всего хорошего.

Я был уверен, что такой ткани у них тоже нет.

— Подождите, подождите, пожалуйста, я позвоню на склад, и сейчас же для вас поднимут нужную вам ткань в клетку, — и она указала мне на небольшой подъемник в стене.

Не помню, как мне удалось сбежать от такого обслуживания. Я даже подумал, что у нас в стране в какой-то степени жить намного проще.

Многое продолжало поражать меня в Финляндии. В каком-то городе я забыл в гостинице мой фотоаппарат «ФЭД». Причем фотоаппарат этот был не моим, я взял его у отчима Вики и должен был, естественно, вернуть в целости и сохранности. Купить в те годы фотоаппарат было очень сложно, так же как, например, часы, велосипеды и многое другое. Приходилось месяцами стоять в очереди в магазинах.

Я был убежден, что аппарат пропал и меня ждут по возвращении большие неприятности. Я рассказал об этой потере нашему гиду, когда мы уже находились в другом городе.

Путешествие наше продолжалось, мы посетили еще пару городов, и вдруг в очередном городе к гостинице подъехал большой пустой автобус, и шофер, который гнал его много километров, приехал специально для того, чтобы вручить мне забытый мною фотоаппарат.

Я не знал, как мне благодарить шофера, и подарил ему то единственное, что было привезено из Советского Союза, — позорный сувенир — маленький голубь из красной пластмассы.

Никаких других сувениров тогда в продаже не было. Это сегодня даже трудно себе представить, что наша группа с трудом нашла где-то этих уродливых голубей, купила почти всех и привезла в Финляндию в качестве сувениров.

Как все с тех пор изменилось! Достаточно взглянуть на бесконечные сувенирные ларьки, где продается все, начиная от матрешек с лицами наших президентов и кончая военными фуражками.

В городе Турку нас поселили в небольшой гостинице на центральной улице. На фасадах всех гостиниц, где останавливались иностранцы, тогда вывешивались государственные флаги тех государств, откуда они приехали. Естественно, что и на этой гостинице, среди других флагов, висел и флаг Советского Союза.

Вечером я вышел из номера в длинный полутемный коридор и с удивлением увидел, что из соседнего номера вышла абсолютно голая девица и перебежала в номер напротив.

Наш руководитель Юрий Ириархович, живший этажом ниже, рассказывал, что к нему ночью кто-то постучался в номер. Когда он открыл дверь, перед ним стояла также абсолютно голая девица. Утром он устроил скандал представителю туристической фирмы, принимавшей нас, и выразил протест по поводу того, что на фасаде гостиницы вывешен советский флаг, а внутри не гостиница, а публичный дом. Фирма принесла письменные извинения, правда, на финском языке, а для того, чтобы сгладить неприятное впечатление от нашего пребывания в Турку, устроила для нашей группы ужин в самом роскошном и дорогом ресторане города.

Лучше бы они этого не делали.

Когда мы сели за прекрасно сервированный стол с вазами цветов и горящими свечами, мы увидели, что справа от тарелок лежат три ножа, а слева три вилки. Да еще перед тарелкой лежали маленькая ложечка и маленькая вилочка. Сзади стояли официанты, готовые подать закуски и наполнить бокалы.

Никто из нашей группы никогда ни с чем подобным не сталкивался. Мы сидели не шевелясь, не зная, какую вилку или какой нож надо взять. Официанты наполнили бокалы, мы выпили не закусывая, потом выпили по второй. После этого дело

пошло на лад, и мы прекрасно поужинали, пользуясь только одним ножом и одной вилкой.

Может быть, потому, что наша группа была одной из первых, приехавших в Финляндию, к нам относились исключительно внимательно — наверное, хотели произвести хорошее впечатление.

Кроме обязательной, очень насыщенной программы, нас повезли на киностудию и показали замечательный чаплинский фильм «Король Нью-Йорка», который у нас еще долгие годы после этого не демонстрировали.

Фирма добилась своего: мы были в восторге от Финляндии. Нас поражало все: и чистота и порядок во всех городах, которые мы посетили, прекрасные дороги, отсутствие пьяных на улицах, хотя нас на инструктаже предупреждали, что финны — пьющая нация; доброжелательные и приветливо улыбающиеся люди на улицах. И мы даже ощущали довольно часто симпатию к нашей группе.

Мне запомнился один забавный эпизод, произошедший в холле одной из гостиниц. Юрий Иринархович беседовал с высоким благообразным мужчиной, одетым в черную сутану; я стоял рядом и ожидал, когда наша группа соберется для очередной экскурсии. В это время к ним подошел коренастый финн в рабочей одежде — видимо, сотрудник нашей гостиницы. Состоялся разговор, который позднее наш руководитель любезно перевел мне.

— Господин пастор, — сказал финн, — можете меня поздравить: у меня родился шестой ребенок.

А надо сказать, что в Финляндии существовал, а может быть, и сейчас существует закон, по которому за каждого родившегося ребенка, независимо от того, состоятельны родители или нет, государство выплачивало приличную сумму финских марок.

— Поздравляю тебя! Но так ты можешь разорить наше государство.

— Да, но ведь Бог велел нам плодиться, размножаться и заселять землю.

— Это правда, но ведь он не думал, что ты это сделаешь один!

Все это было сказано абсолютно спокойно, никто не засмеялся, даже не улыбнулся. Вот такой финский юмор.

Мы возвращались домой из первой поездки за границу под большим впечатлением от увиденного. Сейчас, наверное, даже невозможно представить себе наше состояние, поскольку поездка в любую страну кажется абсолютно обыденным делом.

Нас привезли на вокзал, и мы погрузились в вагоны. Кто-то из нашей группы опаздывал и бежал по перрону. На шее у него висела гирлянда из рулонов туалетной бумаги, которой у нас в Советском Союзе не было.

Первая остановка в Советском Союзе была Зеленогорск. Поезд стоял какое-то время, и мы побежали в ресторан, соскучившись по нашей еде. Финны вообще последний раз едят в шесть часов вечера. Это нас очень огорчало.

Мы заказали по тарелке щей, и официантка сразу же вылила полтарелки на мой костюм. И не извинилась.

Я сразу же почувствовал себя дома...

Эти сумбурные воспоминания о моей первой поездке за границу вряд ли кому-нибудь покажутся интересными. Но мне хотелось вспомнить те годы, о которых теперь уже мало кто знает. О том, как мы тогда мечтали хоть одним глазком увидеть за границу, каким унижениям мы подвергались, когда уже появилась возможность выезжать в составе туристических групп, и нас перед каждой поездкой вызывали в райком партии на заседания комиссии, где нам задавали дурацкие вопросы, например, «какими орденами награжден Ленинград» или «как фамилия секретаря компартии Уругвая»... И от того, как ты ответишь на эти вопросы, зависело, можно ли тебе выезжать за границу или нет.

Рассказывают, что Аллу Пугачеву на заре ее артистической карьеры вызвали на выездную комиссию, и один из членов задал ей подобный вопрос.

- Я не знаю, — ответила Пугачева.
- Тогда мы не можем разрешить вам выезд.
- А вы знаете?
- Я знаю, — с гордостью ответил член комиссии.
- Ну, тогда езжайте и пойте, — не растерялась Пугачева.

Когда я в семидесятые годы работал над большим памятником Ленину для Дрездена, мне приходилось часто выезжать в ГДР для решения всевозможных творческих и производственных вопросов. И каждый раз меня вызывали на выездную комиссию, и каждый раз те же самые вопросы.

И когда мы наконец начали ездить за границу, какими униженными и жалкими мы себя чувствовали, передвигаясь по улицам только группой, только с руководителем, одетые почти в одинаковые длиннополые немодные пальто, с завистью заглядывая в окна переполненных кафе, где за столиками сидели свободные и веселые люди, а мы не могли себе этого позволить, во-первых, из-за отсутствия денег, и, во-вторых, боясь сделать какой-нибудь неверный шаг, после которого дорога за рубеж будет для нас закрыта навсегда.

К счастью, все это было в далеком прошлом.

Вот об этом прошлом я и хотел рассказать сегодня с надеждой на то, что такое время больше никогда не повторится.

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Елена АЙЗЕНШТЕЙН

«ВДОЛЬ ОСТРОВОВ ВЫСОКИХ И ВЕСЕЛЫХ».

О поэзии Ольги Седаковой

Об Ольге Седаковой говорить сложно; когда, представляя ее слушателям, начинают перечислять ее звания, делается как-то неловко, просто от количества времени, которое на это уходит, но она спокойно выслушивает этот длинный список, начиная улыбаться только на «докторе богословия» — звании, для нее почетном. Ольга Седакова — явление в нашей литературе редкое и, наверное, одинокое. Она как бы продолжает традиции своих предшественников сразу в нескольких направлениях, становясь связующим звеном с поэзией Тютчева в XIX веке, с русской поэзией первой половины XX века (Мандельштам, Ахматова,

Елена Оскаровна Айзенштейн — автор книг о Цветаевой: «Сны Марины Цветаевой» (2003), «Стенограф жизни» (2014), «Воздух над шелком» (2014), «Сонаты без нот» (2014) и др. Публиковала статьи о русской поэзии XX века на страницах «Невы», «Звезды», «Литературной учебы». Живет в Ленинградской области.

Пастернак, с русской лингвистической и философской мыслью как ученица Аверинцева, Лотмана, современница М. Л. Гаспарова, она связывает нас и с итальянской и европейской литературой, будучи постоянным почитателем и читателем Данте. Редкость и одиночество Седаковой в ее верном и устойчивом интересе к прошлым эпохам и культурам. Молодые люди XXI века, интересующиеся современной философией, воспринимают Седакову духовным учителем, поэтом, своим творчеством помогающим находить пути существования души в XXI веке. Вместе с тем Ольга Седакова — представительница поэтического поколения той неформальной культуры, которая с трудом пробивала себе дорогу во второй половине XX века, поэт поколения Е. Шварц, И. Бродского, В. Кривулина. То, что долгое время поэзия эта находилась под запретом, не издавалась, наложило отпечаток не столько на поэзию, сколько на эссеистику О. Седаковой, в которой невозможно не почувствовать не столько обиду на время, сколько постоянную иронию поэта по отношению к официальной литературной власти и желание ей противостоять. Не так давно изданный четырехтомник Седаковой (М., 2010), на который далее мы будем ссылаться, дает представление о масштабе многообразного ее творчества. Отечественная словесность обязана Седаковой переводами средневековых памятников (Послания св. Антония Великого), произведений литургической поэзии, того, что большая часть наших читателей совсем не знает или знает очень мало (см. 2-й том четырехтомника). Седакова — переводчица стихов Эмили Дикинсон, Рильке, Клоделя, Целана, Элиота, в своих переводах старается передать метафизический «воздух» первоисточника, что особенно ценно, хотя к переводческой работе Седакова относится снисходительно, как к не совсем совершенной (переводчик и предатель на итальянском языке — слова близкозвучащие). Мне кажутся замечательными некоторые ее литературоведческие работы, в частности о Пастернаке, анализ стихотворения «Чудо», сопоставление двух романов — «Идиота» Достоевского и «Доктора Живаго» Пастернака. Блестяще сравнение «Фауста» Гёте и «Доктора Живаго»¹. Вероятно, Пастернак — самая родственная фигура для Седаковой среди поэтов XX века, которого объединяет с ним не только философская и христианская составляющие мышления. Если Пастернак, в юности отошедший от философии, приходит к поэзии, то у Седаковой философия и поэзия сосуществуют, почти не мешая друг другу. В своих философских статьях автор утверждает необходимость духовного совершенствования, выступает против так называемого понятия среднего человека, зла посредственности, утверждает возможность и необходимость счастья. Понятия свободы, европейской традиции дружбы, героики эстетизма, веры, времени, права, надежды, силы искусства оказываются в центре внимания Седаковой. Тематика ее философских работ тесно связана с поэтическими текстами, на которые я хочу обратить внимание читателя, представленными в первом томе ее сочинений, разделенном автором на двенадцать частей: разделы книги отражают литературный путь и в то же время оставляют впечатление незавершенности. «Язык сердечных крепостей» (1, 360) в стихах Седаковой говорит на темы жизни, смерти, бессмертия, природы, Бога и творчества. Отличительными особенностями ее поэтики можно назвать мышление сквозными, часто библейскими символами, развитие текста через интертекстуальные источники, в том числе ритмические, стремление к тому, чтобы ритм стиха был абсолютно продиктован поэтической, творческой задачей, метафоричность мышления, постоянное присутствие в тексте философского ядра.

¹ Все цитаты из произведений Седаковой приводятся по четырехтомнику с указанием тома и страницы в тексте.

«Selva selvaggia»

Начать мне бы хотелось с триптиха О. Седаковой «Selva selvaggia», входящего в раздел «Дикий шиповник», с подзаголовком «Легенды и фантазии». Первая часть названа «Пробовды», вторая — «Возвращение блудного сына», третья — «Баллада продолжения». Название триптиха «Selva selvaggia», в переводе автора, «Частая чаша» (итальянск.) (название связано с началом «Божественной комедии» Данте), отмечает тему цикла: тему пути человека по жизни как по чаше страданий и слез, чаше знания, которым должен причаститься человек — «мелкокрылая» тварь²: «И с тварью мелкокрылой и печальной / душа слетается к лучу» (1, 65). Первая часть триптиха посвящена памяти Михаила Хинского. Эта попытка монолога от лица умершего, который рассказывает о своем посмертном пути. Душа умершего воспринимается как «разорванная связь» между Богом и людьми. Начальный образ: «Из тайных слез, как из копилки тайной, / как будто шар нам выдали хрустальный» (1, 65) — объясняет, что поэт воспринимает посмертное бытие как подарок, утешение, когда душа, как плачущий ребенок, не надеется на награду. Собеседник автора, в котором соединяются черты потерянного друга и Христа, говорит о том, что он, как свечу, несет в руке то, что люди скрывают внутри³. В умершем душа оказывается вне, тогда как в земном человеке она внутри: «...я в руку взял / то, что внутри вы жжете» (1, 65). Образ лесной воды предстает символом жизни и Бога и проходит через весь триптих. Водой, которая может утолить человеческую жажду, наполнен сам человек: «...не я ли жил, не я ли был водою / и сам себя отобразил в конце...» (1, 69). Свеча начальных строк «Пробовдов» превращается в конечных строках в образ горящего света Благодарения, света, с которым соотносится встреча души с Богом. Переход в новую жизнь осуществляется усилием воли умершего («малый свет усилья и вниманья»), который идет к свету не для покаяния. Четверговая свеча — это свеча любви к Христу и знак его страданий, которую зажигают на Всенощной в Чистый четверг, когда читают 12 евангелий. Таким образом, переход души связан с вниманием к тому, что открывается душе красота влюбленного мира: «Промой же взгляд, любовью воспаленный, / и ты увидишь то, что я: водой прекраснейшей, до щиколоток влюбленной / полна лесная колея» (1, 66). В то же время этот путь души не совсем самостоятелен: «...по просеке, по потайному входу, / раздвинутому веществу, ведут меня» (1, 66). Одновременно в первом стихотворении триптиха присутствует и лирическое «я» автора, который идет «в одежде поминальной».

Вторая часть «Возвращение блудного сына» названа автором канцоной, жанром старинной итальянской поэзии, в котором писали Петрарка, Кавальканти, Данте. Буквальный перевод слова «канцона» — песня. Вспоминается в канцоне Седаковой и само старое время итальянских поэтов: «Иди, канцона, как тебе велят, / как в старину, когда еще умели, / одним поступком достигая цели, / ступить и лечь» (1, 66). К жанру канцоны в русской поэзии обращались В. Брюсов, М. Кузмин, О. Мандельштам⁴, но Данте должен быть особенно близок, поскольку именно в его творчестве канцона приобрела философский характер. В канцоне Седаковой 21 стих (так по-

² Вероятно, образы мелкие, насекомого, кузнечика связаны с «Фаустом» Гёте, где летающей, поющей цикадой, «Zikaden», называет человека с презрением Мефистофель.

³ Образ, близкий стихотворению Заболоцкого «Гроза идет».

⁴ О канцоне в творчестве Мандельштама («К пустой земле невольно припадая...») см.: Прощальные стихи Мандельштама. «Классика в неклассическое время» — беседа Ольги Седаковой: <http://www.pravmir.ru/proshhalnyie-stihi-mandelshhtama-klassika-v-neklassicheskoe-vremya/#ixzz303z3MbCF>

строены четыре ее части), только в пятой части семь стихов в строфе, как в провансальской канцоне. В традиционной старинной канцоне было от пяти до семи стихов, а канцоне Данте свойствен одиннадцатисложный стих.

Темы провансальских канцон — восхваление любви, прославление возлюбленной, печаль от разлуки. У Седаковой темой канцоны является тема метафизического странствия души, блудного сына, который идет к Отцу. Автор посылает свое стихотворение вместо себя, как посла:

И путь смущения и уничтоженья,
который, может быть, и я пройду —
но ты пройди, канцона. Если ж нет
в тебе терпенья — нет и нам прощенья,
и мы лепечем, как дитя в бреду,
и променяли хлеб на лебеду. (1, 66–67)

Неразумный человек, ребенок-поэт, блудный сын променяет «хлеб на лебеду», Христа — на горечь оставленности, если не сможет заслужить прощение Отца, если у него не хватит терпения на духовные поиски. Путь этот — путь свободного выбора, который сужден с детства. Во второй части канцоны Седакова видит человека-поэта ребенком, который томится в жару скарлатины. Как этот ребенок, поэт видит себя участником сказки Гауфа «Карлик Нос». Алхимическое варево котла колдуньи похоже на страшную смесь, в которой в жизни оказывается душа. Образ колдуньи напоминает о любви к алхимии Е. Шварц⁵. В сказке Гауфа в белку колдунья превратила мальчика, который должен был варить для нее обед. У Е. Шварц многократно встречается образ белки в качестве символа поэта и его бытия⁶. Позже у Е. Шварц появятся стихи «Сельвы позднего лета» (9 августа — 9 сентября 2007 года), вызванные триптихом «Selva selvaggia» Седаковой, поэтому можно предположить сознательную переключку О. Седаковой с поэтическим миром Е. Шварц:

Когда произношу я слово «сельва»,
Я мимолетно вспоминаю вас
И думаю о том, что между нами
Всю жизнь идет бесшумный темный дождь. (3, 151⁷)

Слово «се-ль-ва»⁸ вбирает начальные слоги фамилий «Се-дакова» и «Ш-варц», а между ними «ль», тот льющий дождь, который символизирует лирику. Первое стихотворение этого цикла, посвященное О. Седаковой, переключается с началом «Божественной комедии» Данте, а заканчивается упоминанием Лоренцо Великолепного, слагавшего сельвы. Моток пряжи Лоренцо — образ Ариадниной нити стихотворения, по которой невозможно выйти из лабиринта жизни и найти дорогу. Седакову и Шварц объединяет клубок, перенятый обеими от Лоренцо Великолепного, от Данте. Поэты сами выводят себя из лабиринта, хотя Карлику стать высоким, больному здоровым непросто. Это долгий путь — через луга, репей, крапиву, через хлеб в истинный дом:

⁵ См. алхимические образы в ее творчестве, например, «Алхимия духа».

⁶ Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье «Покрывала Саломеи».

⁷ Е. Шварц. Сочинения. В 5 т. СПб.: Пушкинский фонд, 2002–2013.

⁸ Итальянское «Selva» и латинское «Silva» — лес, роща и жанр ренессансной поэзии.

И тут
дорога будет выбрана зрачками,
и выпрямится островерхий дом.
И кто нам говорил, что мы умрем? (1, 68)

Как Карлик Нос, семь лет не видевший отца и матери, из-за колдовства словно уснувший, блудный сын-поэт должен расколдоваться, найти целебную луговую траву. В четвертой части канцоны лирический герой оказывается проснувшимся от сна, видит перед собой домочадцев, которые толпятся в сердце, и встречает у порога отцовского дома самого себя:

Но кто, как сердце, около отца
к нему выходит? — и перед *собой*
он падает, как зеркало кривое,
и трогает морщины на лице:
не я ли жил, не я ли был водою
и сам себя отобразил в конце... (1, 68–69)

В сказке Гауфа в зеркало смотрится мальчик, не зная своего лица и уродливого носа. У Седаковой зеркало — символ творчества, которое и есть отражение души. Сын, который вернулся к самому себе «и сам себя отобразил в конце», — лирическое высказывание, отображающее душу, как канцона — отражение сердца поэта. Если в сказке «Карлик Нос» сына в обличье карлика не узнали мать с отцом и отказались от него, то в канцоне Седаковой встреча с Отцом происходит:

И милует, и гладит колыбель.
И кажется, и движется купель:
— Где б ни был ты — ты был, как луч в луче,
в горячем плаче на моем плече. (1, 69)

Четвертая часть канцоны завершается мыслью о том, что человек не оставлен Отцом, связан с ним, как луч с лучом, как кровь с кровью: «Мы, как слепцы последние, идем — / как зренье, сделанное веществом (1, 69)». На картине Рембрандта изображен слепой отец, обнимающий сына. У Седаковой слепцом является блудный сын. И канцона для автора — его блудный сын, нечесаный, непонятный, пытающийся выразить его душу. Поэт прощается с канцоной не как с лучшим в себе, а как с тем, что впитало его слабость: «Прощай, канцона. Гордому уму/ не попадайся, чтоб не различали/ худых одежд, нечесаных волос» (1, 69).

В старину было принято заключать канцону обращением к некому лицу, которому была адресована канцона, или просьбой, например, доставить послание адресату. Замыкающие строфы назывались торнадами (поворот — итальянск.). Они получили название «Посылка», где могло звучать обращение к другу или confidentу. Так у Седаковой в торнаде звучит обращение к умершему другу, которому канцона должна передать привет:

А друга встретишь — поклонись ему.
как Бог судил, как люди научили,
как сердце разломилось и срослось.
И поклонись, и выпрямись без слез. (1, 69)

Заключительной, третьей части триптиха Седаковой «Selva selvaggia» предшествуют три эпиграфа: «И путник усталый на Бога роптал ...» Пушкина, «В пустынных степях аравийской земли...» Лермонтова и «Он шел из Вифании в Иерусалим...» Пастернака. В этой части Седакова использует музыкальный мотив, построение строфы стихотворений Пушкина и Лермонтова, шестистрочную строфу «Подражания Корану» и «Трех пальм». У Седаковой: «И страшно и холодно стало в лесу». В стихотворении Пастернака шестистрочная и четырехстрочная строфы меняются. Начальное «и страшно...» Седаковой как бы продолжает тему Пушкина. Действие продолжается, и тот же странник, но уже в новом веке идет по пустыне, для того чтобы пропеть свою «Балладу продолжения», продолжение вечной истории о человеке и Боге, о природе творчества. Слово «баллада» проводит параллель с третьим стихотворением эпиграфа, точнее, с Б. Пастернаком, автором «Баллады» и «Второй баллады». Таким образом, назвав свое стихотворения «Балладой продолжения», Седакова стремилась передать преемственность своего произведения, а может, близкое Пастернаку ощущение:

Я — черная точка дурного
В валящихся хлопьях хорошего⁹. («Баллада», 1916, 1928)

Помимо этой философской темы, обоих поэтов объединяет отношение к детству и к творчеству. И для Седаковой поэт — ребенок, которому трудно привыкнуть к аду взрослого мира:

Спи, будь. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят¹⁰. («Баллада», 1930)

Поэта сновидцем воспринимает и Седакова, поэтому ей должно быть близко пастернаковское:

Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взял в науку к исполину,
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят¹¹. («Баллада», 1930)

Эти строчки Пастернака перекликаются со второй частью триптиха Седаковой, где упомянута сказка Гауфа. Для Седаковой музыка родственна поэзии, поэтому слово «баллада» из ее названия должно связываться, как для Пастернака, с музыкой, с Шопеном, с детским узнаванием самого главного: «Но и до того, уже лет в шесть, / Открылась мне сила такого сцепленья, / Что можно подняться и землю унести»¹². Мотив детского знания, знания о главном именно с детства, присутствует в «Возвращении блудного сына», когда автор говорит о своем пути в жизни как о предназначенном с самого детства, что во взрослой жизни часто снится. Лирическому герою Седаковой «и страшно и холодно», как ребенку в детстве. Подобно Христу, шедшему у Пастернака из Вифании в Иерусалим, человек-поэт у Седаковой

⁹ Пастернак Б. Собр. соч. в 5 т. Т. 1. С. 95.

¹⁰ Там же. Т. 1. С. 386.

¹¹ Там же. Т. 1. С. 385.

¹² Там же. Т. 1. С. 95.

идет и боится («и дрогнет душа от собачьего лая»). Сонная тема дается здесь через образ засыпающей жизни, которая наклоняется к идущему, «как к ребенку». Но пробуждение в стихах Седаковой происходит не в ад жизни, не в природный дождь, как у Пастернака, а во встречу с Христом, который разговаривает с ребенком-поэтом: «Я ум и свобода...»

У Пушкина путник усталый шел по пустыне три дня и три ночи, дошел до пальмы с колодцем, выпил воды, лег, заснул и многие годы проспал, а потом проснулся, и голос сказал ему, что путник проспал всю жизнь и стал старцем. И когда путник огорчился этим, произошло чудо, Бог снова сделал его молодым и вернул ему счастье жизни: «Минувшее гордо в красе оживилось».

У Лермонтова в «Трех пальмах» три пальмы жалеют о том, что в аравийской пустыне им суждено гибнуть никем не замеченными, а ручей льет свои воды напрасну. И вот появились люди, но пальмы не успели обрадоваться их приходу, как были срублены и сожжены. Если у Пушкина звучит тема чуда и Божьей помощи, то у Лермонтова речь о неблагодарности и о возмездии за неблагодарность. У Пушкина ропот путника оборачивается помощью Бога. У Лермонтова ропот пальм вызывает их гибель.

Вместо пушкинского колодца, лермонтовского ручья у Седаковой — современный стакан, «в стекле из природы», символ души, безумный стакан «из слабости», то, что может действовать на человека как ртуть, как яд пушкинского анчара. Судьба человека-путника подобна стакану с водой «в стекле из природы и слабости». Лирический герой стихотворения Седаковой — путник, который идет по лесу, подобном тому, в котором находился герой «Божественной комедии» Данте, разговаривает с Богом и находит дом в его доме. На пороге его встречает Тот, не названный по имени Христос, который говорит ему: «Я ум и свобода» — и приглашает войти. Засыпает земное «я», просыпается «ребенок-душа, то есть подлинное «я» человека, в нем просыпается Бог, Тот, «кто в доме уснул», и встречает человека-путника, как Отец встретил Христа. Христос становится таким встречающим человеку. Богу Отцу «не жалко» для человека «хлеба», потому что он ему сын, то, чего не успел на земле Христос. Путь в дом Бога соотносится с путем мальчика в сказке Гауфа в предыдущей части. Необходимо понять, где истинный дом, где Христос. Разница в том, что и в первом доме (мнимом, колдовском) тоже накормят и предложат хлеба, но в первом это обман и насилие, как в сказке о карлике, во втором — свобода выбора входящего: «Я ум и свобода, / я все, чего нет у тебя впереди. / Но хлеба не жалко, и ты заходи». (1, 70). Если во второй строфе человек уподоблен ребенку, то в четвертой строфе перед нами старик, «пораженный / худым долголетием», расплескавший стакан; похожий на пушкинского странника. Это состарившийся путник. Христос для Седаковой подобен старику и влюбленному, которые каждый по-своему растратили себя. Бог для человека — «все, чего я не узнал. / ты ум и свобода, ты полное зренье» (1, 71). Бог осуществляет себя через человека, который оказывается торжеством его творения. Расплесканный стакан — вода, утоляющая духовную жажду Бога, который оставляет человека как своего ученика вместо себя, напитав своими умом и свободой, дав ему свою кровь. Бог, отвечая человеку, произносит, соглашаясь: «— Я ум и свобода, но ты — торжество» (1, 71). Автор намеренно использует в стихотворении местоимение третьего лица, от чего образ идущего Христа и образ лирического героя сливаются. Это сделано для того, чтобы показать их сходство. Поэтому не совсем понятно в четвертой строфе стихотворения, кто падает: Христос или странник: «и знал, что упал, и стакан расплескал» (1, 70). Если падает Христос, тогда он так же слаб, как человек. Если падает странник, Христу, может быть, все равно, это уже свершилось («а он не просил и не

помнил о том»). Человек — глаза бога, его «кровотечение». Бог для человека — торжество силы. Ум и свобода есть и у человека, но у него гораздо меньше силы, поэтому он чувствует необходимость защиты, как ребенок в детстве.

Третий эпиграф к «Балладе продолжения» взят из стихотворения «Чудо» Пастернака, где вместо путника — Христос, который идет из Вифании в Иерусалим, томимый предчувствиями. Навстречу ему попадает смоковница. «О как ты обидна и недаровита, — говорит Христос и почему-то добавляет: — Останься такой до скончания лет». Христом в этот момент владело уныние, и смоковница этого уныния не сняла с его плеч. «По дереву тень осужденья прошла», смоковница оказалась испепеленной словами Христа, ее ждала участь трех пальм Лермонтова. Почему на молитву и ропот человека Бог отзывается (пушкинский странник), а на мольбы дерева нет (три пальмы, смоковница)? Почему Христос так безжалостен к дереву, пусть даже бесплодному? Где здесь любовь и прощение? На одно из самых загадочных мест Евангелия Пастернак не находит ответа, пытаюсь объяснить чудо испепеленного дерева отсутствием «минуты свободы», когда не успели вмешаться законы природы, которые должны быть сильнее, чем слово богочеловека, но недоброе чудо происходит, дерево гибнет. Пастернак считает, что времени не нашлось у самого дерева, смоковница погибла от собственного нежелания преобразиться:

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятенье, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох¹³.

Тема отсутствия времени звучит и в стихотворении Седаковой («И некогда было еще...»), но у нее вместо смоковницы — ольха — дерево, растущее по берегам рек и ручьев, связанное с временем весеннего равноденствия, возрождения, плодородия, по календарю друидов, ольха соответствует 18 марта — 14 апреля. Ольха мало поддается гниению, в древности дерево использовалось для очищения крови, применялось для строительства зданий и мостов, в качестве свай. Кроме того, по древним поверьям, в ольхе находилась дверь в царство эльфов. В кельтской мифологии в древнем мифе «Битва деревьев» ольха сражается в первых рядах, что говорит о присущей архетипу ольхи храбрости. Люди Ольхи — сильные личности. Не таков сомневающийся, робкий, всего боящийся герой Седаковой (отметим звуковое родство имен *ольха* — *Ольга*, вероятно, важное для поэта). Образ ольхи связан с еще одной знаменитой балладой, балладой Гёте «Лесной царь», где Ольховый король, Erlkönig (*die Erle* — *ольха*), Лесной царь, зовет больного ребенка в свое царство. Тема Лесного царя звучит неназванно уже во второй части триптиха, там, где речь идет о больном: «Ты будешь с нами в спрятанном лесу». Ольха еще — образ цветущего дерева, поэтому Поэт тот, кто дарит человечеству не плоды, а спасающую красоту, которая помогает блудному сыну найти истинную дорогу, найти Христа.

Три части триптиха Седаковой объединяет тема поиска Бога. В первой части — умершим. Во второй части — блудным сыном. В третьей — лирическим героем. В «Проводах» слово «свобода» звучит в начале триптиха, когда умерший идет за черту последней свободы. Слово «свобода» является почти последним в заключи-

¹³ Там же. Т. 3. С. 534.

тельной части: «Я ум и свобода, но ты — торжество». Получается, что сам человек свободен в своем выборе, быть ли ему смоковницей или ольхой. В «Элегии смоковницы» (1987–2004), обращенной к поэту Ивану Жданову, звучит мысль о милосердии Бога. Сочувствуя кусту, О. Седакова пытается понять Божью кару. Вина дерева в том, что оно не просило прощения за свою пустоту. Автор полагает, что Христос не радуется смерти смоковницы: «...не вижу того, кто сказал бы ему: Поделом» (1, 381). Христианский и философский смысл этого эпизода в том, что тот, «кто просит прощения —/ однажды будет прощен» (1, 381).

Ольга Седакова постоянно размышляет в стихах о христианских категориях, но она против использования по отношению к ее творчеству понятия «христианский поэт»: «Меня теперь однозначно относят к религиозной поэзии. Я всегда сторонилась этого термина, потому что он предполагает какую-то „специализацию“, тематичность, а мне бы этого не хотелось. Религиозность искусства (если вообще можно говорить о его религиозности) — более широкое понятие, чем какая-то содержательная определенность. <...> Назвать себя „религиозным“ или „православным“ поэтом значило бы ручаться каким-то образом за каноничность, за соответствие собственных сочинений доктрине. Этого я делать никак не могу. Это, по-моему, просто бессовестно. Поэзия для меня немыслима без открытости смысла, тогда как „религиозность“ искусства в расхожем представлении — это некоторая заданность, ангажированность и знание того, чем дело кончится¹⁴. В триптихе «*Selva selvaggia*» автор открывает читателю свое представление о Божьем царстве и о месте человека в нем. Несмотря на свою мелкокрылость, малость, человек пытается идти к Богу, как поэт в творчестве, как ребенок, как больной, преодолевает препятствия на этом пути, и его путь — путь свободы, избавление от лягушечьей кожи неистинного лица души, и на этом пути ему помогает Бог. Зрительно это предстояние перед высшим началом изображает скульптура Отца и блудного сына, где поэт — блудный сын, который вечно плачет на плече Отца.

«Chat seraphique, chat etrange»

Любовь к кошкам часто выражается в произведениях О. Седаковой, и очень забавны некоторые ее шуточные стихи о котах, а одно из самых замечательных последнего времени — про кота Мюссе, который пишет эссе. Заочно представляешь себе кота знаменитого поэта не обычным котом, а существом тонким, интеллигентным, если не пишущим эссе, то хотя бы читающим и как-то понимающим человеческую речь, обладающим почти человеческим разумом. Видимо, О. Седакова воспринимает любимых тварей именно так. В разделе «Дикий шиповник», после «Первого музыкального антракта», помещено стихотворение «Кот, бабочка, свеча» — стихи на смерть одного любимого кота. Стихотворению предпослан эпиграф из Бодлера «Chat seraphique, chat etrange». По-английски «chat» — болтать, поэтому французский эпиграф воспринимается метафорически: любимый кот побуждает поэта к серафическому, метафизическому разговору. У Бодлера кот бродил не по комнате, а в его мозгу. У Седаковой тоже кот бродит только в голове, потому что любимейшее существо умерло и в комнате присутствует только как воспоминание. Взгляд в зеркало творчества — поворот времени вспять, выплескивание жизни, глядение в себя, «в Нарциссово стекло», возвращение туда, «где все произошло»; сначала серафическое молчание («кот серафический, молчащий»), а затем ныряние в увеличительное стекло сна, в котором душа оказывается в сиянии того, что

¹⁴ <http://read24.ru/fb2/valentina-poluhina-brodskiy-glazami-sovremennikov/>

она любит. «Свеча бесценная кошачья» — свет памяти о любимом существе, который озаряет душу поэта, золотое видение, которым душа оплакивает потерю, и свет творчества: «...я слабое повествование / зажгу, как свечку на свету» (1,85). Древний дар творчества сравнивается с плаванием аргонатов за золотым руном, с кошачьим зрением, с волшебным серебром гадательного зеркала, с бабочкиным полетом. Поэты видят в увеличительных зеркалах творчества «лица невиданного тень» (1, 86). Поэт похож на кота, на бабочку, на свечу, на Нарцисса одновременно. Самоуглубление, сновиденье, свечение внутренним светом, самоотражение — так Седакова определяет творчество.

Другое стихотворение про кошку «Взгляд кота» корреспондирует с предшествующим своим названием, оно обозначено в книге как «Второй музыкальный антракт». В стихотворении «Взгляд кота» поэт утверждает, что коты инстинктивно чувствуют то, что поэты выражают словесно:

Когда, прекрасный кот, ты пробуешь в окне
пространства опытность и силу,
внутри как свет зажгут и размахнут во мне
живое, мощное кадило.

Я думаю, что мир не глядывал в букварь
и чуда письменность напрасна.
Но чуть внимательна уверенная тварь —
и жизнь, как лестница, опасна. (1, 117)

Для поэта — кошка — учитель смелости, может быть. Походка кота — траектория и движения души лирической героини, пути поэта и его языка, в котором лирической героине хотелось бы быть такой же свободной, уверенной, прекрасной:

Походкою кота (как бы само пространство
позволило себе забытую игру)
ты, речь моя, иди, ты между трезвых пьянствуй
с огнем, горящим на ветру. (1,118)

Движение кота доставляет смотрящему на него из окна удовольствие. Путь самого поэта также должен кому-то доставлять радость, тому, кто смотрит на его шаг — радость «умных сил», восхищенность умением дать в стихах «многоволнующий алмаз» видения. Не только Бог сверху, читатели снизу тоже смотрят на поэта, и это его присутствие радует, уничтожая страхи, даруя анестезию творческого слова читателю, вступающему в общую с поэтом творческую дионисийскую игру. Кот для автора — символ любви, которая соединяется для него с христианским чувством, не случайно в стихотворении образ кошачьего хвоста — «живое мощное кадило», а душа всякого живого существа подобна храму, в котором живет любовь.

«Речка поет с неразомкнутым ртом»

Седаковой близки музыкальные образы, музыкальные метафоры, недаром стихи, написанные в Азаровке, имеют подзаголовок «Сюита пейзажей». Музыкальная сюита предполагает собрание танцевальных пьес, контрастирующих друг с другом, где между частями нет явной смысловой связи, как в сонате или симфонии, но их объединяет некий общий мотив. Для Седаковой таким объединяющим

мотивом оказывается мотив красоты природы. Сюита, возникшая в XVI–XVII веках, состояла из двух танцев, паваны и гальярды, затем сюиту составили четыре танца: аллеманда, куранта, сарабанда и жига, этот список позже расширился. Седакова включила в свою сюиту двенадцать стихотворений, таким образом, список «номеров» в ее сюите соответствует календарному году, хотя в описаниях природы, кажется, дано только лето. Музыкальная сюита создавалась на основе чередования контрастных частей, в которых композиторы стремились к сохранению единой тональности¹⁵. Если говорить о единстве сюиты поэтической, то это единство создается на основе строфической организации стиха, его «музыкальностью».

Название каждой части сюиты: «Поляна», «В кустах», «Ивы», «Холмы», «Высокий луг», «Деревня», «Вещая птица», «Лесная дорога», «Овраг», «Небо ночью», «Сад» — уводит автора из реального пейзажа к размышлению о Прошлом русской поэзии и русской культуры, в метафизическое измерение, в сны о мертвых, в разговор с теми силами, которые выбрали поэта своим посланцем, с ночным небом, в котором поэт изумляется черному шитью «цветной красоты, распростившейся с цветом». В первом стихотворении сюиты родник — символ веры, любви и творчества; автор видит себя в толпе тех, кто толпится у входа в Божий храм природы. Во втором четверостишии приближение к роднику природы дано через образ приближения к иконе («свет троеручный жаленья и славы / и боли». 1, 119), к иконе Богородицы-Троеручицы. Читателю могут вспомниться трехголосные баховские сюиты¹⁶, сюиты Моцарта, чье имя упомянуто в тексте: «Чтоб Моцарт Горация перепевал» (1, 119). Метафорически таким трехголосием, возможно, являются голоса природы, музыки и поэзии. Природа для автора — родник творчества, кастальский ключ, который поит его и вбирает родник души, отдающий назад в слове эту узанную красоту, «измененную чашу», от благодарности за «сердце промытое наше», «чтоб Моцарт Горация перепевал». «Сюита пейзажей» Седаковой очень родственна пастернаковским пейзажным стихам, тургеневским пейзажам (не случайно вспоминается героиня «Дворянского гнезда») прежде всего любовью к природе и точностью описаний, восторгом и смысловой наполненностью:

Виньетка в стране, где не рос виноград!
 Но все же когда-нибудь это умели,
 когда соловей задохнулся, как брат,
 обрушивши в пруд неухоженный сад,
 над Лизой, над лучшей из здешних Офелий. (1, 120)

Природа оказывается повисшим передвижным зеркалом, которое показывает поэту его душу, а луна — большим окном в мироздание. Творение так совершенно, что в нем нашлось место для каждой мелочи, для всей «тайной любви», которую отмечает поэт, что, «как кровь, отзовется в крови» (1, 124), о чем еще напишутся стихи, что «дорогу покажет и крикнет в овраге» (1, 124). Поэту представляется, что в сотворенном мире «нет никого, кто звездой не отмечен», природа прекрасна в любом наряде, темном или светлом, днем или ночью. Последнее стихотворение «Азаровки» — «Сад» — представляет собой описание реального сада и метафори-

¹⁵ Слово «сюита» французского происхождения. В Англии танцы-сюиты назывались *lessons* (Г. Перселл), в Италии — *balletto* или *sonata da camera* (А. Корелли, А. Стеффани), в Германии — *Partie* (И. Кунау) или партита (Д. Букстехуде, И.-С. Бах), во Франции — *ordre* (Р. Куперен). БСЭ.

¹⁶ Бах, в переводе с немецкого, — ручей.

ческого — сада творчества¹⁷. Конечно, вспоминается при этом стихотворение «Сад» Цветаевой (любимая Цветаевой Таруса от Азаровки недалеко территориально). Если у Цветаевой это был сад одиночества, как бы без присутствия Бога, то у Седаковой другой сад — пожар, чудо, тайна, смелость, Слово, победа, сад, в котором сопresentствуют поэты, которые составляют цвет, гордость отечественной поэзии. Начальный образ «— И дом поджигают, а мы не горим», вероятно, показывает отправную точку размышления Седаковой — библейский образ неопалимой купины¹⁸ как аналог пожара творчества. Сад — память об ушедших поэтах, заключенная в слове, в диалогах с ними через стихи, недаром вспоминаются автором Восток, стихи М. Кузмина¹⁹ («и вишни дрожит молодой Гулистан»²⁰), любовь к природе, которая является источником мудрости и языка («и тополь стоит, как латыни стакан») для Мандельштама²¹ и Ахматовой (тополя «Сероглазого короля», «Реквиема» и др.), источником красоты и плодоношения («и яблоня-мать, молодая Ригведа»²²). В этом творчестве есть какой-то общий, повторяющийся закон неизвестно откуда берущейся силы, которая чудесным образом посещает поэта, как когда-то — Христа: «Одежду отнимут — а мы говорим, / и быстро за нами певцы поспевают» (1, 125). Сад природы и поэзии — торжество творчества, собрание хвалебных гимнов, подобных Ригведе, гигантское хранилище мифических образов, которые ждут воплощения. Все религии мира (вишня — мусульманство, тополь — христианство, яблоня — индуизм) в стихотворении становятся образами творческого начала.

О сущности творчества, о назначении художника Ольга Седакова размышляет в стихотворении «Портрет художника на его картине». Она рисует творчество как вечное, символическое Рождество²³. Художник, Знающий, находится рядом со своим творением и в степи полного одиночества. Он «любим собой», погружен в самосозерцание и говорит, «как свет глухонемой», творя в зеркале творчества птицу своего духа, давая ей плоть, и потому «не нуждается ни в ком». «Он — это я, поду-

¹⁷ Возможно, в нем переключка с садом в «Путем всея земли» Ахматовой, с «Соловьиным садом» Блока.

¹⁸ Вспоминается и строка поэмы Цветаевой «На Красном Коне»: «Пожарные! Душа горит! Не наш ли дом горит?!»

¹⁹ Из стихотворения М. Кузмина «В начале было так — и музыка, и слово...»: «Виночерпий Гулистана, что же медлишь? Кличь Тристана». Здесь переключка со стихотворением Мандельштама «Silentium».

²⁰ Гулистан — город в Сырдарьинской области Узбекистана. Возник в XIX веке в 100 км от Ташкента.

²¹ См. у Мандельштама: «Так птицы на своей латыни / Молились Богу в старину» («Аббат», 1915 (?)) Собр. в 3 т. 2009. Т. 1. С. 82), «И слова евангельской латыни / Прозвучали, как морской прибой; / И волной нахлынувшей святыни / Поднят был корабль безумный мой» («В изголовьи Черное Распятые...», 1910). Собр. в 3 т. 2009. Т. 1. С. 274.

²² Ригведа — собрание религиозных гимнов, первый памятник индийской литературы. Название «Ригведа» Седакова упоминает в связи с работой В. В. Бибихина о дневниках Толстого. «Этот мир Ригведы (ее первой вспоминает Бибихин в связи с дневниками), мир китайской, индийской, древнегреческой мудрости. ...Поздний Толстой читает и переводит эти тексты, включает их в „Круг чтения“. Он читает их не „исторически“, исследовательски, а как актуальный, лично ему интимно знакомый опыт». Весть Льва Толстого (Ольга Седакова). <http://omiliya.org/article/vest-lva-tolstogo-olga-sedakova.html>. В книге «Грамматика поэзии» В. В. Бибихин рассматривает подобных Ригведе как поэтический текст, позволяющий увидеть традицию европейской словесности, пишет о Сафо, Есенине, Хлебникове. <http://os.colta.ru/literature/projects/119/details/11742/>

²³ Н. Г. Медведева называет несколько работ Боттичелли, которые, по ее мнению, имела в виду Седакова. Н. Г. Медведева. Тайные стихи Ольги Седаковой. Ижевск, 2013.

манный тобой», — отчасти художник отражается в сознании читателя его произведений. Несчастный художник все время видит в зеркале свое отражение, а без этого отражения похож на вопленницу, рыдающую на похоронах, на соляной столп: «И он стоит, как образ соляной, / и не идет за всеми» (1, 128). Он не глупец, он просто смотрит назад, в свое прошлое, которым является душа. Художник-поэт не может не разговаривать с самим собой, ему нужно, чтобы сфера отвечала сфере, чтобы цвели розы лирики и художественного дара, которые нарушают мрак жизни:

И я иду, беднее, чем другие,
в одежде темной и темнее всех,
с больной улыбкой, как цветы больные,
как вздох земли, когда сбегает снег. (1, 129)

Конечно, стихотворение напоминает о «Лотовой жене» Ахматовой, потому что связанность с библейским прошлым и с прошлым русской поэзии здесь дана через упоминание соляного столпа, символа лирического высказывания. Поэт завершает стихотворение отождествлением себя с пробуждающейся весенней землей. Творчество — «как вздох земли, когда сбегает снег», воскресение Лазаря-поэта, возрождение к жизни. Земные дела поэта, по мнению автора, осенены «вниманием», «милостью» и счастьем» ангелов благодаря опускающемуся на его плечи их сиянию, и одеждой поэта оказываются его стихи, которые зачем-то нужны и в мире ином:

— Как упавшую руку, я приподнимаю сиянье,
и как гибель стою, и ее золотые края,
переполнив, целую.
Ибо ваше занятие — вниманье.
Милость — замысел мой.
Счастье — одежда моя. (1, 140)

Вероятно, свои стихи Седакова обращает как к душам живым, так и к тем, кто для нее существует через слово, через память. Это внутреннее присутствие поэтов предшествующих времен вызывает диалоги с ними, которые звучат в стихах. О. Седакова рассказала где-то, что однажды побывала на могиле Пастернака, и там рос шиповник. Она съела его ягод, а потом, уже забыв об этом, написала книгу, которую так назвала. Здесь есть строчка, которая преобразила земной факт: «кто плакал, внутри обрывая шиповник» (1, 141). Книга «Дикий шиповник» написана, вероятно, как письмо, поэтому последнее стихотворение ее названо «Постскриптум» с подзаголовком «Старый поэт»:

Плоток — и начнутся чудесные вещи:
откроется клетка, и птица дождя
посмотрит на комнату по-человечьи,
как будто страницу закапали свечи,
как будто кивают, в слезах, уходя. (1, 141)

Шиповник — куст, растущий внутри души, плачущий, требующий, цветущий. Это стихотворение — своеобразное завещание старого поэта молодому: продолжай мое дело, «но ты повторяй, / повторяй, / повторяй» (1, 142). Кто этот старый поэт? Пастернак? Мандельштам? Ахматова? Вероятно, перед нами какой-то собирательный образ, который сложился у автора через сигнальные символы поэтических

миров любимых поэтов: и пальто Мандельштама, который, не имея шубы, очень мерз²⁴, и «вино, о котором не помнит никто», драгоценные вина Марины Цветаевой, и душа-клетка Мандельштама²⁵, и «Шиповник цветет» Ахматовой («Из сожженной тетради»), и ее же «Так беспомощно грудь холодела...»²⁶, и пастернаковская свеча... Повторение прежнего цветения — повторение, подобное музыкальным упражнениям, которые ждут всякого художника, одержимого музыкой речи.

«Как чудесная дудка над кладом»

Поэтический голос в «Старых песнях» связан с русской лирической песней²⁷, где музыка стиха придает повествованию старинный лад. Общая тема всех песен — рассказ о жизни души в мире, о ее жалобах, мечтах, обидах и просьбах, и творчество — надежда на исполнение обещаний детства, которое вспоминается автором сном в золотой постели, общением с Богом или с его представителем, который присутствует в стихах улыбкой. Важна в этих стихах тема памяти о Боге, который не забудет никого и просит его помнить. Бог — это присутствие собеседника, свидетеля сверху, который огорчается жизни злого и недоброго человека, живущего в нижнем мире. В «Старых песнях» присутствует и образ сказочной «зеленой горы», где «сады играют», воплощающей веселье творчества²⁸. Вероятно, этот образ соотносится с райским Божьим садом («Детство»), а для автора связан со сказками Пушкина²⁹. Героиня песен просит Бога сделать ее «чем-нибудь новым» (1, 188), она видит себя в образе потерянного отграненного камня, в котором играет свет, — так в «Старых песнях» отражается мотив библейского и пастернаковского перстня («Больница») ³⁰. Одна из песен говорит о слове как об одежде царской, которое «выше неба, веселее солнца» (1, 189) («Слово»). По-видимому, царское слово сопрягается с понятием свободы, которую поэт ощущает именно через слово.

Вторая тетрадь и третья тетради песен посвящены бабушке. Во второй тетради посвящение короткое: «Посвящается бабушке». В третьей — длинное, посмертное: «Памяти бабушки Дарьи Семеновны Седаковой». Песни второй тетради — о смелости и милости³¹, о милосердии, о верности и неверности³², о смерти и сне, о жалости, о вере в вечную жизнь и в собственные силы, о блудном сыне-поэте, о слове как о дороге жизни, о зеркале художника «величиной с чечевицу», отражающем жизни «бессмертную силу». В песнях можно заметить сказочность мышления автора («Колыбельная»), когда один образ прячется в другом, как жизнь Кощея в яйце. «Старые песни» проникнуты мотивами лирики поэтов-предшественников: «Жизнь ведь — небольшая вещица: / все бывает, соберется/ на мизинце, на конце

²⁴ Ср. стихотворение Ксении Некрасовой «Мое пальто».

²⁵ Этот же образ Седакова выделяла в поэзии Е. Шварц. См. ее лекцию: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=t8SZGTb-ZQY#t=11

²⁶ У Седаковой: «...душа, как теперь, холодела,/ когда открывался цветок холодов» (1, 141).

²⁷ Раздел «Старые песни» состоит из трех тетрадей, написанных в основном в 1980–1982 годах, а прибавления к «Старым песням» относятся к 1990–1992 годам.

²⁸ Здесь стоит вспомнить слово Блока о Пушкине: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин». «О назначении поэта» (1921). Вероятно, Седакова помнит эти блоковские слова, потому что «веселье» для нее — веселье творческое, а не какое-то пустое веселье.

²⁹ Отмечено В. В. Библихиным.

³⁰ Возможно, здесь и библейские мотивы — от перстня Иосифа (Быт. XLII, 42) до кольца Соломона (3-я кн. Ц.).

³¹ В «Смелость и милость» слышно влияние стихотворения Мандельштама «Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...».

³² «Неверная жена» напоминает эпизод «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Пушкина.

ресницы, / А смерть кругом нее, как море» (1, 197). У Ахматовой: «А ведь сон — это тоже вещь...» («Поэма без героя»). На руке блудного сына-поэта — «прадедовский перстень» («Сон»), и он ощущает себя радостным только во сне творчества, когда слышит музыку: «за спиной гудят рожки и струны» (1, 200). В «Бусах» вновь появляются «лазурный бабушкин перстень», образ связанности поэзии Седаковой с предшествующей поэзией: с Пастернаком, с Цветаевой, с Ахматовой³³:

Лазурный бабушкин перстень,
прадедовы книги —
то я отдам, быть может.
А стеклянные бусы
что-то мне слишком жалко. (1, 205)

Лирическая героиня готова расстаться и с книгами, и с перстнем, но не может отдать стеклянные бусы, бессмысленную красоту, несущую «таинственное веселье» (1, 205). Вспоминаются «Четки» и «перстень черный» Ахматовой³⁴, «Жемчуга» Гумилева, бусы Музы в поэме Цветаевой «На красном коне», те невольные образные переключки, которые соединяют Седакову с поэзией первой половины XX века. Может быть, реальные бусы от бабушки также имелись в виду... Последнее стихотворение «Второй тетради» «Путешествие», о пути к Богу после несчастья и счастья жизни, рисуется как осуществление долгого ожидания: «— Вот я ждал тебя — и дождался» (1, 306), обозначает переход к теме первого стихотворения «Третьей тетради», где умершая бабушка приглашает внучку пройтись по саду, приглашение, которое для автора, очевидно, выражает уверенность в вечной жизни.

«Третья тетрадь» — размышления о душе, о женской доле, о рожденности в понедельник и поэтическом предназначении:

Родилась я в черный понедельник
между Рождеством и Крещеньем,
когда ходит старая стужа,
как медведь на липовой ходуле... (1, 210)

Эти строки «Старых песен» соотносятся со стихами Цветаевой о ее рожденности ровно в полночь с субботы на воскресенье³⁵, которая также трактовалась как мифический, легендарный момент, вызвавший всю последующую судьбу поэта.

³³ См. стихотворение Ахматовой «Сказка о черном кольце», «Дарю тебе железное кольцо...» Цветаевой, «Больницу» Пастернака.

³⁴ Нужно напомнить о французском источнике образов драгоценностей как символов поэзии. «Четки» Ахматова назвала под влиянием книги Теофиля Готье «Эмали и камеи», перевод которой, выполненный Н. С. Гумилевым, вышел в том же 1914 году, что и ахматовские «Четки». В стихотворении Готье «Загробное кокетство» героиня мечтает умереть с четками в руках, которые держал сам Папа Римский: «И в руки, сложенные кротко, / Такие бледные, без сил, / Опаловые дайте четки, / Что папа в Риме освятил. / И там, где нет надежд, ликуя, / Я буду их перебирать, / По ним, как AVE, поцелуй, / Бывало, он любил считать. (перевод Н. С. Гумилева) [http://ru.wikisource.org/wiki/Загробное_кокетство_\(Готье/Гумилев\)](http://ru.wikisource.org/wiki/Загробное_кокетство_(Готье/Гумилев)). Любопытна историческая параллель, возникшая в жизни О. Седаковой, лично встречавшейся с Папой Римским, который четок ей, правда, не дарил, но прочел подаренный ею сборник стихотворений, в чем выразилось почтительное внимание высочайшей святейшей особы к представительнице русской литературы (пишу эти строки в дни канонизации папы). И кто знает, случилось ли бы знаменательное для русской поэзии чтение Иоанна Павла II, если бы Гумилев не перевел Теофиля Готье, а Анна Ахматова не назвала свой сборник французской строкой.

³⁵ См. стихотворение Цветаевой: «Между воскресеньем и субботой / Я повисла, птица вербная. / На одно крыло — серебряная, / На другое — золотая» (Ц7, 1, 504).

Для Седаковой ее рождение в понедельник — обреченность на трудовой путь, связь с народной поэзией, с небесной сферой и в то же время надежда на поэтический дар и любовь Бога, потому что детство явно окрашено в райские тона:

Гребнем золотым чесали косы,
на серебряных санках возили
и читали из таинственной книги
слова, какие я забыла. (1, 210)

Мери Элизабет Мейпс Додж, автор книги «Серебряные коньки», родилась на сто лет раньше О. Седаковой — 26 января 1838 года. Серебряные санки Седаковой соотносятся с названием книги Додж «Серебряные коньки». Золотой гребень тоже имеет литературные параллели³⁶, так что Седакова пишет о своей литературной обласканности судьбой не только на уровне просто детского счастья. Состояние сна («И мне снилось...»), в котором и чувствует лирическая героиня свою избранность и любовь, — аналог творчества, что очевидно из других стихов с темой сна.

Поэт не знает ничего про других и о мире рассказывает, только рассказывая о себе. «Старые песни» — это песни о памяти: «Ты гори, передавай известье/ Спасителю, небесному Богу,/ что Его на земле еще помнят, / не все еще забыли» (1, 214), о невидимом пламени души и лампаде веры, о сомнениях сердца. «Старые песни» и молитва об умерших, о том, что, несмотря на разлуку, любовь остается («Посвящение»). Старые песни Седаковой о старом и написаны по-старому. Ими автор утверждает свою верность не только *своей бабушке*, которая для нее была воплощением мудрости, доброты и христианской любви, но и верность старому Богу и нравственным основам, которые впитала душа в детстве. Поэт берет на себя роль открывателя этих мудростей для тех, кто о них, может быть, никогда не слышал:

Холод мира
кто-нибудь согреет.
Мертвое сердце
кто-нибудь подымет.
Этих чудищ
кто-нибудь возьмет за руку,
как ошалевшего ребенка:
— Пойдем, я покажу тебе такое,
чего ты никогда не видел! (1, 218)

«То ли это жизнь такая, то ли в Книге бытия»

Еще одна связь со старым миром отмечена библейским мотивом творчества. По-видимому, Библия была одной из книг, которую читали Седаковой в раннем детстве, и, вероятно, с давних пор идет ее любовь к образу царя Давида, отразившаяся в стихотворении «Давид поет Саулу»³⁷ — об ощущении таинственной власти сил, дающих поэту знание всех тайн мира, открывает раздел «Ворота. Окна. Арки»

³⁶ В ранних произведениях Цветаевой несколько примеров такого рода, например, в стихотворении «Чтобы помнил не часочек, не годок — ...»: «Нет на свете той расчески чудней:/ Струны — зубья у расчески моей!» (1, 437).

³⁷ Подробнее об этих стихах: Айзенштейн Е. Дорогой подарок царя Давида // Нева. 2013. № 9.

(1979–1983). А дальше «Семь стихотворений», и в третьем из них вновь — образ блудного сына, соотносимый с Иосифом — «прекрасным сновидцем». Господь вновь оказывается у Седаковой в ее мифе о блудном сыне тем Отцом, к кому человек идет с покаянием, кто воскращает: «И вода есть зола неизвестных огней, и в золе / держит наш Господин наше счастье и мертвого будит». (1,226).

Сон оборачивается не только творческим сном поэта (творчество в «Горной оде» — «дудка, открывающая клады»), но и сном мертвого Лазаря, которого будит Господь: «как труп, лежу я где-нибудь / или в начале наважденья» (1, 228). Пушкинский пророк в новые времена — поэт, которому нужно вытерпеть «виденье», найти в себе силы встать над собственной слабостью и поделиться тем, что дал ему Бог. Главное назначение поэта — называние вещей в творчестве: «...глядела жизнь, как рядом пировали, <...> Другим хотелось много, ей — едва ли: / лечь и лежать, и чтоб ее назвали» (1, 233). Поэты, утверждает Седакова в стихотворении «Статуэтка слона», похожи на дерево для изготовления статуэток, это «люлька» «для образов, снящихся змеям пятнистым», а Создатель похож на резчика говорящих слонов. Образы этого стихотворения, насыщенного экзотикой («где-то возле блаженных Аравий», «в турмалиновых гнездах»), заставляют вспомнить африканские стихи Н. С. Гумилева. По мнению Седаковой, всякое творчество, всякий творческий сон, приводящий к рождению речи, — благо, лишь бы только сбывались, становились живыми образы. Говорящие слоны в руках резчика по дереву и Бога, которого Столяром назвала когда-то Цветаева³⁸, превращаются в образы искусства поэта, который стремится создать точный образ:

Каждый образ хорош, каждый облик похож на ресницы,
увлажненные сном. Каждый знает, кому поклониться...
И не все ли равно — рассыпаться, как облако пыли,
или резать слонов и следить, чтоб они говорили. (1, 240)

Еще один образ творчества в произведениях Седаковой — традиционное для мировой поэзии уподобление шитью: «Как древний герой выполняя заданье, / из сада вы вынесем яблоки ночи / и вышьем, и выткем свое мирозданье — / чулан, лабиринт, мышеловку — / и страшный, и душный его коридор, / колодезь, ведущий в сокровища гор» (1, 242). Шитье поэтическими образами Седакова сопоставляет со звездным вышиванием ночного неба: «Уж звездное небо уносит на запад / ... / вот-вот пропадет, но, как вышивки рапорт / желает опять и опять повториться» (1, 241); «Нам нужен, ты знаешь, рушник или холст — скрипучий, прекрасный, сверкающий мост» («Ночное шитье», 1, 241). Здесь, вероятно, она соотносит небо с сообщением творческим (raport), может быть, вспоминая гётевское определение в «Фаусте» о постижении живого платья божества («der Gottheit lebendiges Kleid»). Поэзия для нее — неизменно слуховое, звуковое искусство, прислушивание к неслышному миру; отсюда ее «Кузнечик и сверчок», где одним из образов творчества служит звук ножниц, подстригающих гривы золотые небесных коней, образы поэзии, связанной с Гёте («Фауст»), с Хлебниковым («Крылышка золотописмом...»), Тарковским («Сверчок»), с французским прозвищем Пушкина и со стихами Китса³⁹. Слух — слуховая лестница и «прореха», через которую в этот мир про-

³⁸ См. в цикле «Стол»: «Спасибо тебе, Столяр, / за доску — во весь мой дар» (2, 313).

³⁹ Например, см. стихотворение Китса «Ода к осени», известное в переводе Б. Пастернака: «Засвиристят кузнечик; из садов / Ударит крупной трелью реполов; / И ласточка с чириканьем промчится». <http://kruzikov.net/essays/>

никают звуки мира незримого. Голос самой Седаковой несколько глуховат и тих (я имею в виду его природную тихость и мягкость), так что отчасти и о себе как о Тристане, о своем океане творчества пишет поэт: «На наковаленках таинственного звука / кузнечик и сверчок сковали океан» (1, 244).

Поэзия — результат внутреннего ветра, который приводит в действие эолову арфу души: «И ветер внутренний цевницу достает» (1, 245). Поэтический дар «отраден для земли» (1, 260), — утверждает сам поэт, видя свое назначение в пении о страдающем мире: «Кто еще похвалит мир прекрасный, / где нас топят, как котят?» (1, 260). Вера в разумность всеобщего устройства жизни, «Быть не может, чтобы Бог забыл» (1, 260) придает автору сил. В «Сказке, в которой почти ничего не происходит» Седакова пытается нарисовать свое представление о творчестве как о сновиденном царстве Лазаря, о колодце с камнем, который завален с прошлых времен, — этот образ заимствован из «Рахили» Ахматовой. Поэзия — восстановление того, что «сновидец»-поэт уже откуда-то помнит или знает: «То ли это жизнь такая, / то ли в книге Бытия». Искусство музыки и, вероятно, искусство речи представляются автору чистым родником, от которого нужно, сделав усилие, отвалить камень, как камень от Лазаревой могилы⁴⁰. Она сравнивает себя с царем Саулом, который спасает больной рассудок песней:

Плакать я хочу и плакать
не могу. Как бесноватый
некий царь, больной рассудок
говорит служебным духам:
— Принесите, что ли, арфы,
приведите музыкантов. (1, 267)

Седакова убеждена, что какие-то вещи поэту ведомы, потому что даны ему свыше: «Кто не плакал, — тот опишет / нечто горшее, чем плач» (1, 267). Поэзия для нее — отражение незримого мира, «только отсвет, только отблеск от незримого очами» (В. Соловьев). Символично, что мотив соловьевского стихотворения как бы незримо присутствует в ритме речи Седаковой («Милый друг мой, друг бесценный, / будешь ли ты дальше слушать», 1, 267) в качестве намека на наличие высшего начала, которое всегда ощущает поэт над собой. «Страшно дело песнопенья» (1, 272), — утверждает лирическая героиня, противопоставляя рассудочному пению пение по наитию: «нужно бить, как погремушка, отгоняющая змей» (1, 268). Поэт нового века бредет по жизни с «фонарями сновидений», как бы продолжая библейскую историю о дочери Лавана, рассказанную Ахматовой⁴¹, все время стараясь продлить «чудный сон» творчества. Седаковой близок образ застекленного фонаря искусства, родной и Цветаевой («Волшебный фонарь»), и Заболоцкому («Гроза идет»). У поэта, как у Иакова, свое стадо творческих золотых ягнят, которых он пасет на воображаемом лугу⁴². «Сказка, в которой почти ничего не происходит», — попытка Седаковой создать свою «Сказку о черном кольце», не случайно пастух вспоминает строку «горя много, счастья мало» из ахматовского стихотворения. У Седаковой пастух из альпийской хижины дарит ей валенки и исчезает. Эти валенки, вероятно, связаны с декабрем — суровым месяцем прихода автора в суро-

⁴⁰ Образ Лазаря — один из сквозных в поэтике Седаковой.

⁴¹ Ахматова А. «Рахиль» (1921).

⁴² Ср. близкий образ в стихах Седаковой «Елене Шварц»: «Ваш голос — идущий, он дальше, в горах, / он, видно, ягненка несет на руках, / и хмурится светлое платье» (1, 256).

вый мир («вьюга выла, пыль носилась»), когда без валенок не обойтись. Но здесь и другая параллель — с сапожком Сафо Мандельштама («На каменных отрогах Пиэрии...», 1919), со стихотворением Т. Готье «L'art» («Эмали и камеи»):

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней —
Стих, мрамор иль металл.

О светлая подруга,
Стеснения гони,
Но туго
Котурны затяни.

Прочь легкие приемы,
Башмак по всем ногам,
Знакомый
И нищим, и богам. (Перевод Н. С. Гумилева)

В 1926 году Мандельштам одобрительно написал об этой книге, переведенной в 1914 году Гумилевым, в статье «Жак родился и умер»⁴³. Стихотворная сказка Седаковой «на огне воспоминанья / ни о чем и обо всем» (1, 271) рисует творческое служение через образ странной мельнички, которая мелет не муку, а снег, и ветер, и океан:

Страшно дело песнопенья,
Но оно мне тихо служит,
Или я ему служу:

Чудной мельнички верчу
Золотую рукоятку —
Вылетает снег и ветер,
Вылетает океан. (1, 272)

«Золотые небеса» Ахматовой и Мандельштама возникают в творческом пространстве Седаковой, потому что она продолжает молоть муку лирики, выполнять ту же бесполезную и необходимую работу⁴⁴. К слову «песнопенье», встречавшемуся в лирике Баратынского («Болящий дух врачует песнопенье...»), любимому и Ахматовой («Я так молилась: „Утоли...“»)⁴⁵. Седакова добавляет два слова: блоковское «страшно» («„Красота страшна“, — вам скажут...» — посвящение Блока Ахматовой 16 декабря 1913 года) и гётевское «дело» («Фауст»). Стихотворение Блока заканчивалось строками, произнесенными как бы от лица Ахматовой:

⁴³ Мандельштам О. Э. Собр. В 3 т. 2009 Т. 3. С. 248–252.

⁴⁴ Ср.: «Все перемелется, будет мукой...» (1, 65) и «Мельня ты, мельня, морское коло» (3, 365) (поэма «С моря») Цветаевой; «Узнает ли меня мой ангел / В измолотой во прах муке?» в стихах Е. Шварц.

⁴⁵ «Я думаю, что более православного поэта в XX веке Вы не найдете. Здесь уже не надо выискивать каких-то мотивов: связь ее поэзии с богослужебной самая прямая», — ответила на вопрос об Ахматовой О. Седакова. См.: Судьба и вера. Беседы с учеными, священниками, творческой интеллигенцией. <http://lib.eparhia-saratov.ru/books/noauthor/faith/15.html>.

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать, не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна». (3,143)

Таким образом, в «Сказке...» Седаковой к размышлению о сущности творчества привлекаются другие поэты, мнением которых автор дорожит. В этих стихах вероятна связь с циклом «Зимний путь» Шуберта, где последняя песня «Шарманщик», образующая эпилог цикла, с образом нищего старика, безнадежно вертящего ручку шарманки, олицетворяла для Шуберта его собственную судьбу. Этот шарманщик соотносится с поэтом. О. Седакова завершает свою «Сказку...» образом небесной ступки, муки небесного размолы, подчеркнув божественный источник своего творчества. Само название раздела «Ворота. Окна. Арки» символично. Автор выводит читателя из мира неодухотворенного в мир поэтический через ворота и арки своей поэзии, которая воспринимается окнами в дорогое автору прошлое русской культуры. «Стихи подобны разноцветным стеклам / Церковных окон» (Гёте), и лучшие произведения Седаковой действительно отвечают этому образу.

«Секретный водоем»

Одним из таких заметных текстов я считаю цикл «Стансы в манере Александра Попа», в подражании выдающемуся философу и поэту Просвещения, для которого представление о счастливом человеке сопрягалось с понятием о всеобщем счастье. Целью всех людей Поп считал мысль о счастье, которое должно быть общественным, так как Счастье каждого зависит от Счастья всех: «Страсть с Разумом соединить не грех; / Себя мы любим, если любим всех»⁴⁶. Цикл Седаковой состоит из четырех стихотворений, написанных в жанре стансов, замыкающихся пятой, кодой. Посыл первых стансов Седаковой «Поэт есть тот, кто хочет то, что все / хотя бы хотеть» — мысль о счастье, о котором поэты мечтают, как простые смертные. Поэт похож на остальных землян и не похож на них. Философ А. Поп родился в день рождения Петербурга, 27 мая, а умер в день смерти Бориса Пастернака. Первые стансы обращены к петербурженке и современнице Елене Шварц — четвертые стансы связаны с именем другого петербуржца, В. Набокова, автора «Тристана», а в своих стансах Седакова вспоминает музыку Вагнера к «Тристану и Изольде»: «Бессмертие играет как рожок» (1, 289). Обращение к Е. Шварц, с одной стороны, основано на понятных Шварц, близких ей образах (метеорит, цветок, орех, Арктур⁴⁷), с другой — предполагает как бы понимание с полуслова, игру на намеках, которыми оказываются общие любимые цитаты-воспоминания: о Пушкине («и славно жить, как будто на холмах / с любимым другом ехать на санях». 1, 275), об Эмили Дикинсон («И мы идем, глотая пыль и соль, / как шествие, когда вошел король...», 1, 277)⁴⁸. Поэт мечтает о счастье, но его счастье неустойчиво, оно в любой момент может исчезнуть, «как метеорит», и главное в представлении поэта о счастье — творчество. В первых стансах — размышление о надежде и безнадежности, которые сопутствуют творческому поиску и отражению на бумаге, в черновиках, голоса

⁴⁶ Александр Поп (Поуп). Опыт о человеке. Перевод В. Микушевича. Александр Поуп. Поэмы. М., Художественная литература, 1988.

⁴⁷ Звезда Арктур упоминается в стихах А. Попа: «Хоть мокрый небосвод бывает хмур, / Охоте не препятствует Арктур». А. Поуп. Виндзорский лес. http://lib.ru/POEZIQ/POUP/pope_windsor.txt

⁴⁸ Например, «I heard a fly buzz when I died...» Эмили Дикинсон.

поэтической вещи. Поэзия — окно в астрономические сады того света, видение которых возникает внутри поэта, «как бы внутри несчастного лица» (1, 277), счастье внутри несчастья⁴⁹.

В небесном городе поэт оказывается не перед лицом Отца, а перед Его спиной («и видит нас сверкающей спиной». 1, 277), как за спиной священника во время богослужения или дирижера оркестра⁵⁰. Творчество — движение за тем, кто идет впереди, как у Блока в финале «Двенадцати». Так читатели идут за взглядом поэта, как поэт следит за спиной идущего Бога. Седакова размышляет о том, что движет человеком в жизни: желание ли это счастья, как считает А. Поп? Автор стансов отвечает на этот вопрос: «желанье — тайна». Лирической героине свойственно желание пасть на колени перед своим внутренним человеком; соль должна осолиться, вещество соединиться с веществом, поэт мечтает встретиться с собой в слове.

Стансы «На смерть котенка» — размышление о том, что остается после смерти, что остается в творчестве. Поэт вновь подобен Лотовой жене, он оглядывается на события прошлого, и эти события благодаря его взгляду в себя закаменевают, превращаются в соляной лирический столп. Все переживания поэта в жизни, в том числе смерть любимого котенка, — приметы Божества, приметы присутствия в этом мире Бога: «...все катится, как некий темный шар, / разматывая *имени* пожар» (1, 282).

В третьих стансах с подзаголовком «Вино и плаванье» существование лирической героини, которая ждет к себе сострадания, участия «звезд чужих», в мире, который ей не нравится («проклятый мир»), завершается видением сна, когда она слышит примиряющий голос Бога: «Умница моя». Поэт считает, что, помимо земных законов, есть еще законы чудес, они и относятся к Божьим: «...я знаю кое-что о чудесах: / они как часовые на часах» (1, 286). Для поэта есть как бы два вида существования: обычная жизнь и жизнь бабочки, напоминающей о другом мире, другом мотке пространства или о золотом руне человечества, о необходимости мечты о счастье. В восьмом рве «Божественной комедии» мучаются Улисс (Одиссей) и Диомед за лукавство слова. Эпиграф из Данте к 26-й песни из «Ада» к третьим стансам — слова Улисса, побуждающие к последнему плаванью взят потому, что в стихотворении звучит тема странствия души, которое автор соотносит с плаванием Одиссея. Для Одиссея познание жизни было важнее любви к сыну, к отцу, к Пенелопе. Тема плаванья символизирует человеческую жизнь и одновременно жизнь в творчестве (возможно, мотив «Плаванья» Бодлера), которое налагает на поэта ответственность, как на Улисса перед его товарищами. Вероятно, эти строки связаны и со стихотворением Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла...», где в финале появляется образ Одиссея, который возвращается из странствия, «пространством и временем полный». Еще один образ, который отчасти связан с мандельштамовскими стихами, — кубка искусства, в состав вина которого входит земная жизнь в измененном, преображенном виде⁵¹. Для поэта вино лирики напоминает о единственной родине, которая географически рисуется где-то возле Южного Креста. Поэт мечтает о творческом кубке, о вине поминовения, ко-

⁴⁹ В пятой строфе интертекстуальная связь со стихотворением И.-В. Гёте «Кто с плачем хлеба не вкушал...».

⁵⁰ См. близкий образ в прозе Цветаевой «Пленный дух».

⁵¹ В пятой строфе явная отсылка к стихотворению Мандельштама «Прославим, братья, сумерки свободы...»: «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, / Скрипучий поворот руля. / Земля плывет. Мужайтесь, мужи. / Как плугом, океан деля, / Мы будем помнить и в летейской стуже, / Что десяти небес нам стоила земля (1, 103). Собр. В 3 т. 2009. Т. 1. С. 103. У Седаковой «Ну, колеса тяжелый поворот...» (1, 284).

торое он оставит после себя потомкам. В плавании творчества возможен уход из мира земного в другое измерение («как взлечу / куда-нибудь из ваших черных дыр», 1, 285), спасающее от проклятого мира, возможна встреча с чудом. Последнее, очевидно, соотносится для Седаковой с Христом.

В четвертых стансах Седакова вспоминает произведение А. Попа «Опыт о критике», в котором английский философ рассуждал, каким может и каким не может быть критик. У Седаковой в десятой строфе ее четвертых стансов речь о тех, «кто мучает других, / кто скверными губами скверный стих / разжевывает» (1, 290). Творческий мир, который сравнивается с игрой на бильярде, микроскопически мал, и его можно увидеть, только если посмотреть на острие иглы. В немецком языке близко звучат слова «игры», Spiele и «острие», Spitze. Таким образом, поэт намеренно играет значением слова, говоря об игре творчества. Весь мир поэта, как в бильярде, — определенное расположение шаров, но эти шары невидимо малы, и только духовный взор может увидеть, как они разлетаются в разные стороны. И хотя мир состоит больше из зла, чем из добра, «и мы прискорбно злы» (1, 291), но поэзия милосердна, и это сострадательное, гуманистическое начало заключено в острие поэтической сшивающей и ранящей иглы, в микроскопе искусства. Искусство ранит острием иглы и лечит им же. Мне кажется, Седакова спорит с А. Попом, который полагал, что человек должен, не жалуясь на участь, выполнять свое назначение на Земле:

Ты хочешь вместо глаза микроскоп?
Но ты же не комар и не микроб.

.....
И умирать от ароматных мук,
Когда для мозга запах роз — недуг?⁵²

Финальные строки коды цикла напоминают о полярных собаках Е. Шварц⁵³, кузнечике Хлебникова. А последнее слово «слеза» свидетельствует о том, что поэзия — призывание милости к падшим (Пушкин), и в этом смысле поэт оказывается счастливым человеком, потому что, по А. Попу, он живет с мыслями о других. Творчество — «зажигательное стекло», которым поэт включает музыку лирики, из подводной глубины души, «как клады из волны», покрытые «солью глубины». Поэты наполняют старые соляные кубки новым вином. В этих стихах Седакова вспоминает строки баллады Гёте «Король жил в Фуле дальней...»⁵⁴. Кубок фульского короля — символ лирического воспоминания. Если поэт расстанется со своим кубком, он умрет. Кубок в стихах Седаковой — образ памяти лирики, того, что дорого всем поэтам и что они берегут в своих стихах, наполняя старый кубок новым вином. Вероятно, есть в стансах Седаковой параллель с другой балладой — с «Кубком» Шиллера (перевел Жуковский), о ненасытном царе, который узнает тайны морского дна из любопытства перед ними ценой чужой жизни. Поэт это делает ценой своей собственной. Мысль баллады Шиллера о том, что не надо стремиться узнать тайны подземной глубины, соответствует мысли А. Попа, что человек должен быть доволен своим положением среди других земных существ. Седакова убеждена, что только подлинное, настоящее искусство способно преодолеть вре-

⁵² А. Поуп. Опыт о человеке. Александр Поуп. Поэмы. М.: Художественная литература, 1988. Перевод В. Микушевича.

⁵³ См. стихотворение Е. Шварц «Апология солнцеворотного сна».

⁵⁴ Наиболее известный перевод сделан Б. Л. Пастернаком.

мя — посредственные строки ждет умирание. Четвертые стансы заканчиваются предложением выпить «кубок, сложенный, как соль», кубок, похожий на жизнь и «все же на пастушеский рожок», и на жизнь и на музыку, хрустальный кубок поэзии, в чьем смутном стекле живет память о предшествующих временах и поэтах, о слове и музыке. Пастушеский рожок этих стихов напоминает стихи Набокова⁵⁵ о Тристане и Изольде⁵⁶, напоминает о том, что жизнь должна походить на «пастушеский рожок», быть творчески преображенной.

Стансы завершает десятистрочная кода, в которой Седакова возвращается к первой строке первых стансов: «Поэт есть тот, кто хочет то, что все / хотят хотеть», но мы уже знаем, что, хотя это общее счастье, но поэт его ощущает скорее в астрономических садах, чем в реальном мире, где занят духовной работой и крутится, «как белка в колесе». Поэт существует в ирреальном мире, именуемом заполярьем «без конца», «где все стрекочет с острия копыя / кузнечиком в траве небытия» (1, 292). И если посмотреть на этого невидного кузнечика, окажется, что мы слышим звучание поэзии, а на самом деле в микроскопе виден глаз поэта, а в его слезе — весь мир. Последнее слово стансов — слеза — как бы дает определение лирике. Лирика — это слезы, собранные в соляном кубке. Острие иглы поэта — острие копыя микроскопического всадника⁵⁷, рыцаря, святого Георгия в царстве Бога, где на этом копые сидит кузнечик, «крылышка золотописьмом тончайших жил», и где мелкое, незаметное можно увидеть так крупно, как в микроскоп. Седакова воспринимает поэта существом, которое превосходит обычного человека, изображенного А. Попом. Ее человек способен, превышая человеческие силы, увидеть «цветок времени» и «астрономические сады» космоса, преобразить мир вокруг себя. В коде важен и образ освещенного крыльца, на котором стоит поэт, указывая читателям на «заполярье» невидимого мира своих образов. «Стансы в манере А. Попа» — философское размышление автора о поэте, о назначении человека, о счастье бытия и о роке бытия, о сохранности в новые времена старой поэзии.

Кубок поэзии, форма которого обусловлена художественным чувством, становится предметом размышления автора в пятых стансах (раздел «Ямбы», подзаголовок стихотворения — «De arte poetica»⁵⁸), где идет речь о произведении большого объема, которое для автора — «сосуд своей красоты» (1, 305). Во второй главке вспоминаются стихи Волошина о Коктебеле («Как в раковине малой Океана...», в которых поэт видел коктебельскую землю отпечатком своей личности. У Седаковой: «Как в раковине ходит океан...» (1, 305). Она размышляет о клапане времени, который поэт открывает в творчестве, и дом, построенный Волошиным в Коктебеле, Седакова соотносит с тем поэтическим зданием, которое строит поэт в стихах: «...так в разум мой, в его скрипучий дом / она идет с волшебным фонарем». Читатель невольно вспоминает «скрипучий поворот руля»⁵⁹, «скрипучий труд»⁶⁰ Мандельштама, и название второй книги М. Цветаевой «Волшебный фонарь», которую она написала в годы общения с Волошиным. Цветаева, мастер крупной формы, в одном из писем советовала Пастернаку писать большую вещь, чтобы самовыра-

⁵⁵ Эпиграфом к четвертым стансам взяты строки «Бледного пламени» Набокова.

⁵⁶ Подробнее об этих стихах: Айзенштейн Е. «Седого моря соленый дух» (Тристан и Изольда в русской лирике) // Нева. 2014. № 1.

⁵⁷ Один из интертекстов этих строк: «Я сказал: виноград, как старинная битва, живет, / Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке; / В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот / Золотых десятин благородные, ржавые грядки» (Мандельштам О.).

⁵⁸ Об искусстве поэзии (лат.). — Примеч. автора.

⁵⁹ Мандельштам О. Э. Собр. В 3 т. 2009. Т. 1. С. 103.

⁶⁰ «На каменных отрогах Пиерии...».

зиться, саморастрагаться⁶¹, поэтому само появление отсылки к названию ее книги могло быть связано с темой стансов. Большая вещь сравнивается Седаковой со скитом, прудом, с косяком рыб, с праведником, читающим Священное Писание. Это сновиденный порошок, позволяющий смотреть творческие сны, кормушка с музыкальным кормом, седой небесный ледоход⁶². Поэт, как отшельник, живет у монастырских стен, добывая золотистый мед поэзии. Важна в стихотворении тема движения, которое ассоциируется с движением льдов по весенней реке⁶³: «...все двинулось, от счастья очумев...» Большая вещь — «сама себе приют», который поэт оставит человечеству после смерти («Она сплет, когда нас отпоют»), возможность исповедального разговора с собой, когда душа не только вычитывает образы своей вины, но чувствует себя бабочкой. Большая вещь — «утрата из утрат»: поэт растает с собой, не желая сгореть в огне и желая этого, как мотылек Брюсова, который летит на огонь, сознательно мечтая о гибели в этом пламени⁶⁴. Творчество поэта, пруды его лирики — преддверие секретного водоема будущей жизни, которым, вероятно, автор видит царство Бога.

О «секретном водоеме» творчества, об очищающей сущности поэзии Седакова размышляет и в стихотворении «Из песни Данте» (раздел «Ямбы»), где Данте вместе с Вергилием идет по тому свету. Для Седаковой важна древность творческой воды, «воды из глиняного акведука стариннее», того римского водопровода в поэме «Во весь голос» Маяковского, акведука в стихах Б. Ахмадулиной⁶⁵, и поэт воспринимается хранителем той давней чистоты. Данте у Седаковой говорит Вергилию о руке поэзии, преображающей «хрип агонический в нездешний стих», но Вергилий напоминает Данте о молчании (*silentium*), которым тоже должен владеть поэт: «и у твоей воды / учись хоть этому: молчать» (1, 319). Мотив молчания для автора стихотворения должен быть связан с двумя «*Silentium*», Тютчева и Мандельштама, и это превращает разговор Данте и Вергилия в разговор с участием автора как свидетеля из иного века, который знает будущее. Страшную картину видит Данте: собачий лай и шип, скалящиеся морды, шипящие змеи бесов, которые обрушивают свою брань на Данте, как на врага страны и шпиона: «он на врагов страны/ работает!» (1, 320) — слова, звучащие как рассказ о советских реалиях.

Если служить на земле своим искусством соловьем Бог знает кому, быть соловьем «казенным», можно остаться без дара. Совесть становится в ином мире биоархитектором, и если поэт согрешит на Земле, уйдя свою совесть, он станет только жвачкой для тех, кому служил в земном мире: «— Иные здесь и не знакомы с луком / тех Дельф сверхзвуковых» (1, 321). Конечно, в этой теме читатель слышит современные ноты. Автор стихов о Данте никогда не служил таким казенным соловьем, но времена, в которые славились подобные соловьи, им не забыты.

«На шелке времен»

Из Ада автор переносит нас в китайские земли, и мы становимся участниками «Китайского путешествия» (1986) — цикла из восемнадцати стихотворений, кото-

⁶¹ См. письмо Цветаевой к Пастернаку: «А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь» (ЦП, 40). Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936. М.: Вагриус, 2004. С. 40.

⁶² Видимо, опять интертекстуальная связь со стихами Цветаевой «Бог»: «В чувств оседлой распутице / Ты седой ледоход» (2, 157).

⁶³ Вероятный отклик на стихи Цветаевой «Бог».

⁶⁴ Брюсов В. Я. «Я — мотылек ночной. Послушно...».

⁶⁵ См.: Ахмадулина Б. Святочные колядки: «Ум замерз, как водотеча-акведук». <http://magazines.russ.ru/znamia/1999/7/ahmad.html>. Крупные гидротехнические сооружения впервые стали строить римляне.

рые объединены восточной стилистикой и колоритом: «окунаются в воду и не мокнут/ длинные рукава деревьев», (1, 329).

Стихотворения пишутся от лица неодушевленных предметов: например, о себе говорит пруд, сравнивая себя с жадными людьми; автор смотрит на мир глазами лодки, ветки, сапфира, крыш, неба. Природа, кажется, пишет сама себя: «кустов неровное письмо — любовная записка» (1, 334). И это не случайно: по мнению поэта, надо, чтобы стихи и писала природа, которая говорит через поэта, который должен быть ее «кисточкой, бабочкой, пчелой» (1, 335). Одна из «китайских» мудростей автора: «несчастен, /кто делает дело и думает, что он его делает» (1, 335). Умение радоваться сегодняшней минуте, радость стихийного существования без мысли о завтра, отсутствие страха, духовная щедрость («ибо только наша щедрость / встретит нас за гробом», 1, 327), умение прощать и быть похожим на шар, взлетающий «в милое небо над милой землей» (1, 335), — философский смысл девятого стихотворения цикла. Поэт объясняется в любви к природе и, как японский живописец, пишет свою акварель о потустороннем мире, который намеренно рисует через микроскопически малые величины: око ласточки⁶⁶, крыло бабочки, лестницу Иакова, пчелиное око, слово. Лестница в небо в четвертом стихотворении — символ невидимого мира и того, что человек вообще видит только часть этой лестницы, для которой он тоже что-то вроде пчелы или насекомого (мотив из «Фауста» Гёте). Трижды, рефреном звучит слово «лестница» как утверждение о том высшем напеве и звукоряде, которому подчинено слово и мироздание. Лица Бога не видно из-за туч, но этот лоб Творца в стихотворении явно наличествует. В китайском путешествии лицо Бога оказывается маленьким, потому что, чтобы увидеть Бога, нужно подняться по лестнице неба, «по которой никому не хочется лезть» (1, 330). А в стихах пятого стихотворения — «карликовые сосны» подхватывают тему маленького, миниатюрного акварельного мира. Образы отвязанной лодки, обломанной ветки — символы человеческого поиска пути, символы поиска Бога. Поэт видит художника слова рисовальщиком, который должен не отступать от своего ремесла, даже когда он сознает, что бессмертие с ним не играет, когда от него уходит ощущение божественного присутствия, если он «выпал из руки чудес» (1, 336), но продолжает искать гармонию. Одно из стихотворений — о голосе, «говорящем глухо /про небывалые сады» (1, 338), — Семирамидины «ступенчатые» сады Божьего творчества. Человек-поэт — перстень духа, «камень голубой воды, одинок в мире, поэтому он глухим, почти неслышным голосом разговаривает с собой. Эти причитания поэт и называет лирикой.

По мнению Седаковой, природа обладает таким же совершенным, таким же уникальным инструментом, каким является голос поэта, играющего «на флейте водосточных труб»:

Флейте отвечает флейта,
не костяная, не деревянная,
а та, которую держат горы
в своих пещерах и щелях,

⁶⁶ Возможно, ласточка упомянута из-за стихотворения Мандельштама «Прославим, братья, сумерки свободы...», а также из-за стихотворения «Еще далеко мне до патриарха...»: «А иногда пушусь на побегушки / В распаренные душные подвалы, / Где чистые и честные китайцы / Хватают палочками шарики из теста, / Играют в узкие нарезанные карты / И водку пьют, как ласточки с Ян-дзы» (Собр. в 3 т. 2009. Т. 1. С. 165). И вообще, у Мандельштама ласточка — один из любимых и сквозных образов.

струнам отвечают такие же струны
и слову слово отвечает. (1, 340)

Разговор природы и человека, музыкального инструмента природы с человеком составляет гармонию оркестра мироздания. Звезды предстают, возможно, образами ушедших «по холодному звездному облаку» душ. Мир смерти, для Седаковой, — существование «за дверью земною», — «мир, где все из сострадания» (1, 341). Причащение Царству Небесному связано с очищением от грехов и покаянием. Уход в смерть представляется автору подобием музыки: «как поющий голос с ноты на ноту» (1, 341), души бредут в бессмертие. Творчество в семнадцатом стихотворении — подобие гадания, китайской «Книги перемен», одновременно это и попытка «прошенья просить и ноги целовать» (1, 344). Автор показывает «пустоту творчества», его непреднамеренность, стихийность: «вдохновенья пустой корабль», «плохо связанный плот», «пустыню воды»; зависимость творчества (лодки без гребцов) от неведомой высшей воли. Трижды поэт не называет того, кто посылает ему вдохновение: кто выдумал... кто открыл... кто велел... Поэт подобен соловью, который должен пропеть свою руладу, услышать зов вдохновения — свисток флейты, несущий волну лирики, затопляющую душу, когда в ней поднимается волна раскаяния и любви к Творцу. Заключительное стихотворение «Китайского путешествия» — похвала красоте Земли и космоса, отраженного в поэтическом видении, возвращение к образам четвертого стихотворения («величиною с око ласточки...») о незаметности красоты. Поэт пишет не только от беды, но и от восхищенности окружающим миром, «бесценными» ветками природы, он творит оттого, что «улыбалась / чудесная вода» (1, 345). Творчество одновременно и награда для поэта, и преграда для зла. Эпиграф из китайского философа Лао-цзы говорит о Дао, которое он считает праотцом всех вещей: «Если притупить его пронизательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим» (1, 326). У Седаковой вместо Дао Божество, не названное по имени. В финале цикла она возносит хвалу этому Божеству, которое «нигде и везде». А последний образ «садовника у сада», не выпадая из китайской образности, соединяет цикл с библейскими садами. Поэт подобен садовнику Богу, он тоже служит миру своей похвалой.

«То, что всему отвечает, тому нет ответа»

Бесполезность искусства и красоты утверждается автором в стихотворении «Бабочка или две их»⁶⁷. Благодарная память о Хлебникове выражена в близком Хлебникову говорении новыми словами: «жить и в леторасли земной». Седакова откликается на поэму Хлебникова «Каменная баба» (1919), на его же стихотворение «Бабочки смерти...», поэтому образное наполнение слова «хлеб» в данном контексте связано со строчками Хлебникова: «жадной злобы их не захочу я хлеба» (1, 349), — о людях, живущих на чердаках жизни, предпочитая другой хлеб — хлебниковский, хлеб звезд, красоты, искусства, смолотый «в малой мельничке лазурного оранжевого хлеба» (1, 350). Так в этих стихах Седаковой отразился образ Велимира Хлебникова, к которому Седакова обращается по имени, как к другу. Близок Се-

⁶⁷ Попытка сравнить стихи «Каменная баба» Хлебникова и «Бабочку» Седаковой предпринята в работе М. А. Перепелкина «„Каменная баба“ Велимира Хлебникова и „Бабочка или две их“ Ольги Седаковой: Диалог через десятилетия». Автор статьи отмечает родство названий «Каменная баба» — «Бабочка или две их», «связь родственных однокоренных слов (баба — бабочка)». Самара, 1999. <http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/1999web1/litr/199910604.html>

даковой и его образ плачущего сына — блудного сына: «И месяц плачущему сыну / Дает вечерних звезд ковригу» («Каменная баба»), — который проходит сквозь ее поэзию, и «Каменная баба», скифская баба, несчастная узница своего вынужденного стояния, на чьи глаза прилег мотылек, — образ нового видения поэта, который оказывается словно в очках из бабочкиных крыльев:

Серо-белая, она
Здесь стоять осуждена
Как пристанище козьяков,
Без гребня и без булавок,
Рукой грубой указав
Любви каменный устав.
Глаза серые доски
Грубы и плоски.
И на них мотылек
Крылами прилег,
.....
Раньше слепец, сторож овец,
Смело смотри большим мотыльком,
Видящий Млечным Путем⁶⁸. («Каменная баба»)

Бабочка дает каменной бабе новое зрение, она теперь видит то, чего раньше не могла, космос, Млечный Путь: «Камень, шагай, звезды кружи гопаком. / В небо смотри мотыльком». Камень превращается в мотылька («Дева степей уж не та») и смотрит на мир другими глазами⁶⁹.

У Седаковой наш мир обычных людей представлен двумя образами: «злоба дня» и «злоба ночи», от которых автор отвращается. Риторический вопрос передает, что поэт хотя и помнит о реальности, но относится к ней с некоторой иронией: «Что нам злоба дня и что нам злоба ночи?» (1, 349). Этот мир дан еще через сравнение с «черепом», как останки чего-то живого, но в реальности и Хлебникова, и Седаковой не ценящегося. Автор научной работы о погребальном обряде древних славян, О. Седакова должна была бы испытывать большее уважение к «черепам», но у нее «череп» — это образ живого мира, в то время как бабочка — воплощение поэтической, метафизической реальности, реальности слова. «Каменная баба» дает Седаковой новое зрение: она смотрит на мир через очки, надетые Хлебниковым. Мир, не умеющий смотреть, как Хлебников, — мир безглазый, мир черепов, но в таком мире поэт ощущает себя не дома:

Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам, подписью узника,
На строгих стеклах рока⁷⁰. (Хлебников В.)

В «Зангези» Хлебников писал о себе как о бабочке, которая случайно залетела в жизнь людей и оставит след в ней пылью, он ощущал себя узником, как заточен-

⁶⁸ Хлебников В. <http://hlebnikov.lit-info.ru/hlebnikov/stihi/poemy/kamennaya-baba.htm>.

⁶⁹ Я думаю, не нужно объяснять переключку этих строк Хлебникова со стихами из «Камня» Мандельштама: «Я ненавижу свет...»

⁷⁰ <http://ru.wikisource.org/wiki/Зангези> (Хлебников).

ная в комнате бабочка. Родиной же воспринимался Хлебниковым мир чисел, который связан для него, видимо, с образом Вселенной: «Бьюсь я устало в окно человека, / Вечные числа стучатся оттуда / Призывом на родину, число зовут к числам вернуться» («Зангези»). Седакова, вспоминая эти стихи, говорит о слове, которым поэты расцвечивали «сор» жизни (ахматовское слово). В стихотворении Седаковой две части. Они как бы символизируют двух бабочек заглавия — «Бабочка или две их». Кроме того, эти две части по-разному построены. Первая часть — три четверостишия, которые автор располагает лесенкой, корреспондирующей, вероятно, с лесенкой Маяковского и, возможно, с лестницей Иакова. Кроме того, строительство «чердаков» людьми обычными, на которых не похож автор, противопоставлено архитектонике стихотворения, его римским лестницам. Во второй части четыре строфы, расположены традиционно, и здесь Поэт предстает чертежником или японским художником, на тот свет чертящим иероглифы «нежной тушью». Прикосновение (*франц.* туше) поэта к миру в творчестве совершенно бесполезно (Оскар Уайльд). Седакова просит Хлебникова передать привет — «три-четыре слова» — «кому-нибудь, кто там», привет на небесную родину, но, скорее всего, обращение через Хлебникова не только привет другим поэтам⁷¹, но и Богу, перед которым «на земле небесной» «лицом к его ногам» лежат поэты, ощущая с ним связь, как буддисты или мусульмане. Сама форма «мы» предполагает некую духовную общность. Речь поэта меньше тех чудес, которые, будучи уже не человеком, может знать о мироздании Хлебников, приближенный к Богу («чудеса великолепней речи»). Поскольку бабочка «летает на страну далече», физическое существование еще одной страны выражено наличием второй части текста. Поэтический мир — это и есть еще одна страна. Название «Бабочка или две их» проясняет: автор стихотворения тоже такая бабочка, которая на земле чувствует себя гостьей, и родным для нее оказывается общее с Велимиром небо, но летит она «на страну далече», поскольку небо обогатилось новой поэтической страной, отсюда использование не только фамилии любимого поэта, но и имени «Велимир», которое символизирует космическое здание поэтического мира. Если говорить о звукописи, которую активно использует Хлебников в «Каменной бабе» (г, гр), то тот же прием употребила и Седакова во второй части своего стихотворения, создавая как бы эффект произнесения своих имени и фамилии.

Образом поэта воспринимается героиня стихотворения «Хильдегарда», посвященного Патрику де Лобье, которое рассказывает о судьбе одной из любимых Седаковой исторических личностей, о святой Хильдегарде Бингенской, немецкой монахини, настоятельнице монастыря в долине Рейна, авторе мистических трудов и религиозных песнопений. В письме духовнику или Богу семидесятилетняя монахиня повествует, какой была ее душа в начале жизненного пути, в детстве⁷², оглядывается на прошлое. Эти стихи о Хильдегарде несколько напоминают пастернаковское «О, знал бы я, что так бывает...», написанное в сорокалетнем возрасте. У Седаковой замечательно дан образ юной души, сознающей величие собственной силы, но еще не знающей, куда ее растратить:

⁷¹ В ряду тех, кого могла иметь в виду Седакова, следует назвать, видимо, Цветаеву. См. цикл Цветаевой «Скифские». Страну поэзии и Россию неземной карты Цветаева в этих стихах определяет Скифией (стихотворение адресовано Пастернаку). См. также ее «Крестьянские глаза», где звучит тема иного зрения, и Цветаева пытается представить себя «бабою простой», а также «Поэму Конца», где она вспоминает «хлебниковский соловьиный стон / Лебединый...» (3, 285).

⁷² Хильдегарда была отдана на воспитание монахини в возрасте восьми лет.

С детских лет, когда еще не зная,
 для кого, кому наш дар,
 но встает душа пустая
 и пугает, как пожар. (1, 355)

Любопытно, что смерть рисуется в этих стихах через молодой образ: «легкими шагами парда / из укрытья вышел мой конец» (1, 355); Хильдегарда ощущает смерть сбрасыванием старости, обновлением души, несгорающего куста неопалимой купины — души поэта, знающего пожар сострадания, неистощимый пожар лирического слова. Этой теме бесконечного вечного двигателя творчества посвящено и стихотворение «Все и сразу» (так Седакова назвала и один из своих сборников, в первом томе ее стихотворений оно дано последним), стихи о том, как поэт дарит миру себя, без размышлений, без мысли о признании, о славе, не боясь иссякновения дара: «Все и сразу. / И не кончится. / И никто не отнимет» (1, 416).

Мысль о бессмертии касается и лучших произведений искусства («Все труды»). Поэт изумляется: неужели могут исчезнуть «все труды» гениев человечества, вспоминая «Я по лесенке приставной...» Мандельштама, размышляя на ту же тему («Не своей чешуей шуршим, / Против шерсти мира поем»⁷³, и его лесенка превращается в стремянки приставные, обозначающие средство подняться над бытом, символизируя лучшие творения, в том числе соборы великих зодчих: «нежные глаза Успенья и Софии, / о земля, и те закроешь ты?» (1, 359). Бога называет автор в этих стихах женским именем — Пощада: «Или вместе с нашими, Пощада, / руки не касались их?» (1, 359). Само слово «Пощада» соотносится в творчестве Седаковой со словом «Победа», определяющим ее Музу («Муза Победа» в «Элегии осенней воды»), а еще — с образом Афины Паллады, древнегреческой богини военной стратегии и мудрости, одной из двенадцати наиболее почитаемых богов и богинь Древней Греции, богини знаний, искусств и ремесел; девы-воительницы, покровительницы городов и наук, изобретшей флейту. Одетая в доспехи Афина «сероока и русоволоса», и внешнее сходство с собой автор не мог не отметить. Афина еще и «гелиная», «жужжащая» богиня⁷⁴, которая научила игре на флейте самого Аполлона. Овидий упоминает, что Афина посещала источник Пегаса на Геликоне и Муз. Она тонко чувствовала прекрасное и перестала играть на флейте, когда увидела свое отражение в воде с раздутыми щеками, что ей показалось некрасивым. Само добавление к имени Паллада объясняется по-разному, но можно коротко сказать, что «Паллада» прибавляется к ее имени после эпизода убийства то ли товарища по играм, то ли молочной сестры, то ли крылатого, убитого ею гиганта. Муза Победа Седаковой и Афина Паллада похожи своей королевской, божественной ролью, существованием над границами государств и стран, связью с музыкой, силой и самодостаточностью. Поэт — Победа собственной слабости, Бог же воспринимается как Пощада, сострадательное начало, которое простит и пощадит («Все труды»). Для Седаковой, видимо, не представима не только смерть архитектурных шедевров, но смерть тех художников слова, которые воспели их в стихах. Она верит в милосердную отчизну того света, которую готова защищать на этом.

⁷³ Мандельштам О. Э. Собр. В 3 т. 2009. Т. 1. С. 126.

⁷⁴ В воспоминаниях об Ахматовой именно этим словом определялась работа Ахматовой над стихами, когда Анна Андреевна ходила по комнате и «жужжала» стихи. Прислуга говорила: «А Анна Андреевна сперва хоть жужжала, а теперь не жужжит». «В самом деле, Ахматова записывала стихи уже до известной степени сложившиеся, а до этого она долго ходила по комнате и бормотала (жужжала)», — комментирует эти слова Лидия Гинзбург. Запись 1933 г. <http://read24.ru/fb2/lidiya-ginzburg-zapisnyie-knijki-vozpominaniya-esse>.

Творчество — Земли или поэта — предстает в ее стихах как дарение «света». Земля — образ души поэта, который, как и у Пушкина, «то, что всему отвечает» и чему в мире «нет отзýва». Земля для поэта — как бы учитель того, как следует жить, жить в свечении («Земля»). Поэт удивляется щедрости земли, сносящей землян и их плуг, топот и лемех, тому, как земля прощает неразумного человека, ведь он, словно ребенок, не знающий, как себя вести. Но Земля объясняет, почему она прощает: «потому что я есть», «потому что *все мы были*» (1, 385). Земля живет слишком долго и мыслит как бы вне времени, она и является для О. Седаковой воплощением христианского мировоззрения: «...я спрашиваю: неужели ты, безумная, рада/ тысячелетьями глотать обиды и раздавать награды?» (1, 385). Начало христианства связано для автора с представлением о свете и свободе, когда свободное человечество жило на свободной земле, и «вдруг он являлся: /свет, произносящий, как голос./ но бесконечно короче/ все те же слоги» (1, 387). Начало мира — это утешение Богом человека: «Не бойся, маленький!» («Начало») — эти слова из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где Маргарита утешала мальчика, проснувшегося среди ночи, когда она громила квартиру критика Латунского; слова папы Иоанна Павла II, с которыми он впервые обратился к верующим, понадобились автору для того, может быть, чтобы сказать о неодионочестве в творческом, словесном смысле: в начале было Слово, и это слово Утешения⁷⁵.

Победить свою слабость поэту помогает не только ощущение общего с некоторыми дорогими поэтами и писателями общего птичьего «гнезда», но и музыка — одно из любимых Седаковой искусств, одно из свидетельств Вечной жизни. Но стихотворение «Музыка»⁷⁶, посвященное композитору А. Вустину, в сущности, через музыкальные образы, говорит о рождении поэзии, о предчувствии поэзии. Создание стихотворения связано с неким перемещением в заграничном пространстве. Автор упоминает сначала о молитве с Сионского холма Иерусалима, затем о своем транзитном перелете в Европе через Будапешт, с пометой «кажется, Будапешт», от чего возникает ощущение, что поэт не вполне осознает, где находится, и находится не совсем там, где географически остается, как будто спит наяву. Непосещение одного из красивейших городов мира не кажется лишением, потому что главная ценность обретена, переход совершился: «музыка — это транзит». Ожидание рейса воспринимается ожиданием творческого часа. Любопытно, хотя это и не главное: звуковое посвящение композитору АлександрУ ВУстину (у-у-у) отражается в звучании начала стихотворения: воздУшных, поплывУт, полУбесплотные, в одиночкуУ, плУтая, ойкУмены, муКи, вслуШиваясь, звУки, звУки, звУки, прелЮдию, муЗыке. В первых восьми стихах создается гудение у-у-у-у, как бы гул будущей поэтической вещи. И предстояние перед «воздушными воротами» оказывается внутренним поиском Слова, сквозь разноязыкую смесь небезупречного, несовершенного языка, каким представляется поэту не только повседневный русский язык, но и европейские языки, которые приходится использовать в дороге. Ожидание музыки творчества — ожидание «не счастья, не муки». Поэт похож на сторожевую собаку, которая вслушивается, кто идет: свой или чужой? Исток творчества для многих поэтов — вслушивание в звуковой напев, предшествующий записи стихотворения. В этом смысле роль поэта и композитора родственна: не случайно стихотворение названо «Музыка». Важной приметой «музыки», «прелюдии», в которую вслушивается поэт в момент создания стихотворения, является то, что у нее

⁷⁵ См. в романе М. Булгакова: «— Я боюсь, — повторил мальчик и задрожал. — Не бойся, не бойся, маленький, — сказала Маргарита, стараясь смягчить свой осипший на ветру, преступный голос, — это мальчишки стекла били» («Мастер и Маргарита»).

⁷⁶ Стихотворение вошло в раздел «Элегии» (1987–2004).

нет «ни кола ни двора», она не привязана ни к какому пространству, нигде не закреплена письменно. Особенно актуальны в стихотворении синтаксические построения с использованием отрицательной частицы ни: «ни лада ни вида, ни кола ни двора, ни тактовой черты, ни пяти линеек, изобретенных Гвидо». И потом: ни ближних, ни дальних, / никого, ничего»; «ничуть неохота, / и ничуть не жаль»; «ни славы, ни уверенья, ни успеха» (1, 388–390). Это пониживание стихотворной ткани отрицанием всех материальных, вещественных примет «музыки» само несет определенную мелодию, интонацию, обладающую эмфатическим значением, и как бы передает напряженность поглощенности поэта своей музыкой. Поэт отрицает и наличие мысли о земном «ближнем» или «дальнем» читателе, слушателе или вообще о человеке, то есть в момент творчества он абсолютно одинок и занят только звуком и звоном музыки, которая представляется ему «всестрашьем». Другое определение этой внутренней музыки — «перемещения недоступности и высоты»; музыка оказывается одним из образов Бога для поэта. Не случайно автор говорит о своей просьбе о ней на холме Сиона, соотнося себя с Давидом-псалмопевцем. И эта космическая музыка побеждает поэта, как Сила, с которой не хочется сражаться: «Музыка, небо Марса, звезда старинного боя, / где мы сразу же и бесповоротно побеждены» (1, 388). Звуковым воплощением музыки является использование повтора: четырежды повторяется в позиции синтаксического параллелизма «ради незвучащего звона, / ради незвениящего звона», и отметим наличие в тексте слов с частицей не, которые объединяет признак недоступности: *непрозрачного бытия, недоступности, незвучащего, незвениящего*.

Дважды повторенное слово «транзит» по отношению к музыке определяет суть произошедшего. Транзит соотносится с музыкальными терминами «транспонирование», «транспозиция», поэтому звучит особенно понятно для композитора, которому стихи посвящены. Таким образом, музыка внутри души поэта, ее лад и строй, есть то, что перемещает в пространстве, хотя в реальности поэт никуда не движется, «походный оркестр», как музыка во сне Пети Ростова. Упоминание Пети, для которого музыка была его последней земной радостью, вносит в стихотворение трагическую ноту. Для поэта душа — «самый надежный звук на свете», которого он добивается ценой жизни. И словно отступает в этот момент все остальное. Звучание «музыки души» (Окуджава), громкой и тихой, великой и незаметной, собирающей «клекот лавы» и «стрекот сверчка»⁷⁷, «сердце океана», — подтверждение ненепростности бытия, но поэту в этой музыке не принадлежит ничто, потому что он «Лазарь у чужих ворот», сновидец, видящий «ливень, который, как любовь, не перестает» (1, 390), наблюдатель и созерцатель. Финал стихотворения перекликается с началом — о воздушных воротах *гужой* страны, *гужого* города. Фразеологизм «воздушные ворота» повторяется в стихах дважды, в первый раз с едва уловимой иронией по отношению к каждодневной публицистической, штампованной речи, во второй раз — в качестве указания на место событий: «Этот город в середине Европы, / его воздушные ворота» (1, 389). Речь поэта, таким образом, связана с речью обычной, земной и далека от нее, потому что поэт находится в воротах, которые одновременно уводят его из земной реальности. Сама строка о середине Европы в стихотворении находится посередине текста. Таким образом, создается связь между архитектурой стихотворения, географической картой и городом, в котором транзитом оказался автор. Этот не названный по имени город — образ поэтического существования в духовном «измерении» тех ворот, набережных и башен

⁷⁷ Возможно, Седакова вспоминала стихотворение А. Тарковского «Сверчок». Любопытно, что в немецком языке слова *springen* (прыгать), *sprechen* (говорить) близко звучащие.

искусства, которые строит поэт в неземных пространствах своего воображения⁷⁸, где почти в небытии сердце «может еще поглядеться в сердце», поэт способен увидеть отражение своего земного «я» в бессмертной музыке речи. Образ сравнения «как эхо в эхо» связан со стихами Пушкина о поэте, который воспринимал поэта эхом всего многообразия голосов мира, но не слышал «отзýва» на свой голос («Эхо»). Поэт смотрится в свое отражение, он занят своим сердцем и жив, пока находится в состоянии творческого вдохновения и слышит гул своей музыки.

«Памятник встречи»

Читая произведения Седаковой, как философские, так и стихотворные, читатель ощущает значимость для поэта темы памяти о людях культуры, о тех, кто воплощал внутреннюю свободу (Аверинцев, Панов, Хвостин, Лотман, Бибахин, Гаспаров, Пастернак). В поэзии, в разделе «Стелы и надписи» тема памяти выразилась в поэтических надписях на могилах, что само по себе, кажется, в нашей литературной практике до Седаковой не встречалось: «Мальчик», «Старик и собака», «Женская фигура», «Две фигуры», «Госпожа и служанка», «Кувшин» и другие. Любопытно в данном случае, что тема цикла совпала с началом телевизионных казенных «памятников» вождям (похороны Брежнева, Черненко), но получила в цикле 1982 года «Стелы и надписи» совершенно своеобразное развитие. Если в «Элегии, переходящей в реквием» автор оплакивал своих поэтов, которые, как святые, глядели на него со звезд, личностей, замученных эпохой: «Давно они глядят издали» (1, 312), — то в цикле «Стелы и надписи» Седакова, созерцания памятники умершим, высказывает мысль о необходимости встречи: «Прохожий, люби свою жизнь, / благодари за нее. Тени мало что надо: памятник встречи» (1, 298). Памятник как встреча двух миров, земного и небесного, как некий каменный знак этой встречи. Посмертие понимается автором миром, где умершим «хорошо», где они всегда счастливы. Но это постоянство — обреченность. Каждый из умерших как бы длит миг своей смерти. Так женская фигура вечно должна смотреть на одно и то же море и скорбеть. В стихотворении «Кувшин, надгробье друга» умерший видится через образы космогонические: смерть — превращение умершего в одну из звезд. Наши посмертные созвездия, по мнению поэта, созданы нашей любовью к тем, кто нам дорог, к ушедшим героям и поэтам.

Памятником встречи становится стихотворение «Памяти поэта», посвященное И. Бродскому. «Как сразу же услышит читатель, образцом стиха для этой вещи стало ахматовское „Путем вся земля“; услышит он и цветаевские обороты. Мне хотелось, чтобы две эти российские Музы участвовали в посвященных памяти Бродского стихах. Сам Бродский в стихах на смерть Элиота взял образцом оденовское „На смерть Йейтса“», — написала О. Седакова в примечании к журнальной публикации этого стихотворения⁷⁹. В ее однотомнике этого примечания нет, вероятно, автор счел, что объяснения уже излишни. Надо сказать, пока я не прочла авторского комментария к стихотворению «Памяти поэта», я считала, что написано оно на мотив «Следок твой непытан...», из цикла Цветаевой «Ханский полон». Для меня это соединение ахматовской и цветаевской «музыки» стиха оказалось неожиданным. Объяснение заключается в следующем: 16 марта 1940 года Ахматова написа-

⁷⁸ «Notre Dame» Мандельштама здесь мне представляется ближайшим родственным текстом, в котором поэт соотносит свое мастерство с мастерством архитектора: «...из тяжести недоброй / И я когда-нибудь прекрасное создам». Собр. В 3 т. 2009. Т. 1. С. 62.

⁷⁹ Дружба народов. 1998. № 5.

ла стихотворение «Поздний ответ», адресованное Цветаевой, после завершения поэмы «Путем вся земля», которая была создана 10–12 марта 1940 года. Таким образом, мысль о Цветаевой, возможно, бессознательно присутствовала в Ахматовой, когда она писала в «Путем вся земля» о *своем* полном одиночестве, которое нарушило воспоминание о Цветаевой, и, закончив поэму, Ахматова, видимо неожиданно для себя, восприняла Цветаеву как еще одну «китежанку»⁸⁰. Назвав свое стихотворение «Поздний ответ», она назвала «поздним ответом» не только само стихотворение, но еще и не сразу замеченное влияние цветаевского ритма, которое заметила, возможно, по завершении «Путем вся земля». Отсюда, видимо, и образ невидимки, птицы-двойника, пересмешника в «Позднем ответе». Интересно отметить, что тема чужого стиха, воспринятого от другого поэта, звучит в конце поэмы, равно как и тема последнего покоя: «Теперь с китежанкой никто не пойдет, / Ни брат, ни соседка, / Ни первый жених, — / Лишь хвойная ветка / Да солнечный стих, Оброненный нищим и поднятый мной...»⁸¹ Ирландский поэт Шеймус Хини намеренно построил свое стихотворение о Бродском на музыке стихотворения Одена памяти Йейтса. А Седакова берет ритм стихов Ахматовой как знак соединения двух поэтов, Ахматовой и Бродского, уже в новой, посмертной реальности. Заметила ли Седакова, что музыка ахматовской поэмы заимствована у Цветаевой, неизвестно, возможно, заметила, но не стала раскрывать читателю в примечании.

В первой части стихотворения упоминаются «загробные струны сестер Пиерид», так как одним из местопребываний Муз считались горные источники Пиерии, близ Олимпа. Среди этих сестер, очевидно, все великие женщины-поэты. Сборник одной из них, Софьи Парнок, назывался «Розы Пиерии». В стихотворении «Первая лира, поэт, создана первоприхотью бога...» Парнок рассказывает о создании первой лиры Гермесом из панциря черепахи, о его полете в Пиерию, где Сафо станет десятой музой в их хороводе:

Вихреподобный полет устремляет к Пиерии дальней,
Где в первозданной тени Музы ведут хоровод, —
В сад Пиерийский, куда ты, десятою музою, Сафо,
Через столетья придешь вечные розы срывать⁸². («Лира»)

Седакова соотносит сады Пиерид, царство олимпийских богов и Аполлона, с местом последнего пристанища Бродского, с островом Сан-Микеле: «...как лоно лагуны, / звук, запах и вид / загробные струны / сестер Пиерид / вбирают, вникая / в молчанье певца / у края / изгнанья, / за краем конца...—» (1, 391). Вероятно, есть здесь и сопоставление с Данте, который, как Бродский, был изгнан из родной Флоренции. Тем более что во второй части стихотворения автор вспоминает об Италии, о совместной прогулке с Бродским по Венеции: «ту площадь Сан-Марко, / где шли мы втроем» (1, 392). Кто был третьим, мы не знаем, возможно, поэт, о котором они говорили, *реальный или духовный* «третий». Возникает невольная параллель между сестрами Пиерид и поэтами XX века. Бродский, для Седаковой, тот, «в бряцанье со-

⁸⁰ У Цветаевой образ града Китежа отразился в стихотворении «По нагорьям...» (1922): «(Мертвых Китежей / Что нам — пастбища?)» (2, 89) Цветаева хотела назвать «Китеж-град» свои «Версты» (такое название было анонсировано в 1922 году). СВТ, с. 36. Знала Цветаева и стихи Волошина «На дне души гудит подводный Китеж — / Наш неосуществленный сон!» («Китеж», 1919).

⁸¹ Ахматова А. Сочинения. В 2 т. 1986. Т. 1. С. 272.

⁸² Парнок С. Собрание стихотворений. СПб., 1998. С. 215.

звучий / родной звукоряд / державший» (1, 392), мифический герой, Атлант, Антей, который должен встретиться с музами, измерив «угол земли и звезды», подобно Велмиру Хлебникову (отсылка к его стихотворению «Еще раз, еще раз...»)⁸³. Бродский, хотя и достиг славы, был также не понят, недооценен в своей стране. Он тоже «звезда», по которой поэты, оставшиеся на земле, станут сверять свой путь, горюя о нем, вспоминая его рождественские стихи; он сирота, повествовавший о своем уродстве, «рог, верящий в Карла» (намек на «Роландов рог» Цветаевой), музыкальный инструмент Бога). Стихотворение написано как бы от лица поколения поэтов эпохи Бродского, которое сопоставляется с поколением Серебряного века: «О да, мы рождались / на равнинах других» (1, 393). Разговор с Бродским — это диалог цитатами из любимых стихов: Мандельштама, Цветаевой, Пауля Целана:

Смерть — нерусское слово.
Как там Пауль писал?
Смерть — немецкое слово,
но русское слово — тюрьма. (1, 393)

Цветаевским оказывается сам принцип развертывания текста: прославление движения вверх, которое дается по-цветаевски, при отсутствии глаголов-сказуемых: «в то жгущее всех: / вверх! / здесь невозможно без этого: вверх» (1, 394), а также использование двоеточий, характерных для периода «Ремесла». Цветаевским является и эпитет «безмерный», повторяющийся дважды: «этапник в безмерной, / безмерной степи» (1, 394). Движение всякого поэта, а именно Бродского, вверх, противопоставлено невозможности земной жизни среди людоедов. Это движение перекликается с воображаемым путем ахматовской лирической героини («Путем всея земли»): «Меня, китежанку, позвали домой»⁸⁴.

В шестой строфе поэт уподоблен лесной птице, свободной «от всех гравитаций», что роднит его с Мандельштамом⁸⁵. Кроме того, образом движения дается «отвязанный плот», что напоминает «Гефсиманский сад» Пастернака («Я в гроб сойду и в третий день восстану, / И, как сплавляют по реке плоты, / Ко мне на суд, как баржи каравана, / Столетья поплывут из темноты»), переведенного Цветаевой «Плотогона»:

И если над строкою
Я слеп, и сох, и чах —
То лишь затем, чтоб пели
Меня — на всех плотах! (Цветаева, 7. Т. 2. С. 485)

Стоит отметить, что автор этого стихотворения не установлен, поэтому возникает перекличка и со «Стихами о неизвестном солдате» Мандельштама, как слово об одном из безвестных «солдат» гвардии поэтов. Далее Седакова вспоминает «Муху» Бродского: душа поэта похожа на сторукого Шиву⁸⁶, на «дым благословен-

⁸³ См. следующее высказывание: «А вернул ее в поэзию именно Иосиф Бродский, точнее даже сказать — „напомнил, что она есть“». Ольга Седакова о поэзии и культуре 70-х годов, которых официально не было. <http://www.taday.ru/text/1316994.html>

⁸⁴ Ахматова А. Сочинения в 2 т. 1986. Т. 1. С. 269.

⁸⁵ См. стихотворения Мандельштама «Ласточка», «Автопортрет», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» и др.

⁸⁶ См.: Айзенштейн Е. По кличке Муза. О стихотворении «Муха» Иосифа Бродского // Нева. 2011. № 9.

ный / земных алтарей» (1, 395). Полет души в небо дается через образ чистого дыма, не оставляющего гари. Поэт становится частью того морского пейзажа, который любила Сафо, звездного неба, которое видел Ломоносов: «Открылась бездна, звезд полна»⁸⁷. Стихотворение — поэтическая игра с Бродским цитатами, игра образами вопреки разлуке, подобная той, в которую играла Цветаева с Пастернаком в поэме «С моря»:

Как дети играют:
«Чур, первую мне!» —
У края
создания, в заочной стране —

забвения мрак,
поминания мед
кто первый уйдет,
пусть с собою берет —

туда. Где, как сестры,
встречает прибой,
где небо, где остров,
где: Спи, дорогой! (1, 396)

Сроки десятой строфы даются лесенкой, как будто эта лестница в небо или вниз, в «колыбель зыбей»⁸⁸. В ряду шедевров, для которых Седакова не мыслит умирания, стихи и души великих поэтов, стихи Манделштама («Я по лестнице приставной...»), поэма «Лестница» и «поэма Воздуха» М. Цветаевой. Это поэтическая лесенка спуска или подъема поэта в царство того света, которая соотносится со старинным жанром канцонны, куда привет от Седаковой должен перенести тот, «кто первый уйдет», кто окажется в том же мире. Этот мир того света предстает здесь женственным миром сестер, где сестры Музы и поэтические сестры: Цветаева, Ахматова, Парнок, которые присутствуют в стихах через цитаты и образы, через музыку стиха. А Бродский соотносится автором с богом Аполлоном. Начав с письма Ахматовой о Бродском: «Главное — величие замысла, как говорит Иосиф», — на мнение которого Ахматова ссылается как на классика, Седакова, исполнив свою миссию и соединив поэта с поэтами, введя его в круг «сестер», тоже утверждает величие Бродского, а заканчивает стихотворение строкой письма Цветаевой, которое перепосвящается Бродскому, «Спи, дорогой» — цитата из любовного письма Цветаевой А. Вишняку, которое затем станет частью ее прозы «Флорентийские ночи» (адресат письма, Вишняк — «дорогой», «мой дорогой»). Само же название прозы Цветаева заимствовала у другого брата — немецкого поэта Г. Гейне. Цветаева, никогда не бывавшая во Флоренции, переписывалась с издателем Вишняком в Берлине. Образ «Флорентийских ночей» Цветаевой соотносится автором стихотворения «Памяти поэта» с образом мечтанного мира воскресения. Слово «дорогой» встречается в письмах Цветаевой и когда она говорит о своем друге М. Л. Слониме (Ц7, 6, 702). Таким образом, Седакова желает Бродскому спокойного сна уже не от своего лица, а от лица Цветаевой, которую он любил больше всех других поэтов. Получается, что поэт Бродский, Орфей, прибывший в сады Пиерид и встреченный сестрами, существует уже не в реальности смерти, но как

⁸⁷ Ломоносов М. В. «Вечернее размышление о божием величестве...».

⁸⁸ Цветаева о последнем пути Орфея к острову Лесбос в стихотворении «Так плыли: голова и лира...» (1921).

воскрешенный в слове, через соединение с текстами любимых им поэтов. Одновременно возникает параллель со стихотворением Бродского «Ни страны, ни пого-ста...», где Бродский писал о своем желании умереть в Ленинграде: «На Васильевский остров / я приду умирать». Бродский умер в Америке, но был похоронен все-таки на острове, хотя с другим названием. Слово остров встречается в поэме «Путем вся земля» Ахматовой как образ прошлого китежанки (Крым), куда героиня Ахматовой уходит из жизни, а в стихотворении Седаковой оно появляется только один раз в предпоследней строке, символизируя возможный выход в Бессмертье. Возвращаясь к родству брата и сестер, отметим эту тему и в стихотворении Бродского, а также тему движения души «в петроградском дыму», которая перекликается с дымом в стихах Седаковой, и слова прощания «До свиданья, дружок» во второй строфе стихов Бродского, звучащее как цветаевское прощание из «флорентийского» письма, как есенинское «До свиданья, друг мой, до свиданья...»:

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
.....
— Словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед⁸⁹. (1962)

Девочки-сестры этого света машут «мальчицам вслед», от Гумилева до Хлебникова⁹⁰, на тот свет, а на том свете сестры Пиерид встречают его. Стихи о Бродском — «поминания мед»⁹¹ — так в стихотворении создается поэтическая арка: и сестры-поэты встречаются с Бродским в слове четвертого поэта. Название «Памяти поэта» перекликается с двумя известными посвящениями о Пушкине Лермонтова и о Маяковском Пастернака — «Смерть поэта». Неназывание — его основной прием, который часто использовала и Ахматова, например, в стихах о Пушкине («Пушкин»). Автор говорит о несомненной ценности Бродского-поэта, чье имя, без фамилии, как бы витает над текстом, а сам Бродский оказывается уже не земным человеком, а Орфеем, частью русского языка, русской речи, лучших страниц русской и мировой поэзии.

Тема памяти является важной и в предпоследнем стихотворении книги Седаковой, в «Ангеле Реймса», посвященном французскому философу Франсуа Фейде. Я не очень люблю эти стихи, хотя понимаю, за что их любит их автор, почему они переведены на несколько европейских языков, и по-итальянски их звучание мне даже понравилось, но все же считаю, что следовало бы поместить в томе философа-

⁸⁹ Сочинения Иосифа Бродского. СПб., МСМХII, 1992. Т. 1. 225.

⁹⁰ «Мальчики и девочки» — первоначальное название романа «Доктор Живаго» — также невозможно не вспомнить в этом контексте.

⁹¹ Сам образ меда поэзии восходит к германо-скандинавской мифологии, и настоящих поэтов медом (Scaldamiorg), сделанным отчасти из слюны богов, наделяет сам Бог, а бездарные поэты довольствуются медом, случайно пролитым богом Одинем. См. стихотворение Ахматовой «Привольем пахнет дикий мед...», Мандельштам «Золотистого меда струя из бутылки стекла...», в которых образы меда обозначают поэтическое начало. Этот образ использовали и поэты неофициальной культуры второй половины XX века, см., например, стихотворение Петра Брандта «Пчелы» («Вспомним медового Спаса...»). Лица петербургской поэзии. СПб., 2011. С. 521.

ских сочинений, поскольку на первый план в этих стихах выходит «moralia». Может быть, если бы «Ангел Реймса» был написан по-французски, он бы читался лучше. Во всяком случае, мне кажется подозрительным и странным, обидным для автора, что это произведение, переведенное на несколько европейских языков, ничего не теряет в переводе. Это происходит оттого, что непереводаемого в нем нет, в нем нет русской мелодики, нет рифмы⁹². Может быть, французский ангел не захотел говорить в рифму? «Ангел Реймса» — слишком статичный текст, похожий на молитву, ему не хватает движения. Для О. Седаковой, вероятно, значимо соотношение стихотворения с архитектурным сооружением (Реймский собор, место венчания на царство всех французских монархов, в том числе в присутствии Жанны Д'Арк венчание Карла VII), и если посмотреть на расположение строк, можно различить фигуру, которая вырисовывается в рисунке стихов. И все же статика побеждает динамику, и главный недостаток этого текста мне видится в отсутствии эффекта неожиданности финальных строк, на который рассчитывает автор. «Мне всегда был понятен только один вид композиции — на крещендо», — однажды призналась О. Седакова⁹³. Мне представляется, этого эффекта крещендо здесь нет. Любое стихотворение читается не один раз, и вот для этого неоднократного чтения «Ангел Реймса» не очень подходит. Можно сказать и по-другому: фигура ангела Реймса для меня прекраснее, чем монолог вызывающего ангела. У этих стихов, несомненно, найдутся много защитников и поклонников, тем более что привлекательна сама идея этого текста — о готовности к счастью, которой ждет от человека улыбающийся Ангел Реймса. Образы стихотворения рисуют Землю миром страданий и ужаса: «...в этом розовом искрошенном камне, поднимая руку, / отбитую на мировой войне⁹⁴, / все-таки позволь мне напомнить: / ты готов?» (1, 414–415) — и как райский мир «в земле превосходной пшеницы и светлого винограда». Если статистически подсчитать, выяснится, что перечисление автором злых сил и напастей перевешивает группу слов, связанных с образом счастья, но завершает стихотворение вопреки этому вопрос:

Я говорю:
ты
готов
к невероятному счастью? (1, 415)

Ангел обращается к человеку, подняв руку, «отбитую на мировой войне» (самый яркий образ стихотворения), то есть приводя в действие то, что в реальности отсутствует, но есть в памяти, не только в его личной памяти, но и в коллективной памяти человечества. Память о красоте заставляет Ангела напоминать человеку о его назначении, о созданности для счастья, для радости, даже если его окружает не преображенная творчеством реальность.

«Ангел Реймса» корреспондирует с ранним стихотворением Седаковой, «Однажды, когда я умру до конца...» (1967), в котором тоже звучит тема бессознательной памяти. Поэту кажется, что когда-нибудь, когда его не будет на свете, палкой по заборам будет играть ритм его внутренней музыки, «веселый мотив», ребенок, про ту родину, которую поэт утратит после смерти, а ребенок не знает в реальной жизни, но бессознательно узнает через ритм: «...про то, что я знаю, а ты не узнай — про то, что никак не припомню» (1, 17). Отчий край в этих стихах назван чуждым кра-

⁹² Есть некоторые исключения, о которых говорить не буду. Это именно исключительные вещи, в которых работает, действует на читателя что-то другое.

⁹³ Седакова О. Похвала поэзии. http://lib.rmvoz.ru/bigzal/sedakova_pohvala_poezii.

⁹⁴ Статуи собора пострадали во время Первой мировой войны, в 1914 году.

ем. Но память о плохом уходит («никак не припомню»), ребенку поэт оставляет только хорошее («ты не узнай»). Хорошим в памяти лирической героини оказывается веселый мотив, который ребенок стучит «по тонким дранкам заборов» (1, 17). В нем каждая земная нота, значимая «сама по себе», звучит в соединении «с ледком» того света, но напоминает «буквы в Клину и Коломне, похожа на поэзию Пушкина и музыку Чайковского. Таким образом, на заре творчества и в нынешние времена важными для автора оказываются одни и те же начала — существование в ритмическом согласии с небом, бытие поэта на «островах высоких и веселых». Мне кажется, творчество Ольги Седаковой в целом — важное напоминание всем нам высших ценностях, которыми являются поэзия и культура; ее произведения обладают живой способностью увлекать читателя в звуковой мир искусства слова, уводить из прозы повседневности к преображенному, осуществленному, цветному образу Божьего царства, «от здешних к нездешним вещам» (Теодульф Орлеанский)⁹⁵ (2, 161).

⁹⁵ Перевод Ольги Седаковой.

ДОМ ЗИНГЕРА

Легенды и сказания Крыма. Автор-составитель Анатолий Таврический.

Харьков: Альбатрос, 2014. — 160 с.: ил.

Пробудить у молодого поколения любовь к романтике, интерес к полуострову, к тайнам, загадкам Крыма, его невероятному прошлому — вот задача, которую поставил перед собой, составляя эту книгу, Анатолий Таврический, севастопольский историк и путешественник, почетный гидронавт СССР, океанолог, неутомимый исследователь Черного моря. И переплетаются, как это часто бывает в легендах, вымышленное и реальное. Так, если верить мифам древних греков, в Тавриде побывал Геракл, и местная змееногая богиня Апа родила от него трех сыновей, один из которых, Скиф, стал родоначальником скифских племен. В Тавриду боги перенесли Ифигению, дочь царя Агамемнона, отправлявшегося на Троянскую войну, и здесь же, в Балаклаве, уже возвращаясь с этой войны, пережил одно из своих приключений хитроумный Одиссей. В Крыму обитало несколько поколений амазонок, и недавно археологи обнаружили захоронение знаменитой амазонки, сарматской царицы Амаги. Среди реальных, исторических персонажей крымских легенд и правитель Понтийского царства Митридат Евпатор, подчинивший многие народы Кавказа, завоевавший Херсонес и Боспорское государство, оставивший значительный след в истории и топонимике Крыма; и киевский князь Владимир, принявший христианство от руки епископа Корсунского; и неизвестные Гирей; и темник Золотой Орды Мамай, разбитый на Куликовом поле и бежавший в Крым, где и нашел свою смерть. Земля Крыма видела многое: свой след в ее истории оставили скифы, сарматы, греки, тавры, византийцы, гунны, турки... И были между ними смертельные битвы, и были долгие осады поселений, в междоусобицах и под натиском степи гибли княжества, города. И всегда находились те, кто защищал свою землю. И память о былых битвах и их героях хранят причудливые скалы, каменные глыбы, утесы, горные вершины. Так, каменные изваяния на подступах к Мангупу — не что иное, как двенадцать скифов и одна амазонка, навсегда преградившие степным кочевникам путь на Мангуп. В недрах вершины Чатыр-Дага сокрыты подземные дворцы, где погибли укрывавшиеся от нападения кочевников местные жители. В недрах Карадага — Черной горы — некогда обитал одноглазый

великан. Медведь-гора, Окаменелый чабан, скалы у Симеиза — Дива, Монах, огромная Кошка над ними... С каждым камнем, с каждой скалой в Крыму связано свое старинное предание, своя поэтическая легенда. Легендами овеяна и топонимика Крыма: Ялта, ее Золотой пляж, Орлиный залет, Девичья башня в Судакской крепости... Целый цикл легенд связан с христианскими святынями: целебный источник Косьмо-Дамиановского монастыря, скала Святого Явления у Георгиевского монастыря, Святая могила на Карадаге, Окаменелый корабль, напоминающий о святой Варваре... И есть у этих легенд простые, но такие ясные послылы: разрозненность ослабляет народы, делает их беззащитным перед внешним врагом, и каждый, кто приходит на землю Крымскую с недобрыми помыслами, оскверняет святыни, губит природу, загрязняет море, обязательно получает наказание свыше, и каждый, кто защищает свою родину, останется в памяти потомков. А. Таврический рассказывает и о своих исследованиях: о подводных вулканах — черноморских «курильщиках», о гигантских змеях и чудовищах, что давали о себе знать в веках XIX, XX, XXI. Он уверен и в существовании черноморского змея по имени Блеки — ведь в Крыму вполне могли сохраниться реликтовые виды рептилий и животных, сенсационные открытия еще предстоят. Старинные крымские предания, и современные легенды, собранные в книге и прокомментированные, — все это часть богатой на события истории многонационального Крымского полуострова с древнейших времен и до наших дней.

Валерий Мешков. Анна Ахматова: Тайна «крымского изгнания». Симферополь: Бизнес-Информ, 2014. — 208 с.: ил.

Главные тайны жизни Ахматовой связаны именно с евпаторийскими событиями 1905 года, считает евпаторийский краевед Валерий Мешков, и, только зная основные события детства и юности Ахматовой, можно понять ее дальнейшую жизнь. Несмотря на многочисленные исследования, осмысленная картина жизни семьи Горенко в Евпатории не складывалась. Вопросы оставались. Почему семья Горенко оказалась именно в Евпатории? И когда? Могла ли юная Аня Горенко слышать выстрелы с броненосца «Потемкин»? Состоялась ли в Евпатории ее встреча с Гумилевым? Кто и что волновали начинающего поэта? Кто в действительности был ее первой любовью? Достаточно подробных воспоминаний об этом времени Ахматова не оставила, письма и стихи «евпаторийского периода» уничтожила и всегда возмущалась, что ее письма к Штейну, мужу старшей сестры, оказались в чужих руках, а она не желала, чтобы они попали в печать. Не всегда можно было доверять и словам самой Ахматовой: в ее высказываниях, в воспоминаниях была некая недосказанность, она сама запутывала события своей юности, порождая тем самым бытующие ныне мифы и легенды. Так, были очевидные причины того, почему Ахматова скрывала или давала неверные и неточные сведения П. Лукницкому, работавшему над ее биографией. После революции приходилось приспособливаться к новой жизни в новых условиях и не все подробности своей биографии имело смысл обнародовать, а то, что отец был отставным инженером-механиком флота, звучало в те годы много нейтральнее, чем высокопоставленный чиновник. И вот еще одна загадка, разрешить которую взялся В. Мешков: почему Андрей Антонович Горенко, только что получивший повышение по службе, накануне присвоения чина действительного статского советника, ушел со службы, оставил семью, и какова роль юной «декадентской поэтессы» в семейной драме. Исследователь полагает, что многие «евпаторийские тайны» Анны Ахматовой связаны с предыдущим, царскосельским, периодом ее жизни. В основу книги легли очерки, публикации и выступления автора в разные годы — в различных изданиях, на чтениях и симпозиумах. В. Мешков корректирует устоявшиеся представления о юности будущего поэта, уточняет даты, по-новому

осмысливает факты известные, вводит в научный оборот новые документы. Он опровергает закрепленное в литературе время прибытия семьи Горенко в Евпаторию в августе 1905 года и, на основе собранных материалов, предлагает как реальное конец весны или начало лета 1905 года — до восстания на броненосце «Потемкин». Он доказывает, что не таким уж поверхностным было знакомство И. Анненского и А. Ахматовой. У них имелся общий круг близких и знакомых, они имели возможность эпизодического общения в обстановке «домашних вечеров» молодежи в 1904–1905 годах, Анна бывала в семье Анненского, и Анненский мог знакомиться с ранним творчеством Анны Горенко как от нее самой, так и от ее близких и знакомых людей в 1904–1909 годах. В. Мешков выдвигает свою версию эволюции отношений Анны Ахматовой с В. Голенищевым-Кутузовым, ее «догумилевской» любовью, свою версию отношений А. Ахматовой и Н. Гумилева. Выходя за рамки «места и времени», он обращается к темам «Анна Ахматова и Есенин», «Анна Ахматова и Волошин», «Анна Ахматова и Н. Недоброво» и создает впечатляющую картину: «Поэты и время». И конечно, взяв за основу «Летопись» В. Черных, вносит в нее изменения и новые сведения и предлагает свою хронологию жизни и творчества Анны Ахматовой в «евпаторийский период». В своей работе В. Мешков отдает приоритет подлинным документам: письмам самой Ахматовой, ее автобиографическим заметкам, написанным в последние годы ее жизни, мемуарным заметкам современников, книге А. Хейт, которую редактировала сама Ахматова. Источники типа дневников П. Лукницкого, «Записок об Ахматовой» Л. Чуковской он считает вторичными и резко, пристрастно критикует всех «ахматоведов» и «антиахматоведов» за отсутствие в их работах ссылок на публикации и документы, за недостоверность информации.

Александр Маленко. «Была пора: Екатеринин век...». Екатерина II и Крым. По страницам документов. Симферополь: Бизнес-Информ, 2013. — 328 с.: цв. ил.

«Всемиловнейшая Государыня! <...> Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, цесарцы без войны у турок в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собою Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит. Удар сильный — да кому? Туркам: это вас еще больше обязывает», — из записки князя Григория Потемкина о Крыме, обосновывающей целесообразность и необходимость присоединения полуострова. Приобретение Крыма означало для России и господство в Черном море. Книга Александра Маленко дает целостное представление об интереснейшей эпохе в истории полуострова: это и проблема Крыма во внешней политике Екатерины Великой, и этапы решения проблемы, и внутренняя — всегда, на всех этапах, уважительная — политика императрицы по отношению к населению полуострова, его законам, обычаям и нравам. Герои книги — сподвижники императрицы, крымчане, определившие историческую судьбу полуострова, европейские дипломаты и, конечно, сама Екатерина, чье длительное царствование получило название «Екатеринин век». Хронологически книга охватывает все царствование Екатерины (1762–1796). В центре ее — пребывание императрицы на Крымской земле во время самой знаменитой из ее поездок по империи, первый туристический вояж в истории Крымского полуострова, длившийся почти полгода: он начался 2 января 1787 года в Петербурге и завершился 13 июля в Царском Селе. А. Маленко «уводит» своего читателя из XXI столетия в XVIII, дает возможность «попасть» в рабочий кабинет императрицы, «почитать» самые секретные документы двора, «сопроводить» императорский кортеж в его странствиях по Тавриде, «послушать» разговоры высших сановников императрицы, «вернуться» с ними в Санкт-Петербург и снова

читать указы двора, касающиеся Крыма. Подробности пребывания Екатерины Великой на Крымской земле запечатлены во множестве документов. «Журнал высочайшего путешествия Ее Величества Государыни Императрицы Екатерины II самодержицы всероссийской в Полуденные страны России в 1787 году» — один из самых точных документов, фиксирующих события поездки в Крым, — вел статс-секретарь императрицы А. Храповицкий. В камер-фурьерском церемониальном журнале записывалось все, что происходило за день: с кем встречалась императрица, что делала, что осматривала, где обедала, где останавливалась на отдых. Свои записки оставили сопровождавшие Екатерину в путешествии австрийский император Иосиф II, французский посол Сегюр, принц Нассау-Зиген, дипломат де Линь, фельдмаршал из Венесуэлы де Миранда, гость Потемкина. Специальный путеводитель, изданный к началу путешествия императрицы, рассказывал о далеком прошлом мест, которые предстояло посетить императрице, о достопримечательностях, а в ее маршрут входили и Перекоп, и Бахчисарай, Старый Крым, Севастополь, Симферополь, Феодосия и еще немало поселений, многие из которых ныне утратили свои исторические названия. Масштабы предпринятого вояжа поражают: Екатерину сопровождало до трех тысяч человек — огромная свита, чиновники, что работали с императрицей в пути, прислуга, приглашенные высокопоставленные гости, присоединявшаяся по ходу следования местная аристократия. Карета, в которой ехала императрица, состояла из кабинета, гостиной на восемь человек, игорного стола и небольшой библиотеки; громоздкое сооружение, поставленное на полозья, везли тридцать лошадей. Одним из наиболее сложных вопросов была поставка лошадей, его решению активно способствовало население Крыма. Уже в преддверии путешествия по намеченному ходу следования императорского кортежа строились новые дороги и мосты, ремонтировались старые, обустроивались путевые дворцы, разбивались сады и парки. В Тавриде Екатерину встречали празднично экипированные отряды казаков, татар, греков и даже амазонская рота, для императрицы устраивались фейерверки и волшебные иллюминации — вензеля Екатерины, светящиеся над вершинами гор. Но кульминацией стало явление в бухте Севастополя Его Величества, Черноморского флота. Вот как описывает это событие граф Сегюр: «Меж тем как их величества (Екатерина II и Иосиф II. — Е. З.) сидели за столом при звуках прекрасной музыки, внезапно отворились двери большого балкона, и взорам нашим представилось величественное зрелище: между двумя рядами татарских всадников мы увидели залив верст на 12 вдаль и на 4 в ширину; посреди этого залива, в виду царской столовой, выстроился в боевом порядке грозный флот, построенный, вооруженный и совершенно снаряженный в два года. Государыню приветствовали залпом из пушек, и грохот их, казалось, возвещал Понту Евксинскому о присутствии его владычицы и о том, что не более как через 30 часов флаги ее кораблей могут развиваться в виду Константинополя, а знамена ее армии — водрузиться на стенах его». Реалии обустройства Тавриды, представленные во множестве свидетельств, делают, по мнению А. Маленко, беспочвенными и бессмысленными рассуждения о Потемкинских деревнях, порожденные его недоброжелателями. Уже тогда все наветы на Потемкина были сняты, его престиж укрепился. Путешествие в Крым, в «полуденные страны России», стало последней из восьми императорских поездок по стране и самой знаменитой. Официальной целью его было ознакомление с результатами освоения обширных территорий, присоединенных к России по условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года и включения в состав империи Крыма в 1783 году. Но была и внешнеполитическая задача: поездка носила демонстративный характер и должна была убедить южного соседа и иже с ним, что утверждение России в Северном Причерноморье — мера, рассчитанная на вечные времена. На полях книги даны

выдержки из исторической беллетристики (В. Пикуль «Фаворит», Н. Равич «Две столицы», Н. Гейнце «Князь Тавриды»), цитаты из трудов историков и крымских краеведов-исследователей, приведены многочисленные исторические рассказы и анекдоты о Екатерине. Здесь же даются необходимые комментарии. Книга богато иллюстрирована: портреты императрицы, ее сподвижников, спутников, виды Тавриды. Многие документы и иллюстрации публикуются впервые.

Николай Калинин, Марина Земляниченко. Романовы и Крым. «У всех нас осталась тоска по Крыму...». Симферополь: Бизнес-Информ, 2014. — 320 с.: ил.

Ореанда и Ливадия, Дюльбер, Чаир, Харакс, Ай-Тюдор, Кичкине, Сосновая роща, Массандра и Ай-Даниль... Сказочные названия, сказочные дворцы и парки Южного Крыма. Летние резиденции императоров — от Александра Первого до Николая Второго, великокняжеские имения, винодельческие заводы князя Голицына. История Романовых в Крыму началась в 1825 году, когда император Александр Первый купил Нижнюю Ореанду за 50 тысяч рублей ассигнациями. Обжил этот «рай земной, имя коему — Ореанда» уже Николай Первый, он же предоставил статус уездного города приморской деревушке Ялте, будущему знаменитому курорту. Следующие императоры России обустроивали Ливадию, ее приобрел для своей супруги Александр Второй, Ливадия стала главным местом отдыха на Южном берегу Крыма для семей Александра Третьего и Николая Второго. Ялтинские исследователи Николай Калинин, Марина Земляниченко рассказывают об истории приобретения имений и их перехода от владельца к владельцу, об истории создания дворцов и парков Южного Крыма, об их строителях и владельцах. Удивительно, но это первое исследование на постсоветском пространстве, в котором объективно рассказывается о жизни и деятельности в Крыму членов династии Романовых. Небольшая брошюрка с таким названием была издана в России только в 1913 году к 300-летию Дома Романовых. В литературе советского периода по истории русского зодчества отсутствуют какие-либо искусствоведческие описания архитектуры Ливадийского дворца, воздвигнутого напряженным трудом талантливых и умелых строителей. И это только из-за того, что он был особенно любим последним Романовым. Прекрасный дворец долгие десятилетия после Октябрьского переворота не только не признавали памятником архитектуры, но и вообще пытались ставить под сомнение его художественные достоинства. В книге дано описание не только самого дворца, но и его интерьеров, парковых построек малых форм. Существующий ныне дворец в стиле итальянского ренессанса возводился в канун Первой мировой войны архитектором Н. Красновым, удачно сочетавшим в своих постройках различные стили с модным модерном. Это под его руководством возводились в великокняжеских имениях Крыма ансамбли в «сарацинской» манере, в стиле «неогрек», в стиле шотландской деревушки. Великолепный ландшафтный архитектор Н. Краснов умело вписывал свои строения в окружающую природную среду. Не все дошло до наших времен: в 1881 году сгорел первый дворец Ореанды; перестроен был первый дворец Ливадии, возведенный Монигетти; из семидесяти зданий различного назначения, сооруженных на территории Ливадии под его руководством, к настоящему времени сохранилось совсем немного; практически разрушен был в годы Великой Отечественной войны Дюльбер — дворцово-парковый ансамбль в Кореизе, построенный в конце XIX века для великого князя Петра Николаевича Романова и восстановленный, по мнению исследователей, довольно грубо. Сегодня только по старинным фотографиям из архивов, представленным в этой богато иллюстрированной книге, можно понять, как выглядели когда-то дворцы и парки Южного Крыма, их обитатели. Авторы долгое

время занимались не только поиском фотоматериалов, но и идентификацией запечатленных на них людей, зданий, пейзажей. Книга построена на документальных материалах: отзывы современников, воспоминания, записи из дневников владельцев, строительная документация. Все это позволяет воссоздать не только историю построек, но и образ жизни владельцев, их эстетические взгляды, особенности характеров, разобраться в их родственных связях и семейных отношениях, воспроизвести особенности быта, ритм жизни, включающий и празднества, и приемы, обратиться к радостям и драмам императорской семьи, к деловой части их жизни. А Романовы активно строили церкви, занимались виноградарством и виноделием, коннозаводством, благотворительностью. До сих пор Главный Массандровский виноподвал, созданный князем Львом Голицыным, остается одной из выдающихся достопримечательностей Ялты. Массандра была флагманом советского виноделия и приобрела мировую известность. По мере возможности на строго документальной основе авторы восстанавливают малоизвестные страницы биографий не только Романовых, но и создателей чудес Южного Крыма — архитекторов и садовников, подрядчиков, специалистов, оформителей. Тех, чьи имена долгое время пребывали в забвении. Завершает книгу глава трагичная: «Прощание Романовых с Россией». В ней приведены воспоминания трех непосредственных свидетелей эмиграции из Крыма группы ближайших родственников последнего императора, передающие трагизм прощания с Родиной людей, которым никогда более не суждено ее увидеть. *«13 апреля 1919 года эмигранты смотрели с палубы „Мальборо“, как исчезает Крымский берег, последние пяди родной земли, которую пришлось им покинуть. Одна и та же тревога, одна и та же мысль мугила их: когда возвращение?.. Луг солнца, прорвавшись в тугах, осветил на миг побережье, усеянное белыми тогетками, в которых всяк пытался разлить свое жилище, бросаемое, быть может, навеки. Огертания гор таяли. Вскоре все исчезло. Осталось вокруг бескрайнее море»,* — князь Феликс Юсупов.

Екатерина Алтабаева. Город, достойный поклонения. Севастополь в Великой Отечественной войне. Ч. 1. Оборона Севастополя 1941–1942 гг.:

Учебное пособие. Севастополь: Телескоп, 2013. — 368 с.: ил.

Уникальные материалы — выдержки из мемуаров и дневников, в том числе детских, краткие биографии исторических лиц и жителей Севастополя, информационные справки, стихи. Живые голоса участников событий, очевидцев. Из воспоминаний Т. В. Курасовой: «Дети погибли при бомбежке. Сын Сергей погиб сразу, а дочь Неля долго умирала у меня на руках. Была в сознании и все говорила: „Мама, не плачь“». В. В. Кошелев, инженер Спецкомбината № 1: «Теперь, вспоминая жизнь в осажденном Севастополе, понимаешь, какие бесчисленные трудности и опасности пришлось преодолевать. А тогда все казалось нормальным. Настолько люди были заняты одной мыслью: отстоять город, задержать врага, сделать неприступным родной Севастополь». Уникальны и фотографии: боевые позиции защитников Севастополя и фашистов, наземные, воздушные, морские бои, разрушенный Севастополь, эвакуация, плакаты и открытки тех лет, репродукции картин, документы. И люди: военные и моряки, бойцы и люди мирных профессий, дети Севастополя. И вкладка с цветными фотографиями — современные памятники. Многие публикуются впервые. Испытания 1941–1942 годов показаны не только в военном, но прежде всего в человеческом измерении. Быт осажденного города, работа медицинских учреждений, предприятий, детских садов, школ. Героическая деятельность аварийных служб города, которые в условиях непрекращающихся бомбардировок восстанавливали поврежденные коммуникации, расчищали завалы. Показано, как из цветущего приморского города, каким Севастополь был вес-

ной–летом 1941 года, он постепенно превращался в осажденную крепость и как стремительно менялась его повседневная жизнь. Но, несмотря на лишения и повседневный смертельный риск, в городе кипела культурная жизнь. Устраивались концерты, спектакли; работали библиотеки, музеи. Малоизвестным является факт, что первый Музей обороны Севастополя 1941–1942 годов был создан... зимой 1942-го! Еще весной 1942 года, за считанные месяцы до конца обороны, улицы Севастополя поражали своей чистотой. Как в мирное время, на клумбах высаживали цветы. Работали магазины, предприятия общественного питания, парикмахерские. Это удивляло военных, временно откомандированных в город из зоны боевых действий. Повествование завершается июлем 1942 года, в полной мере раскрывая трагедию последних боев за Севастополь. Это шестая книга севастопольского писателя-исследователя Екатерины Алтабаевой, вышедшая в рамках разработанного для высших и средних учебных заведений города-героя специального курса «Севастополеведение». И — первая в будущем цикле о Севастополе в Великую Отечественную войну. Героическая оборона Севастополя 1941–1942 годов для жителей города никогда не была просто страницей истории. Целые поколения выросли на примерах мужества, героизма и жертвенности, проявленных севастопольцами в годы Великой Отечественной войны. И в послесоветское время, в период нахождения Крыма под украинской юрисдикцией, память о подвиге защитников Севастополя играла важную роль в отстаивании собственной идентичности. «В те годы история, сей многострадальный учебный предмет, претерпевал серьезные изменения, — вспоминает Екатерина Алтабаева. — Учебники, по которым мои воспитанники постигали прошлое только что созданного Украинского государства, повествовали о многом, но места Крыму и Севастополю в них не нашлось. А как хотелось, чтобы наши дети не были „иванами, не помнящими родства“, чтобы они понимали, что родились и живут в уникальном городе, который был основан как военный форпост Российской империи на Черном море, но стал своеобразной южной столицей государства, культурным и научным центром...» «Мы имеем право на историю и русский язык» — таким на протяжении многих лет был девиз севастопольцев. Работа над книгой велась пять лет. Автором исследованы фонды Государственного архива Севастополя, Морской библиотеки им. М. П. Лазарева, Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя, музея Черноморского флота Российской Федерации, Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого, Народного музея Севастопольского морского завода, Народного музея истории театра им. А. В. Луначарского, Народного музея истории севастопольской милиции, семейных архивов и частных коллекций. И хотя литература о героических страницах истории Севастополя довольно обширна, книга Е. Алтабаевой по-новому позволяет взглянуть на события начального периода Великой Отечественной войны. И — редкость для документальных книг — написана она на редкость доступно, внятно, проникновенно.

Валентина Ходос. Рында воюет... Литературно-историческое исследование.

Автор вступ. статьи «Рында — слово моряцкое» — В. С. Фролова. Иллюстрации взяты из архива газеты «Красный черноморец». Севастополь: НПС «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2013. — 384 с.: ил.

Рында — это не только корабельный колокол или — по другому толкованию — звон, но и удачно названный раздел краснофлотского юмора в газете «Красный черноморец». Сатирический отдел существовал в газете почти с самого начала ее основания — с 1923 года. В середине 30-х годов появился раздел маленького фельетона. В 1940 году, 2 июля, газета перешла на новый, большой формат, а уже 9 июля появилась «Рында». Своим «звоном» она реагировала на недочеты флот-

ской службы, организации быта, отзывалась на спортивные мероприятия, отмечала праздники, воспитывала моряков, призывая блюсти устав. У нее были свои герои: Ваня Чиркин, с которым постоянно происходили забавные «тяжелые» случаи, его невеста Маня и — «пример для молодежи комендор Кузьма Бойков». Тон, в общем-то, безобидных юморесок начал меняться в 1939 году, вместе с откликами на события на белофинском фронте. Из центральной печати на страницы «Красного черноморца» попал и еще один лубочный герой, собрат Вани Чиркина — Василий Теркин, которому еще предстояло стать обобщающим образом всенародно признанного героя-бойца. Для черноморцев таким признанным героем был неунывающий воин Черноморского флота Ваня Чиркин. Повзрослевший с началом войны, окрепший и сильный духом Ваня Чиркин ходил в разведку, брал языка, лупил в рукопашной схватке немцев, убивал обнаглевших бандитов и... переписывался со своей невестой Маней, ставшей в годы войны снайпером. Беспощадно бил врагов и комендор Кузьма Бойков. В книге воспроизведены страницы сатирического отдела газеты «Красный черноморец»: карикатуры, шаржи, прозаические фельетоны и сатирические стихи, эпиграммы, залихватские песни. Авторы «Рынды» постоянно придумывали новые рубрики: старые пословицы на новый лад, веселые частушки запеваля Вьюшки, старинные романсы с новым посвящением, новые мысли и изречения Козьмы Пруткова. Раз рожденные рубрики уже не покидали страниц газеты: так, сатирические рассказы о новых похождениях храброго солдата Швейка в условиях современной войны переходили из номера в номер. Зубастая сатира призвана была поднимать дух защитников и вселять ненависть к врагу. В международных фельетонах высмеивались «верный пес Манергеймка», «норвежская шавка» Квислинг, Муссолини, «Антонеску-горлохвост, что на Одессу шлет солдат». Румынам, воевавшим на южных фронтах войны, доставалось особенно сильно. Не забывали, конечно, пускать ядовитые стрелы в адрес Гитлера и Геббельса. Что-то звучит актуально и сегодня, например, вот это: «Протухшей утки не раздуть в слона, кого ж надует лживая шпана?»; «Весь мир мутит от геббельсовских уток, // И промысел утиный уж не нов. // Сейчас толпа газетных проституток // Решила уток... превратить в слонов. // И лжет и снова лжет — чего уж проще! // Потуги эти жалки и смешны, // Из уток, что ошипаны и тощи, // выходят смехотворные слоны». Валентина Ходос, автор этого литературно-исторического исследования, дает необходимые комментарии к текстам и карикатурам, рассказывает об отцах-создателях «Рынды» — Андрее Сальникове, Петре Афонине, Александре Баковикове, Афанасии Красовском. На «Рынду», кроме них, в военные годы работали Петр Гаврилов, Лазарь Лагин (автор «Старика Хоттабыча»), Ян Сашин, Лев Длигач, Павел Панченко, Анатолий Ленский; художники Леонид Соифертис, Федор Решетников, Константин Дорохов, Николай Щеглов. Определить, кому конкретно принадлежит тот или иной материал, практически невозможно — это было коллективное творчество, порой и карикатуры делали попарно. Зато В. Ходос постаралась проследить жизненный путь, судьбу тех мастеров пера, журналистов, писателей, художников, которые сделали свой вклад в победу. Боевая черноморская «Рында» существовала до конца Великой Отечественной войны.

Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой

Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НЕВА» ЗА 2014 ГОД

Проза

- Акулов В. Осколки европейской мечты. *Повесть*. VII, 8.
- Алергант Е. Записки из дома для престарелых. Поэт, Королева и Госпожа Мопс. Я — не мисс Марпл. *Рассказы*. XII, 130.
- Алиев С. Всей содранной кожей. *Повесть*. III, 7.
- Беккин Р. Лекарство от диабета, или Два дня в Гаване. *Рассказ*. I, 113.
- Вертела Ю. Старый «Тюрмер». Воркута. Кормушка. Белый кедр. Я буду ждать. *Рассказы*. IV, 140.
- Винничук А. Последнее утро. *Повесть*. А I, 6.
- Волкова С. Потёмкинский колокол. XI, 61.
- Гамаюнов И. Щит героя. *Главы из романа*. III, 85; IX, 110.
- Гобзев И. Любовь и другие истории. *Рассказ*. VI, 124.
- Дигол С. Ключ без права. *Рассказ из цикла «Пантелеймонова трилогия»*. XI, 31.
- Еграшов А. Вчерашние люди. *Рассказ*. III, 126; Меня звали Дюхон... *Повесть*. XI, 74.
- Злобина А. Лето мое. *Повесть*. VII, 91.
- Катков И. Донор. Записки из психушки. *Рассказы*. IX, 131.
- Крюкова Е. Беллона. *Роман*. VIII, 7.
- Крымов М. Майдан! Майдан! *Пьеса в двух действиях*. IX, 8.
- Кулькин И. Твиттер-бой. *Рассказ*. I, 53.
- Курзаков О. Былинка-2. I, 129.
- Лорченков В. Возвращение в Афродисиас. *Роман*. V, 9.
- Маркосян-Каспер Г. Кармела. *Повесть*. IV, 93.
- Мельницкая И. Прости меня, Италия! *Диптих*. XI, 99.
- Могилевцев С. Андеграунд. *Роман*. VI, 7.
- Мячин Б. Функцион клави не назнач; Планка. *Рассказы*. II, 147.
- Наговицына Е. Энгенойская ведьма. II, 62.
- Непогодин В. Девять дней в мае. *Роман*. X, 8.
- Петров М. Колка сахара на двоих. Протест. Бочка с салом или казак с кинжалом? Из сибирских рассказов. *Рассказы*. VI, 104; Из захолюстья (Козлов и Степанов. О себе. Степанов. Крестьянский сын. Опять у Степанова. Васильев, Тверяк и другие. К Козлову в Кувшиново). *Рассказы*. XI, 9.
- Редьков А. Три свечи. Нитки с иголками. *Рассказы*. IX, 60.
- Родченкова Е. Дикий ручей; Дом дуры. *Рассказы*. II, 99.
- Рыбин А. Война в Луганске. *Повесть*. X, 94.
- Рябов К. Спаси и сохрани. *Роман*. IV, 8.
- Светланин Е. Золото Ковчега. *Повесть*. V, 94.
- Седова Г. Вовка. *Рассказ*. X, 113.
- Семенов И. Вечер с Клэр. Бар «Фреза». Башенный кран. *Рассказы*. VII, 117.
- Терелев Н. Край вечной ночи. Музыка умерла. Звезда моя. *Рассказы*. VII, 54.
- Травин Д. From Russia with Love. Любовь-1970. Промеж уток — промежуток; Любовь-1980. Великое посвящение; Любовь-1990. Химия судьбы; Любовь-2000. Прощай. Симонетта; Любовь-2010. Возраст дожития. *Рассказы*. III, 110.
- Тучинская С. Жильцы. Роза и Муза; Птицелов; Леночка. *Из цикла «Выдуманные рассказы»*. II, 154.

- Федотов В. В клинике Остроумова. Надкушенное яблоко. *Рассказы*. VIII, 121.
Филиппов Д. Три дня Осоргина. *Повесть*. I, 57.
Халецкий Е. Цельнометаллические мухи. *Рассказ*. IV, 126.
Чайковская И. Афинская школа. *Повесть*. II, 7.
Шахнур Л. Младенец, проглотивший Луну. *Рассказ*. *Перевод с армянского О. Азнауряна*. VII, 139.
Шуляк С. Без сестры. *Психопатороман*. XII, 6.
Яхина Г. Мотылек. *Рассказ*. II, 126.

Поэзия

- | | |
|--|-----------------------------|
| Артис Д. V, 145 | Морозов Г. XII, 124. |
| Белецкий И. VII, 114. | Некрасова Е. XII, 3. |
| Боришполец Е. I, 47. | Палей М. III, 81. |
| Ведехина О. IX, 54. | Пеньков В. XI, 56. |
| Газизова Л. VI, 100. | Петрушкин А. VI, 119. |
| Гарбер М. Человек без прошлого. VIII, 132. | Попов Е. VIII, 118. |
| Горбовский Г. XI, 3. | Пурин С. IV, 3. |
| Горнов Г. I, 83. | Рубанов Р. IV, 89. |
| Городницкий А. II, 56. | Севец-Ермолина Н. III, 106. |
| Дагович Т. I, 123. | Скобло В. II, 93; XI, 27. |
| Делаланд Н. IV, 136. | Соколова К. VII, 88. |
| Добровольский А. VII, 49. | Сосновский В. III, 3. |
| Замшев М. X, 90. | Спаская Ю. I, 3. |
| Зубарева В. II, 3; X, 3. | Таланова Г. XI, 71. |
| Калугина П. VII, 130. | Фельдшер Л. XII, 160. |
| Каминский Е. V, 88. | Шацков А. V, 3. |
| Кива И. I, 109. | Шемшученко В. IX, 3. |
| Крофтс Н. VIII, 3. | Ширали В. IV, 121. |
| Мизгулин Д. VI, 3. | Шнайдер В. IX, 107. |
| Моисеева И. X, 110. | Юрков О. II, 122. |
| | Юшманова В. VII, 3. |

Публицистика

- Беркович Е. Антиподы. Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард в контексте физики и истории. IX, 142; X, 117.
Бочаров В. Власть в гендерном измерении. V, 171.
Варехов А. Русское богатство. III, 140.
Кузнецов А. Украинская смута глазами Клио. VIII, 138.
Мелихов А. Наука против жизни. VII, 170; Слово и золото. VII, 192.
Поляков Ю. Драмы прозаика. XI, 130.
Рыбаков В. Не за всеми — правота. Каким быть учебнику истории? I, 140.
Семкин А. Поколение титанов. Особенности национального героизма. I, 146.
Травин Д. Первая мировая: как Европа загнала себя в ловушку. VI, 155.
Фишман Л. Имитация миссии. XII, 162.
Фрумкин К. Меч и слово. О соотношении насилия и коммуникаций в социальных отношениях. VII, 181; Личность властителя. XI, 147.

Критика и эссеистика

- Арсланов В. Укрощение призраков — в предчувствии эйдоса. *Творчество Михаила Кураева*. VI, 189.
- Бачинин В. «Он взвешен на весах и найден очень легким». Смерть, Венеция и игра в гомоэротический бисер. III, 183; «Тайна беззакония уже в действии». *Философский триптих*. I. Окаянное столетие и экзистенциальная катастрофа гуманитарного сознания. VIII, 144; II. Исторический омут «Черного квадрата». IX, 167; III. Мистерия аномии и дьявол социальности. X, 196; «Бесы»-2014. *Теология катастроф*. XI, 155.
- Гушанская Е. «...Времечко стекает с кончика его пера». *К 95-летию А. Володина*. II, 176.
- Каралис Д. Не юбилейная речь. Из писем московскому другу. XII, 168.
- Климов-Южин А. Попутчик. XI, 169.
- Набоков Н. Старые друзья и новая музыка. *Глава из книги*. VIII, 157. *Подготовка текста, вступительная статья Е. Белодубровского*.
- Райков А. Литературные герои и работа. VII, 194.
- Румер-Зараев М. Ковчег поэзии. XI, 179.
- Сухих И. Чехов в XX веке. *Пять этюдов*. III, 150.

Книга павших

- Поэты Первой мировой войны. Эрнст Лотц, Чарльз Сорлей. I, 135; Альфред Лихтенштейн, Август Штрамм, Исаак Розенберг. II, 171; Шарль Пеги. Эрнст Штадлер. Эдвард Томас. III, 135; Георг Тракль. Густав Зак. Джулиан Гренфелл. IV, 146; Петер Баум. Гийом Аполлинер. V, 148; Руперт Брук. Алан Сигер. Вильгельм Рунге. Тадеуш Мичинский. VI, 149; Уильям Ходжсон. Уилфред Оуэн. Геррит Энгельке. Джон Макрей. VII, 164. *Перевод, комментарии Е. Лукина*.

Из архива

- Жанр-микст: возможность пристрастного летописания или независимость суждений? *Дневник Александра Gladкова; 1960–1976 годы*. IV, 151. *Дневник Александра Gladкова. 1960 год; Выписки из дневников Александра Константиновича Gladкова. 1960 год*. V, 153; *Выписки из дневников Александра Константиновича Gladкова. 1962 год*. XI, 114. *Публикация, вступительная статья (IV, 151–160), комментарии М. Михеева*.
- Назирова Р. Ленинградская тетрадь. Фрагменты дневника. Ленинград, лето–осень 1952 года. *Публикация, вступительная статья, комментарии И. Розиной и М. Рыбиной*. VI, 168.

Искусство чтения

- Бугославская О. Диалоги в большом времени. И настанет царство истины? IV, 168.
- Степанян К. Узкий путь. IV, 173.

К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

- Влащенко В. Странности, загадки и тайны героев «Фаталиста». X, 165.
- Звиняцковский В. Лермонтов и Украина. X, 184.
- Молчанова Т. Знаки судьбы. *Мистическая трагедия родовой фамилии*. X, 143.
- Синдаловский Н. Лермонтовские адреса фольклорной летописи Петербурга. X, 151.

Петербургский книговик

- Айзенштейн Е. «Седого моря соленый дух»: Тристан и Изольда в русской лирике. I, 186; «Африки реки». Пушкин в рукописях и стихах Марины Цветаевой. VI, 216; Покрывала Саломеи. *О некоторых гертах поэтики Елены Шварц*. IX, 186; «Вдоль островов высоких и веселых». *О поэзии Ольги Седаковой*. XII, 205.
- Амусин М. Набоков и ЛБИ. XI, 207.
- Архимандрит Августин (Никитин). Русский храм в Буэнос-Айсере. I, 233; Антверпен — побратим Санкт-Петербурга. II, 22; Истоки славянского книгопечатания. III, 215; Монастыри Святой горы. Монастырь Святого Дионисия. IV, 236; Монастыри Афона. Григориат. V, 238; Монастыри Святой горы. Монастырь Дохиар. VI, 238; Российские паломники у святынь Греции (*Хождение за пять морей*). VII, 225; VIII, 222; IX, 238; Ливорно. X, 235; Св. Франциск Ассизский и русские символисты. XI, 227.
- Беккин Р. Турецкий табак под развесистой шалью. V, 211.
- Бердников Л. Два мира в одном Шапиро. XI, 218.
- Березкина Ю. «Юные взрослые»: ужасная история. I, 229.
- Бродовская Ю. Разоблаченная морока. II, 200.
- Быков Д. О пользе ненависти. V, 215.
- Глазунова О. О творчестве и креативности. II, 188.
- Гранцева Н. Шекспир и проблема бесплодных усилий. IV, 208.
- Гречишкина Е. Побочные эффекты цивилизации: о «нечудесном» как о чудесах. I, 231.
- Гущина М. Камчатка в моем багаже. I, 223.
- Докторова Л. Booker-2013. V, 200.
- Дом Зингера. I, 246; II, 244; III, 245; V, 244; VI, 245; VII, 245; VIII, 244; X, 247; XI, 245; XII, 242. *Публикации Е. Зиновьевой*.
- Зубарева В. Тайна сада. *Об одном стихотворении Беллы Ахмадулиной*. VIII, 181.
- Коваленко О. Школьная повесть: старое и новое. I, 225.
- Крышук Н. «Смерть прошла, а жизнь нейдет...». VII, 220.
- Кулагин А. Уменье чувствовать. X, 221.
- Машевский А. «Золотая середина» Горация и принцип дополнительности (*к вопросу о неклассичности классики*). III, 209; Ода Державина «На смерть князя Мещерского» как опыт осмысления смерти. VII, 212.
- Мелихов А. Когда пена оседает. VII, 221; Почетная капитуляция. X, 207.
- Минаков С. Русский просветитель Рачинский. V, 184; У Вампилова в Кутулике. IX, 180.
- Неверов А. Смерть Петра III: другая версия. VII, 217.
- Новикова-Строганова А. «Сотвори добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков». I, 177; Литературная карта России. Дом-музей Н. С. Лескова на родине писателя (*к 40-летию открытия музея*). VII, 203.
- Попов Е. Предчувствие эпоса. X, 231.
- Свердлова М. Светоносной силы счастье. II, 202.
- Секретов С. Место, где свет. II, 205.
- Синдаловский Н. Графский род Толстых в петербургском городском фольклоре. IV, 188; Великие бастарды. *Правда и мифы рожденных вне брака*. VIII, 196.
- Соболева Е. Истории одного лета. I, 227.
- Солдатские военные песни Великой Отечественной войны 1914–1915 гг. IX, 226; X, 218. *Подготовка текста, примечания М. Райциной*.
- Сухих И. 14+. Что нам/им читать? I, 223.
- Старчевский А. О заслугах Румянцева, оказанных отечественной истории. II, 208. *Подготовка текста, примечания М. Райциной*.
- Турнэс Р. Фош и победа союзников 1918 года. *Пер. с французского*. IX, 222. *Подготовка текста, примечания М. Райциной*.

Ушакова И. Русский просветитель Рачинский. V, 184.

Храбрый герой, сын Великого Дона, казак Кузьма Крючков. Рассказ самого героя Кузьмы Крючкова. Удачное казачье дело. Лихие казачьи разведки. Двенадцатилетний мальчик-герой, Георгиевский кавалер, Андрюша Мироненко. X, 212. *Подготовка текста, примечания М. Райциной.*

Чайковская И. Последняя глава. V, 205; Поэзия — как путешествие Орфея. X, 223.

Чисников В. «Шпион кается». *Не написанный рассказ Льва Толстого для «Круга чтения».* II, 194.

Щеголев П. Крепостная любовь Пушкина. V, 217. *Подготовка текста, примечания М. Райциной.*

Щербинина Ю. Вначале было слово. III, 195; Эхотекст как воля и представление. VIII, 186.

Ястребенецкий Г. Неординарные встречи. IV, 178; Бидоны на платформе. XII, 196.

Contents

Prose and Poetry

Elena Nekrasova. Poems • 3

Stanislav Shuljak. Without Sister. *Psihopatoroman* • 6

Gennady Morozov. Poems • 124

Elena Alergant. Notes from Home for the Elderly. Poet, Queen and Lady Pug. I'm not Ms. Marple. *Stories* • 130

Liubov Feldsher. Poems • 160

Publicistic Writing

Leonid Fishman. Imitation of Mission • 162

Criticism and Essays

Dmitry Karalis. Non-jubilee Speech. *From the Letters to Moscow Friend* • 168

Petersburg Bookman

The Culture Year. Grigory Yastrebenetsky. Water-cans on the Platform. **Art of Reading.** Elena Aizenshtein. «Along Islands and High Fun». *On Olga Sedakova's Poetry.* **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 196–249

Contents of the journal «Neva» for 2014 • 250

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал «Нева». Адрес редакции:
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург,
а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52; e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com;
nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva/>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге – в магазинах: «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307), а также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); *льготную подписку* можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).

В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал «Нева», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал «Нева»

Подписано в печать 25.10.2014. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2800 экз. Заказ № 20.69
Издательство «Журнал «Нева»

Отпечатано по технологии StP
в ООО «СЗПД-ПРИНТ»
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б